АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1982

СОДЕРЖАНИЕ

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Иванов В. В., Михайловская Н. Г. (Москва). Русский язык как средство межнационального общения: актуальные аспекты и проблемы 3
Дешериев Ю. Д. (Москва). Языковые проблемы многонационального советского общества 14
Панфилов В. З. (Москва). О некоторых аспектах социальной природы языка 28
Филин Ф. П. (Москва), Бевзенко С. Ф., Кононенко В. И. (Киев). Словарь украинского языка: проблемы и суждения 45

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Домашнев А. И. (Ленинград). Заметки по поводу социолингвистической концепции У. Лабова 55
Алпатов В. М. (Москва). О двух подходах к выделению основных единиц языка 66
Кумахов М. А. (Москва). О функциональном статусе слова и морфемы в языке устной поэзии 74

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Дарбеева А. А. (Москва). О билингвизме монголоязычных народов (К проблеме интерференции) 85
Парастаев А. Ф., Солнцев В. М. (Москва), Щербак А. М. (Ленинград), Круглов Ю. Г. (Москва). О совершенствовании тематики кандидатских и докторских диссертаций по языкознанию 96
Верещагин Е. М. (Москва). У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества 105
Хлебникова И. Б. (Москва), Колодько В. И. (Элиста). К проблеме передвижения индоевропейского *b* в германское *p* 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Биткеев П. Ц. (Элиста). Языкознание в МНР за 60 лет 123

Рецензии

Ахманова О. С. (Москва). *Березин Ф. М.* История советского языкознания 129
Климов Г. А. (Москва). *Stalička V.* Typologische Studien 132
Чесноков П. В. (Таганрог). Гипотеза в современной лингвистике 133
Асланов В. И., Гукасян В. Л. (Баку). *Гаджиева Н. З.* Тюркоязычные ареалы Кавказа 137
Бахнян К. В. (Москва). Могучий фактор национально-языкового развития 140
Лукашанец А. А., Михневич А. Е. (Минск). Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков; Функционирование русского языка в близкородственном языковом окружении 144
Зограф Г. А. (Ленинград). Теоретические основы классификации языков мира 147

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 151
Указатель статей, опубликованных в 1982 г. 157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, ***Ю. Н. Караулов,*** *Г. А. Климов* (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев,* *Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, **редакция журнала** «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1982 г

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ИВАНОВ В. В., МИХАЙЛОВСКАЯ Н. Г.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ

30 декабря 1982 года исполняется 60 лет со дня образования первого в мире социалистического государства — Союза Советских Социалистических Республик. В его создании воплотились ленинские идеи дружбы народов, сплочения в едином многонациональном государстве равноправных наций и народностей.

Дружба народов — это могучий идеологический и психологический фактор, охватывающий все составные части общественных отношений — экономические и социальные, политические и культурные [1]. Будучи завоеванием социалистического общества, дружба народов является неотъемлемой чертой развитого социализма: «Дружба народов СССР и выражает реальные процессы советского многонационального общества, и в то же время несет определенную идеологическую нагрузку, характеризуя состояние отношений между нациями, людьми разных национальностей. Она фиксирует в себе одно из воплощений сущности нового общественно-политического строя, в котором нет места социальному и национальному гнету, отчуждению и недоверию между народами» [1, с. 253].

Данное понятие сформировалось на основе материальной и духовной жизни народов СССР, в процессе социально-экономических и культурных преобразований. В исторически сложившейся общности советского народа дружественные отношения между разными национальностями являются одной из самых больших общественно-политических и духовных ценностей. Значительная роль в формировании и развитии дружественных отношений между большими и малыми народностями страны принадлежит средству межнационального общения — русскому языку. Показателен тот факт, что оценка русского языка в этом статусе производится именно с позиций сотрудничества и взаимопомощи народов. Так, Всесоюзная научно-теоретическая конференция, проходившая в 1979 г. в Ташкенте, называлась «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР». Вместе с тем знаменательно и то, что во многих социологических исследованиях последних лет положение русского языка как средства межнационального общения между народами Советского Союза рассматривается в связи с процессами во всех областях народнохозяйственной жизни [см., например, 1, с. 279—297; 2—3]. М. И. Куличенко справедливо подчеркивает: «Главная причина возрастания роли русского языка в жизни новой исторической общности и главное поле взаимодействия с разными языками нерусских народов — это экономическая жизнь страны, совместный труд наций и народностей по созданию основ коммунизма» [2, с. 209].

В самом понятии р у с с к о г о я з ы к а к а к с р е д с т в а м е ж н а ц и о н а л ь н о г о о б щ е н и я на первый план выдвигается коммуникативная функция, которая, однако, не может сводиться к такому виду речевой деятельности, как «обмен информацией». Коммуникативная функция предполагает не только «двунаправленность» усвоения сообщений и сведений, но и качественную ступень их использования, когда

полученная информация становится одним из импульсов дальнейшего теоретического и практического поиска в той или иной сфере деятельности. Тем самым русский язык в своем статусе средства межнационального общения не ограничивается ролью посредника между народами Советского Союза, но и является определенным фактором, стимулирующим творческий процесс и в области производства, и в области экономики, и в области культуры.

В Постановлении ЦК КПСС от 19 февраля 1982 г. «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» особо подчеркивается роль русского языка в жизни современного советского общества: «Русский язык, добровольно принятый советскими людьми в качестве языка межнационального общения, стал важным фактором укрепления социально-политического и идейного единства советского народа, развития и взаимообогащения национальных культур. Он открыл всем нашим народам широкий доступ к духовным богатствам мировой цивилизации. Каждый советский гражданин, говоря ленинскими словами, имеет возможность научиться великому русскому языку. Ныне 82 процента населения страны свободно владеют им» [4].

Таким образом, русский язык, выполняя основную функцию средства коммуникативной связи между членами социального (в широком смысле этого слова) коллектива, выступает в качестве фактора, способствующего единению этого коллектива, стимула подъема социалистической культуры в целом, а также источника духовного роста каждого индивидуума, принадлежащего новой исторической общности — советскому народу.

Коммуникативные функции русского языка как функции социальные, характерные для данного общества и, одновременно, обслуживающие это общество, неразрывно связываются с закономерностями и тенденциями развития советского народа в современную эпоху.

Социальный характер функций имеет результативно-целевую обусловленность. Результативная обусловленность связана с тем, что эти функции порождены в конкретном коллективе потребностями общения. Целевая обусловленность — с тем, что эти функции обслуживают конкретный коллектив в разнообразных сферах: политической, производственной, культурной, бытовой и т. д. Данный подход обнаруживает известную относительность типологии социальных функций, ибо требования конкретности неминуемо ставят вопросы «когда», «где» и «как», что связано с рассмотрением социальных функций как исторической категории. Их историчность определяется и уровнем развития общества, и особенностями системы и структуры языка на том или ином этапе. Очевидно, что с позиций рассмотрения социальных функций хронологическая градация языка не может базироваться только на лингвистических критериях, характеризующих язык как «систему систем» во взаимосвязи его уровней, а также определяющих его стилевые разновидности, реализуемые в текстах.

Уже сама по себе постановка вопроса о социальных функциях языка вызывает необходимость некоторых коррективов, связанных с признаком с о в р е м е н н ы й и обусловленных функционированием русского языка в советском обществе. Одним из первых этот вопрос поднял С. И. Ожегов на подготовительном этапе работы над коллективным трудом «Русский язык и советское общество». Отмечая, что главной вехой, знаменующей новый период в истории русского языка, является Великая Октябрьская социалистическая революция, С. И. Ожегов писал: «Советское общество, Советское государство прошли большой путь развития, и все особенности этого развития накладывали свой отпечаток на пути развития русского языка, на разные стороны его.

Для историка языка чрезвычайно важно глубоко вникнуть во все своеобразие общественной жизни, с одной стороны, периода от Великой Октябрьской социалистической революции до ликвидации эксплуататорских классов, с другой — от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства...

На базе материальной культуры общества складывается и формируется духовная культура народа в широком смысле, его мировоззрение, его идеология. Для истории языка, для открытия закономерностей его развития чрезвычайно важно поэтому установление вех в развитии и формировании передовых культурных сил народа, его интеллигенции. Ведь и развитие материальной культуры тесно с этим связано» [5].

Как видно из приведенного высказывания, С. И. Ожегов рассматривал языковое развитие в теснейшей связи с социальными преобразованиями. Более того, исследователь шел от социального фактора к явлениям языка, устанавливая между тем и другим причинно-следственное взаимодействие. Вероятно, полное освоение этого метода в лингвистике еще дело будущего. Значительно более распространенным в отечественном языкознании является обратный метод, когда лингвист идет от фактов языка к их социальной маркированности, имея в виду характерность данных языковых фактов в определенных группах, объединяющих носителей языка (языков) по признаку профессиональному, возрастному, образовательному и т. д.

Другой тезис, высказанный С. И. Ожеговым, заключается в том, что языковые факты, отнесенные им к новому периоду, одновременно оцениваются как факты и с т о р и и языка, подлежащие исследованию и с т о р и к а языка. Думается, это не случайно. Данное положение может служить указанием на динамику языкового развития даже в пределах относительной синхронности; оно может рассматриваться и как проекция в будущее, когда эти же факты осмысляются не изолированно, но находят свое место в ряду общих закономерностей.

Итак, социальный характер функций языка определяется социальной структурой общества и теми процессами, которые вызывают значительные перемены в общественных отношениях. На современном этапе общественного развития особо важное значение имеют следующие процессы: 1) индустриализация, проникающая из производственной сферы в сферу быта; 2) урбанизация, при которой происходит стирание противоположности между городом и деревней; 3) интернационализация, которая проявляется в создании многонациональных производственных коллективов и в интенсивном обмене деятельностью, материальными и духовными ценностями между народами Советского Союза; 4) интеграция в области социальных отношений, сближающая рабочий класс, колхозное крестьянство и народную интеллигенцию [см. об этом 6].

В своей совокупности названные процессы способствуют укреплению единого народнохозяйственного комплекса и формированию единой социалистической культуры. Эти общественные закономерности и тенденции характерны для всего Советского Союза и охватывают союзные и автономные республики и области. Вследствие этого проблема функционирования русского языка, ставящая своей задачей его исследование как средства межнационального общения между народами Советского Союза, предполагает определить хронологическое значение признака с о в р е м е н н ы й с учетом охвата и обслуживания русским языком сфер экономической, производственной и культурной жизни на территории всей страны.

Проблему лингвистического исследования «по сферам» применительно к русскоязычной среде выдвинул Ф. П. Филин: «Для всестороннего описания функционирования русского языка очень важно научно объективное установление сфер его применения, и, соответственно, разграничения и гармонии стилистических средств, отношения к литературному языку диалектов, жаргонов и т. д.» [7]. Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что пределы указанной проблемы значительно расширились: она стала особенно актуальной при изучении русского языка как орудия межнационального общения прежде всего в силу общегосударственных общественных процессов.

Как свидетельствуют данные по различным регионам Советского Союза, общий подъем в распространении русского языка, совершенствование его социальных функций в области межнациональных связей относятся

в основном к периоду, когда закладывалась база единой экономики страны. Именно в этот период происходит освоение природных богатств дальних районов, возникновение строек всесоюзного значения, рождение новых городов, поселков, промышленных предприятий. В этом отношении особенно показательны республики Средней Азии и Казахстан. Ср.: «Следующий этап (т. е. начиная с 50-х гг.— *В. И., Н. М.*) в функционировании русского языка в Казахстане совпадает со временем построения развитого социалистического общества. Небывалый рост промышленности, всех отраслей народного хозяйства, разработка недр, освоение целинных земель требовали большого количества рабочих рук.

Своих людских ресурсов явно не хватало, проблема была решена благодаря братской помощи других народов СССР, и в первую очередь великого русского народа. Многонациональность стала характерной чертой не только ударных строек, но и абсолютного большинства предприятий и учреждений Казахстана» [8]; «... начиная с 50-х годов в Киргизии создаются крупные промышленные предприятия, возникают стройки всесоюзного и республиканского значения, рождаются новые города и рабочие поселки, куда активно переселяется сельское население. В промышленные города и новостройки Киргизии постоянно прибывают из разных районов страны русские рабочие и специалисты. Показательны в этом отношении предприятия угольной (города — Ташкумыр, Сулюкта, Кызыл-Кия, Кок-Джангак) и горнорудной промышленности (поселки городского типа — Актюз, Кашка, Хайдаркан, Каджисай, Минкуш, Кадамджай, Кочкор-Ата), гидроэнергетический комплекс на реке Нарын — Учкоргонская, Токтогульская, Курпсайская гидроэлектростанции» [9].

Приведенные высказывания наглядно подтверждают теснейшую взаимосвязь функционирования русского языка в общественной жизни страны с социально-экономическими преобразованиями в том или другом регионе. Этот процесс, очень сложный по своему характеру, может быть рассмотрен в аспекте исторического развития советских наций и народностей, начиная с победы Великой Октябрьской социалистической революции. Как указывают социологи, путь к социализму у разных народов страны шел по-разному, что было обусловлено различным уровнем их общественных отношений в канун революции (например, некоторые народы в период установления Советской власти находились полностью или частично на феодально-патриархальной стадии).

В целом переход к социалистической системе в пределах страны был завершен в 50-х годах, когда коренные социально-экономические преобразования произошли в прибалтийских республиках, в Молдавии, в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Вместе с тем степень распространения русского языка среди народов Советского Союза и уровень владения им населением союзных и автономных республик и областей связаны также с преподаванием его как отдельной дисциплины в сфере школьного и вузовского образования. До настоящего времени здесь особенно существенными являются вопросы оптимального отбора языкового материала и выработки методических приемов с учетом специфики национальных языков.

Таким образом, диахронический аспект при изучении русского языка в плане становления его как средства межнационального общения должен опираться на социально-экономические данные, на явления в области контактов русской и национальной культур, на историю преподавания русского языка в послеоктябрьский период. Чрезвычайно важен при этом также учет конкретной лингвистической ситуации в каждой отдельной республике. Диахронический аспект позволит выявить наряду с общими закономерностями некоторые региональные дифференциации, проследить расширение функций русского языка в зависимости от степени его распространения в отдельной сфере деятельности.

В настоящее время в нашей стране все нации стоят на одной стадии социально-экономического развития и решают по сути своей единые задачи. Указанное положение является принципиально важным при анали-

зе использования русского языка как средства межнационального общения и разных языков тех или других наций (народностей) в различных сферах народнохозяйственной жизни. С этой точки зрения вопрос о «распределении» русского и национальных языков в части рекомендаций по их применению и использованию в отдельных сферах вызывает критическое отношение. В отечественном языкознании высказывалось, например, мнение, согласно которому русский язык и родные языки конкретных наций (народностей) должны употребляться выборочно, т. е. одни общественные сферы обслуживаются русским языком, а другие — языком национальным [1]. Однако подобное «распределение» и в теоретическом плане и в практическом не представляется целесообразным. Действительно, если иметь в виду объективные факторы, обуславливающие взаимопроницаемость сфер по их межотраслевым связям, а также по ряду лингвистических характеристик [см. об этом 11], то становится очевидным, что такое «распределение» вряд ли вообще возможно. При постановке данного вопроса следует учитывать и такой важный фактор, содействующий русско-национальному и национально-русскому двуязычию, как многонациональность трудовых коллективов и многонациональность союзных и автономных республик в целом. «Распределение» по сферам фактически утверждает в ы б о р о ч н о с т ь использования и русского языка, и языка национального. А это, в свою очередь, суживает, ограничивает их функционально-стилистические возможности и ресурсы и следовательно, препятствует языковому развитию и взаимообогащению.

Более правильной позицией представляется такая, при которой учитывается параллельное использование русского и национальных языков в разных сферах, но с учетом конкретной ситуации общения. Какое бы то ни было искусственное ограничение в употреблении русского и национальных языков тормозит развитие гармонического двуязычия, основными принципами которого являются: 1) максимальный охват билингвизмом населения союзных и автономных республик и областей; 2) широкое применение двуязычия во всех сферах народнохозяйственной жизни с целесообразным использованием ресурсов русского и национальных языков; 3) высокий уровень владения русским языком как средством межнационального общения.

В то же время данная проблема имеет выход в лингвистический анализ общественных функций русского языка в их функционально-стилистических разновидностях. Ср. высказывание В. В. Виноградова: «При выделении таких общественных функций языка, как *общение*, *сообщение* и *воздействие*, могли бы быть в общем плане структуры языка разграничены такие стили: обиходно-бытовой стиль (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция воздействия). Эти стили соотносительны. Они отчасти противопоставлены, но в значительно большей степени сопоставлены» [12].

Очевидно, что реализация функционально-стилистической структуры русского языка в речевой деятельности монолингвов (т. е. лиц, для которых русский язык является единственным средством общения) и билингвов (т. е. лиц, владеющих наряду с родным языком и русским языком) одинаково опирается на требования современной нормы и кодификации. В процессе взаимовлияния языков неизбежно возникают отклонения в русской речи билингвов, обусловленные системой их родного языка. Их значимость по оценке «релевантных» или «нерелевантных» для акта коммуникации оказывается соотнесенной не только с уровнями языковой системы, но и с разновидностями функционально-стилистической структуры. Одни и те же нарушения нормы русского языка могут быть оценены как менее релевантные в обиходно-бытовом стиле, но как более релевант-

---

[1] См., например, [10]. Указанную проблему автор рассматривает дифференцированно: применительно к языкам народов СССР, имеющим древнюю письменную традицию, и к языкам младописьменным.

ные в стиле официально-документальном, научном или публицистическом. В художественно-беллетристическом стиле подобные отклонения допускают единственно возможную квалификацию с точки зрения их оправданности в целях художественного выражения.

Реальность существования отклонений от норм русского языка в речи билингвов не означает признания их правомерности. Перспективными являются лишь факты, которые содействуют подлинному взаимообогащению языков — русского и национальных. Например, целесообразно использование лексики национальных языков, отражающей специфику местной промышленности и сельского хозяйства, особенно в сфере специальной литературы и в сфере каналов массовой коммуникации и информации. Актуальность ряда понятий, возникших в практической производственной деятельности, нередко требует детализации, которая не может быть однословно передана русским языком. Такова, к примеру, тематическая группа лексики хлопководства, одной из самых важных отраслей хозяйства республик среднеазиатского региона. Ср. использование в русскоязычной прессе и радиовещании республик Средней Азии слов *гуза* — «хлопковый кустарник», *курак* — «не вполне раскрывшаяся коробочка хлопка», *чигит* — «хлопковое семя» и др.

Языковая среда при билингвизме создается не путем бездумного «смешения», но целенаправленным и осознанным использованием двух языков в соответствии с потребностями коммуникации.

Развитие изучения русского языка как средства межнационального общения выдвинуло перед советскими лингвистами ряд новых теоретических проблем, требующих своего решения. Эти проблемы в последнее время начинают широко обсуждаться в печати, на различных конференциях и совещаниях, однако надо признать, что предлагаемые решения не всегда представляются верными, а в ряде случаев обнаруживается по существу полная неразработанность теоретических проблем этой области русистики. Прежде всего представляется совершенно ясным, что настало время перейти от общих положений о роли русского языка в жизни народов Советского Союза, о его прогрессивном влиянии на развитие национальных языков СССР, положений, без сомнения, справедливых по своей сути, к выяснению л и н г в и с т и ч е с к о й сущности русского языка как средства межнационального общения, к определению самого этого понятия как лингвистического феномена, к установлению соотношения понятия русского национального языка и русского языка как межнационального. Ведь, в самом деле, говоря о русском языке как средстве межнационального общения и противопоставляя его русскому языку как национальному языку русского народа, до сих пор во внимание принимают, во-первых, то, что русский язык как национальный является языком русского народа — создателя и носителя этого языка, а русский язык как межнациональный служит средством общения представителей других народов как с русскими, так и между собой, а во-вторых, то, что национальный русский язык и русский язык как средство межнационального общения по-разному охватывают различные сферы общения людей. Безусловно, оба эти отличия могут считаться важными, однако они не определяют лингвистической сущности русского языка в этих его двух «ипостасях». Нельзя сказать, что такие определения вообще не предлагаются, наоборот — их можно обнаружить в различных работах и в устных выступлениях, правда, чаще в имплицитной, чем в эксплицитной форме, однако вопрос этот не представляется не только решенным, но и поддающимся легкому решению.

Как видно, прежде всего следует сказать, что есть основное лингвистическое понятие — понятие «русский язык», сущность которого заключается в том, что это язык, характеризующийся определенной фонетической, морфологической, словообразовательной, синтаксической и семантической системами и определенным словарным фондом; именно эти стороны позволяют отличить русский язык, скажем, от немецкого, эстонского, узбекского, грузинского и др. языков; именно эти стороны позволяют утверждать, что человек говорит или пишет на русском языке,

а не на каком-либо ином. Основное понятие «русский язык» может быть уточнено: мы говорим о национальном русском языке или о литературном русском языке, в определенном смысле противопоставляя эти «русские языки», однако противопоставление это осуществляется по разным признакам. С одной стороны, национальный русский язык и литературный русский язык противопоставлены как родовое и видовое понятия: литературный язык есть часть языка национального, одна из форм его существования. Национальный язык с лингвистической точки зрения есть совокупность различных его форм, или разновидностей: диалектных, просторечных, социально-профессиональных и т. д. и литературной формы (с разными ее функциональными стилями). Все эти разновидности объединяет общая языковая система и основной словарный фонд и различают специфические особенности, свойственные одной разновидности и не свойственные другой или другим. Отсюда вытекает и второе противопоставление национального и литературного языка: литературный русский язык — это принципиально нормированный, кодифицированный язык; нормы его, устанавливаемые языковой системой и общественной практикой, общеобязательны для всех, они изучаются и культивируются в школе, средствами массовой информации, проводятся через печать и т. д. Для национального языка такие нормы принципиально не существуют, хотя в каждой его разновидности есть, конечно, свои нормы, иногда осознаваемые говорящими, но большей частью не осознаваемые и не кодифицированные. Следовательно, лингвистическая сущность русского литературного языка заключается в том, что русские языковые средства, используемые в нем, сознательно отобраны и закреплены как норма, обязательная для всех говорящих и пишущих (это, конечно, не исключает возможности варьирования в пределах нормы). В этом плане важно подчеркнуть, что различные разновидности русского национального языка представляют собой как бы его варианты, и литературный язык является одним из таких вариантов. Однако речь идет о вариантах *национального* языка как сложного лингвистического явления, характеризующегося, как уже говорилось, определенной совокупностью общего и частного в языковой системе.

Понятие русского языка как средства межнационального общения, если рассматривать и определять его в лингвистическом аспекте, не совпадает с понятием национального русского языка прежде всего потому, что в данном случае речь идет не о совокупности различных разновидностей русского языка, распространенных на тех или иных национальных территориях. Без сомнения, как уже говорилось, в устной и письменной русской речи нерусских, овладевших русским языком, обнаруживаются особенности, свойственные представителям одной национальности и не свойственные другой или другим, однако последним свойственны иные особенности. Придавать этим особенностям характер вариантов русского *национального* языка явно неправомерно, но тем более неправомерно говорить о вариантах русского *литературного* языка, ибо таких вариантов в принципе не может существовать: литературный язык един в своем проявлении, и в этом единстве его лингвистический статус.

Речь, как видно, должна идти о другом. Выше уже отмечалось, что в понятии русского языка как средства межнационального общения главное заключено в том, что на первый план выдвигается коммуникативная функция языка. Когда говорится о русском языке как языке русского народа, то его коммуникативная функция подразумевается сама собой: способность осуществлять коммуникацию между русскими на русском языке — это имманентный признак русского национального языка. Когда же речь идет о русском языке, связывающем представителей иных родных языков, тогда его коммуникативные задачи становятся определяющими характер его функционирования, ибо если эти задачи русский язык не будет выполнять, он не может считаться средством межнационального общения. Но если это так — а это именно так,— то в данном случае надо признать, что с лингвистической точки зрения русский язык как

средство межнационального общения — этот тот же самый литературный русский язык, но в иной функциональной роли. Иначе говоря, овладение русским языком представителями нерусских национальностей — это овладение о д н о й — высшей — формой русского национального языка, и поэтому всякие отклонения от литературной русской устной и письменной речи есть нарушение литературных норм. Таким образом, если с социолингвистической точки зрения понятие русского языка как средства межнационального общения совпадает с основным понятием «русский язык», то в лингвистическом плане — это литературный русский язык с его нормированностью и кодифицированностью.

Как видно, в лингвистическом плане понятие русского языка как средства межнационального общения равнозначно понятию русского языка как одного из мировых (с социолингвистической точки зрения последнее понятие определено в книге «Русский язык в современном мире» и представляется достаточно ясным) [13]: и в этом случае речь идет о литературном русском языке как нормированном и кодифицированном. Однако характер усвоения мирового языка и языка как средства межнационального общения в пределах одной страны имеет существенное различие. Если в первом случае усвоение осуществляется целенаправленным обучением в иноязычной аудитории, то во втором случае усвоение идет не только через сферу преподавания, но и через непосредственное языковое окружение, представленное билингвистической средой. Следовательно, русский язык как средство межнационального общения опирается на данную среду и, одновременно, расширяет ее. Овладение русским языком как средством межнационального общения нерусскими — это не овладение каким-либо «вариантом», какой-либо «разновидностью» русского национального языка — это овладение литературным русским языком во всей совокупности его норм и требований. Несколько изменяя слова А. А. Реформатского, можно сказать, что нерусскому надо говорить по-русски так, как говорят сами русские, владеющие литературным русским языком [14].

Без сомнения, в современном состоянии русского языка как средства межнационального общения народов СССР, тем более как языка-посредника в общении народов мира, существуют (и не могут пока не существовать) такие отклонения от русских литературных норм, которые определяются интерференцией родных языков говорящих и пишущих и которые могут быть расценены как «системные», характеризующие тот или иной нерусский «акцент» в широком смысле этого слова — каждый раз иной в зависимости от родного языка говорящего или пишущего. Особенно отчетливо это проявляется в устной речи, когда по акценту можно «с ходу» установить принадлежность говорящего к определенной национальной среде, т. е., скажем, отличить украинца и эстонца, англичанина и француза и т. д., равно использующих русский язык (при условии, конечно, равного уровня владения этим языком). Однако «системность» таких отклонений не дает никаких оснований считать их чертами, определяющими русский язык как средство межнационального общения или мирового языка в лингвистическом плане: если «системность» таких отклонений признать как факт, определяющий наличие «национальных вариантов» русского литературного языка, то, во-первых, само это последнее понятие становится неопределенным, ибо в этом случае снимается признак нормированности и кодифицированности литературной устной и письменной речи, а во-вторых, в этом случае понятия русского языка как средства межнационального общения и как мирового языка становятся идентичными понятию русского национального языка, ибо все эти «русские языки» оказываются совокупностью различных их разновидностей и вариантов. Но если, как уже говорилось, для русского национального языка возможность выполнения коммуникативных задач является его имманентным признаком (и его существование как совокупности различных разновидностей или вариантов не отменяет этого имманентного признака), то для русского языка как средства межнационального общения и как мирового возможность выполнения таких задач есть главный

его признак, поддерживаемый рядом внеязыковых факторов. Выполнить такие задачи он может только в том случае, если будет выступать в едином и единственном своем «варианте» — в литературной форме. Поэтому овладение русским языком нерусскими — это одновременно и решение культурно-языковой задачи, т. е. обучение русскому языку есть обучение нормам л и т е р а т у р н о г о русского языка.

Функционирование русского языка как средства межнационального общения означает постоянное и тесное контактирование его с другими языками народов СССР. Хотя эти языки находятся в разном отношении к русскому языку как в генетическом, так и в типологическом планах, характер указанного контактирования принципиально не меняется: во всех случаях происходит взаимодействие и взаимовлияние языков. Однако результаты этого взаимовлияния не всегда оказываются одинаковыми, что определяется степенью развитости контактирующих языков, силой письменно-литературных традиций в том или ином языке, широтой или узостью распространения языков, вступающих во взаимосвязь, и т. д. В этом плане взаимовлияние русского и национальных языков народов СССР имеет своим результатом прежде всего воздействие первого на разные стороны языковой системы других языков, что вполне понятно: развитость и богатство русской лексики, гибкость синтаксиса русского языка, разветвленность его словообразовательных средств и т. д. общеизвестны и не подлежат никакому сомнению. Влиянию русского языка на языки народов СССР посвящена обширная научная литература, и едва ли целесообразно сейчас много говорить об этой бесспорной истине. Важнее обратить внимание на другую сторону процесса взаимовлияния языков — на влияние национальных языков на русский язык; важность изучения этого влияния была подчеркнута акад. П. Н. Федосеевым [15]. Рассматривая этот процесс, необходимо прежде всего четко и ясно отграничить друг от друга явления, связанные с влиянием национальных я з ы к о в на русский я з ы к, т. е. на русскую я з ы к о в у ю с и с т е м у, и явления, связанные с влиянием национальной р е ч и на русскую р е ч ь н е р у с с к и х. Первое влияние ограничивается по существу областью лексики (возможно, в какой-то мере и фразеологии — это чрезвычайно сложный вопрос) и связано с формированием так называемого общего лексического фонда языков народов СССР. На фонетико-фонологическую, морфологическую, словообразовательную и синтаксическую системы русского языка такое влияние в принципе не распространяется. Что же касается формирования общего лексического фонда, связанного с усвоением русским языком слов из того или иного национального языка и распространением их через русский язык в других национальных языках, точно так же, как и с усвоением русской лексики национальными языками, то хотя по этому вопросу написано достаточно много работ, при ближайшем рассмотрении он оказывается по существу неизученным. Ведь в самом деле, что означает понятие «общий лексический фонд языков народов СССР» с точки зрения лингвистической? Что понимается под «общей лексикой»? Если слова, переходя из языка в язык, подвергаются различной (фонетической, морфологической, словообразовательной, семантической) адаптации в заимствующем языке, то каковы границы этой адаптации, в пределах которых можно говорить о тождестве слова в двух и более языках, а за пределами которых речь должна идти уже о двух разных словах? Можно ли считать, что наличие общей корневой части (совпадающей полностью в двух языках по фонетическому облику и семантике) при определенном расхождении в словообразовательном отношении (скажем, в одном языке от этого корня образовано слово, принадлежащее к одной и той же части речи, но образовано оно «национальными» словообразовательными средствами) дает право отнести такие два слова к «общему лексическому фонду»? Входят ли в состав общего лексического фонда кальки с одного языка на другой, и если входят, то как расценивать полное расхождение слова-кальки в калькирующем языке со словом языка-источника по фонетико-фонологическому облику?

Такие и подобные вопросы до сих пор в научной литературе не ставились, хотя совершенно очевидно, что то или иное их решение имеет общеязыковедческое, теоретическое значение. Вопросы, связанные с формированием общего лексического фонда языков народов СССР,— это вопросы, относящиеся к проблеме тождества и отдельности слова, поставленной по отношению не к одному, а ко многим генетически и типологически разным языкам. Если не оставаться на почве «общих слов» и общих рассуждений, то вопросы формирования единого лексического фонда, как видно, необходимо начать решать с установления состава «общей лексики» первоначально в двух — *русском и каком-либо национальном — языках, и только* после такого изучения возможно приступить к исследованию данной проблемы во всем ее объеме.

При этом следует иметь в виду еще одно обстоятельство. Дело заключается в том, что вхождение национального слова в русский язык, а через него — в другие национальные языки означает, во-первых, полное освоение этого слова русским языком (внешним признаком такого освоения может служить факт включения его в толковые словари, а внутренним — наличие в русском языке производных от этого слова образований), а во-вторых, фиксация его если не во всех, то по крайней мере в наиболее распространенных языках народов СССР. Если эти два условия не выполняются, если то или иное национальное слово фиксируется в устной и письменной русской речи только в пределах определенной национальной республики и не выходит за эти пределы (причем в разных национальных республиках состав таких слов будет, разумеется, различным), то в этом случае речь должна, как видно, идти не о влиянии национальных *языков* на русскую *языковую систему*, а о влиянии национальной *речи* на русскую *речь населения в данной национальной республике*.

Такое влияние в области лексики может быть приравнено к подобному же влиянию в области фонетики, морфологии, синтаксиса и семантики, оцениваемому как интерференция родного языка, хотя, конечно, использование национальной лексики в русской речи нерусских отличается по своему характеру от явлений интерференции в звуковой или грамматической системе: использование национальной лексики в устной речи в той или иной республике не может быть расценено как нарушение русских литературных норм (разговорно-обиходная речь в этом плане не скована строгими рамками и в самом русском языке); использование же ее в письменной речи (как в периодической печати, так и в художественной литературе) должно быть подчинено требованию «уместности и сообразности» (Пушкин), в противном случае «национальные вкрапления» могут оказаться «сорняками». Вероятно, не нужно доказывать, что использование национальной лексики в устной и письменной русской речи только в пределах той или иной национальной республики не имеет отношения к проблеме формирования общего лексического фонда языков народов СССР: в этом случае сохраняется «региональность» такой лексики, ее, так сказать, территориальная «прикрепленность». Судьба таких слов, конечно, может быть неодинаковой: одни из них по каким-либо причинам могут в дальнейшем стать широко распространенными, другие же — так и остаться «региональными», но известными всем людям, независимо от их национальной принадлежности, живущим в той или иной республике. Предугадать судьбу отдельных слов трудно, если не невозможно, но изучать явления, связанные с лексическим взаимодействием русского и национальных языков, необходимо.

Исследование актуальных проблем русского языка как средства межнационального общения имеет выход в практику языкового и — шире — культурного строительства в нашей стране. П. Н. Федосеев пишет: «Важнейшим условием успешного функционирования и распространения русского языка как языка межнационального общения в союзных и автономных республиках является последовательное применение принципа двуязычия, или билингвизма. Как известно, билингвизм, то есть свободное владение двумя языками, широко распространен не только у нас, но во

многих других странах. Однако в условиях социалистического общества двуязычие опирается на принципиально иную основу: оно создает языковую среду, в которой происходит дальнейшее развитие и обогащение национального языка, но вместе с тем растет потребность в овладении русским языком как языком межнационального общения» [15, с. 68].

ЛИТЕРАТУРА

1. Развитие советского народа — новой исторической общности. М.: Политиздат, 1980, с. 252.
2. *Куличенко М. И.* Расцвет и сближение наций в СССР. М., 1981.
3. *Дробижева Л. М.* Духовная общность народов СССР. М., 1981, с. 179—183.
4. О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС от 19 февраля 1982 года. М.: Политиздат, 1982, с. 14—15.
5. *Ожегов С. И.* Основные черты развития русского языка в советскую эпоху.— В кн.: *Ожегов С. И.* Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974, с. 21.
6. Развитой социализм. Проблемы теории и практики. М., 1980, с. 45.
7. *Филин Ф. П.* Об изучении общественных функций языка.— ИАН ОЛЯ, 1968, № 4, с. 283.
8. *Хасанов Б. Х.* Развитие функций русского языка в Казахстане.— В кн.: Русский язык в национальных республиках Советского Союза. М., 1980, с. 14.
9. *Орусбаев А.* Киргизско-русские языковые связи.— В кн.: Русский язык в национальных республиках Советского Союза, с. 20—21.
10. *Аврорин В. А.* Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л., 1975, с. 137—138.
11. *Михайловская Н. Г.* К определению сфер функционирования русского языка как средства межнационального общения.— РЯШ, 1982, № 1.
12. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 5—6.
13. Русский язык в современном мире. М., 1974.
14. *Реформатский А. А.* Фонетический минимум при овладении русским произношением.— РЯНШ, 1961, № 4.
15. *Федосеев П. Н.* Теоретические проблемы развития и сближения наций.— Коммунист, 1980, № 1.

ДЕШЕРИЕВ Ю. Д.

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Победа Великого Октября и создание многонационального советского государства явились величайшими событиями в жизни народов СССР. «Октябрь разбил цепи социального и национального гнета, поднял к самостоятельному историческому творчеству все народы нашей страны,— говорится в Постановлении ЦК КПСС о 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик.— Установление власти рабочего класса, общественной собственности на средства производства заложило прочный фундамент свободного развития всех наций и народностей, их тесного единства и дружбы» [1].

В советском многонациональном государстве были созданы наиболее благоприятные условия для всестороннего развития языков народов СССР, а также для их взаимодействия и взаимообогащения. Наука о языке, вооруженная марксистско-ленинской методологией, вступила в новую фазу своих теоретических исследований.

Языковую жизнь современного советского общества можно охарактеризовать, проанализировав общественные функции национальных языков СССР, а также различные аспекты взаимодействия этих языков. Мы остановимся здесь лишь на следующих, наиболее важных социально-лингвистических проблемах: 1) развитие общественных функций языков; 2) языковые аспекты взаимодействия и взаимообогащения национальных культур и развития общесоветской культуры и общественного сознания советского народа; 3) унификация, интернационализация и универсализация терминологии; 4) роль русского языка в жизни народов СССР и развитии их языков; 5) социально-лингвистические проблемы массовой коммуникации (периодической печати, радиовещания, телевидения, кино- и звукозаписи); 6) социально-функциональная классификация языков. Существуют и другие весьма важные социолингвистические проблемы, такие, как проблемы функционирования и взаимодействия литературных языков в сферах образования, науки, литературного творчества, и т. д. Многие из них нуждаются в комплексной разработке как стыковые междисциплинарные проблемы.

Проблемы развития общественных функций языков. Наша страна достигла огромных успехов в развитии общественных функций языков. Вот почему целесообразно особо выделить проблемы развития общественных функций языков народов СССР в советскую эпоху.

Прав Ф. П. Филин, когда он подчеркивает, что «...предмет языкознания шире, чем описание устройства самого языка, в него входят как его органическая часть общественные функции языка и воздействие общества на язык, как и воздействие языка на общество» [2].

Мы различаем онтологическую функцию языка и общественные функции языка. Социальными являются как онтологическая функция языка, так и общественные функции языка. Различия, существующие между ними, вызывают необходимость разграничивать их. Под онтологической функцией языка мы понимаем функцию, присущую языку с момента его возникновения. Это — коммуникативная функция языка, т. е. функция человеческого общения. Эту функцию имел в виду В. И. Ленин, когда писал: «Язык есть важнейшее средство человеческого общения» [3].

Общественные функции языка — это конкретная реализация его коммуникативной функции в определенной сфере человеческой деятельности.

Некоторые ученые различают две онтологические функции языка — коммуникативную функцию и экспрессивную функцию, т. е. функцию выражения, воплощения мысли, накопления знаний, любой информации. В советском языкознании в первой половине 50-х годов шла дискуссия по вопросу о функциях языка в онтологическом смысле. В то время даже не ставилась проблема общественных функций языка в современном смысле. Она была выдвинута впервые в советском и мировом языкознании как особая социально-лингвистическая проблема лишь в конце 50-х годов.

Язык с самого начала своего возникновения служит средством общения. Таким образом, функция общения присуща природе языка вообще. Здесь неуместно вести широкую дискуссию об одной или двух онтологических функциях языка. Отметим лишь то, что мы считаем, что так называемая «экспрессивная функция» отражается в коммуникативной функции, и нет оснований для их противопоставления. Указанные функции надо рассматривать в их диалектическом единстве.

Что же касается общественных функций языка — познавательной (гносеологической), эстетической и идеологической, то они возникают значительно позже. Конечно, выполняя коммуникативную функцию, язык в определенном смысле выступал и в познавательной функции. Однако функцию орудия познания в широком смысле он мог выполнять только в условиях более развитого общества. Именно в таком широком смысле мы понимаем познавательную (гносеологическую) функцию языка. Еще позже в связи с возникновением и развитием искусства, художественного мышления формируется эстетическая функция языка. Идеологическая по своей основной сути функция языка развилась в связи с возникновением политической организации классового общества (по Л. Моргану, [см. 4]), хотя зачатки ее могли появиться задолго до этого (в период существования «тотемной» социальной организации, «классовой» или половой организации, по Л. Моргану).

Общественные функции языков подразделяются на универсальные и дифференцирующие. Универсальные функции — это те, которые присущи любому языку, независимо от степени его функционального и внутриструктурного развития, а также от численности говорящих на нем людей. К наиболее важным универсальным функциям любого языка относятся познавательная, эстетическая, идеологическая функции, о которых речь пойдет ниже.

Познавательную функцию языка иногда называют гносеологической или когнитивной. Она связана с использованием языка как средства познания действительности, прежде всего научного познания законов природы и общества, т. е. с применением языка главным образом в сферах образования, науки и техники. При выполнении языком других функций (например, эстетической, идеологической) также происходит познание действительности. Однако познавательная функция обладает определенной спецификой.

Языки народов СССР различаются по уровню развития познавательной функции. Так, языки малочисленных народов почти не применяются в сферах естественных и технических наук, в то время как основные местные языки союзных республик достаточно широко используются в различных сферах образования, науки и техники.

Развитию эстетической функции языка способствует углубление эстетической культуры, связанное с творчеством на литературных языках. До революции языки, не имевшие своей общенародной письменности, выполняли эстетическую функцию в весьма ограниченных рамках — главным образом в фольклоре. После победы Великого Октября всемерное развитие на младописьменных языках получила художественная литература. Широко известны в СССР и за рубежом имена выдающихся советских писателей и поэтов, пишущих на своих родных младописьменных языках — аварца Расула Гамзатова, балкарца Кайсына Кулиева, кабардинца Алима Кешокова, чеченки Раисы Ахматовой и мно-

гих других. Все младописьменные языки стали выполнять эстетическую функцию художественной литературы и искусства, включая поэзию, прозу, драматургию, драматический театр, оперу и т. д.

И тем не менее степень развитости эстетической функции различных языков не одинакова. В качестве наглядного примера сошлемся на следующие данные. С 1918 по 1979 гг. объем изданной на украинском языке художественной литературы составил 24 612 книг и брошюр общим тиражом 881506,3 тыс. экз., а на калмыцком всего лишь 610 книг общим тиражом 8838,2 тыс. экз. В 1979 г. на хантыйском языке была издана только одна книга общим тиражом 1,1 тыс. экз. Между тем на киргизском языке было выпущено 467 книг и брошюр общим тиражом 3408,2 тыс. экз., из которых на художественную литературу приходится более 131 книги и брошюры общим тиражом 2762,0 тыс. экз. Особенно широко развилась эстетическая функция основных местных языков союзных республик, на которых (языках) в вузах преподаются родная, русская, зарубежная литература, теория литературы, история литературы и т. д. [15, с. 63, 23, 22, 117].

Было бы неверно сводить степень развитости эстетической функции того или иного языка к масштабам издания книг или к преподаванию дисциплин (относящихся к художественной литературе и искусству) на этом языке. Проблема, безусловно, сложнее. Тем не менее нельзя не учитывать того факта, что размах профессиональной деятельности в области художественной литературы и искусства влияет на развитие эстетической функции языка. Ведь каждое талантливое произведение писателя, деятеля искусства вносит определенную ленту в художественную культуру. Чем больше таких произведений, чем шире они распространяются, тем выше уровень развития эстетической функции языка, на котором созданы эти произведения.

По словам акад. А. Г. Егорова, необходимо отличать «специфику таких понятий, как „эстетическая культура" и „культура художественная"...» [5, с. 151]. «...Художественная культура входит в состав эстетической, но не исчерпывает ее. Все виды творческого труда так или иначе подчиняются „законам красоты", законам эстетической деятельности» [5, с. 152].

Вместе с тем «...искусство и наука имеют общие гносеологические корни как различные виды единого, всесильного, живого, плодотворного человеческого познания, они помогают друг другу и идут рука об руку» [5, с. 163]. Отсюда следует «...гносеологическое единство художественного и научного познания...» [5, с. 163, примеч. 1].

Большое значение имело развитие идеологической функции литературных языков народов СССР для овладения их носителями марксистско-ленинской идеологией. Все эти языки в той или иной мере используются как орудие, средство распространения нашей идеологии, для пропаганды произведений классиков марксизма-ленинизма, решений партийных съездов, постановлений ЦК КПСС.

Вместе с тем языки различаются и по уровню выполнения идеологической функции. Так, на языках малочисленных народов (например, на мансийском, нанайском) не преподаются вузовские дисциплины «научный коммунизм», «политическая экономия социализма» и т. д. В то же время всесторонне развилась идеологическая функция основных языков союзных республик, на которых впервые в советское время стали осуществлять преподавание диалектического и исторического материализма, научного коммунизма, политэкономии и т. д.

Дифференцирующие функции — это те социальные функции, которые выполняет язык в процессе его функционирования в той или иной сфере человеческой деятельности (например, в сферах начального или среднего специального образования, в отраслях науки — математике, физике, химии и т. д.). В каждой сфере, например, науки, искусства, печати, общественные функции могут подвергаться внутренней дифференции.

В силу большой устойчивости языка в течение относительно короткого времени в нем не происходит значительных фонетических, морфологиче-

ских, синтаксических, лексико-семантических и других изменений, обусловленных его развитием по внутренним законам. При всей важности внутриструктурного развития языка его роль в современную эпоху не идет ни в какое сравнение с тем огромным прогрессом, который стимулируется функциональным развитием языков. К тому же развитие общественных функций языков сказывается на внутриструктурных изменениях языка, тогда как само оно от них не зависит.

«Развитие общества обусловливает развитие общественных функций языка. Поэтому судьба любого языка, его роль и значение в жизни общества, перспективы его функционирования и развития зависят от его общественных функций. Проблема развития общественных функций языка — главная проблема функционирования и развития языков мира вообще. Ее теоретическая разработка и практическое решение в широком плане впервые были организованы в советском языкознании на основе изучения опыта развития национальных языков СССР» [6, с. 108].

«Современное общественное развитие настоятельно требует развертывания социолингвистических исследований локального и мирового значения, отвечающих высоким целям и задачам разработки общих проблем социологии. Это будет способствовать повышению роли лингвистики (незаслуженно оказавшейся в кругу „второстепенных" наук) как одной из наиболее важных областей знания, призванной сыграть активную роль в мировом процессе общественного развития» [6, с. 111].

Языковые аспекты развития, взаимодействия и взаимообогащения национальных культур, формирования и расцвета общесоветской культуры. Культура советского социалистического общества настолько многообразна и многогранна, что средствами ее всестороннего отражения (выражения) могут служить только языки с широко развитыми общественными функциями и с разносторонне развитыми лексико-семантическими и стилистическими системами. Это объясняется не субъективными факторами, а объективными закономерностями современного общественного развития.

Советский опыт культурно-языкового строительства убедительно показал отсутствие социально обусловленной потребности выравнивания уровня функционального развития всех без исключения языков народов СССР, а следовательно, и отсутствие такой потребности в отражении всеми младописьменными и бесписьменными языками достижений СССР в развитии культур всех социалистических наций и народностей, а также мировой культуры. Это означает, что отсутствует социально обусловленная потребность в выравнивании общественных функций, например, грузинского литературного языка и одноаульного бесписьменного бацбийского языка, функционирующего в селе Земо-Алвани Грузинской ССР, украинского литературного языка и младописьменного аварского языка, представленного в многоязычном Дагестане, а также в выравнивании социальных функций всех равноправных языков народов СССР.

В связи с изложенным заслуживают внимания социальные последствия трех важнейших периодов функционирования и взаимодействия языков и культур народов СССР: периода функционирования и взаимодействия языков и досоциалистических культур наций и народностей; периода формирования и развития национальных социалистических культур, а также возникновения новых, социально обусловленных закономерностей функционирования, развития и взаимодействия языков и социалистических культур; периода формирования и развития общесоветской социалистической культуры и складывания новых тенденций в функционировании языков в условиях новой исторической общности людей — советского народа.

Первый период соотносится в основном с дореволюционной эпохой, когда господствующие классы в царской России и слышать не хотели о развитии и взаимообогащении наций, народностей, их языков и культур. Конечно, и в то время происходили процессы взаимодействия и взаимообогащения языков и культур, но в весьма ограниченных масштабах.

Русская культура и русский язык благодаря активной деятельности демократических сил русского общества того времени играли прогрессивную роль в жизни народов России.

Второй период связан с победой Великого Октября и строительством социализма в нашей стране. В то время национальные языки сыграли очень важную роль в овладении всеми народами страны выдающимися достижениями социалистической культурной революции. Взаимодействуя, социалистические национальные культуры и языки взаимообогащались.

В духовном развитии народов СССР, взаимообогащении их языков и культур особенно большую роль сыграл третий период — период зрелого социализма. С точки зрения развития языковой жизни и общественного сознания данный период характеризуется следующими особенностями: из всех форм существования языка доминирующими почти во всех сферах социальной жизни становятся устная и письменная формы литературных языков. Роль территориальных диалектов и просторечия весьма сильно снижается, резко сокращаются сферы их применения. Общеобразовательный уровень всех народов повышается в небывалых масштабах, ликвидирована неграмотность, царившая среди подавляющего большинства народов страны.

Развитие, взаимодействие и взаимообогащение национальных языков и культур представляли собой весьма сложные процессы, в которых нередко возникали и отрицательные явления. Языкам, как и культурам, могут быть навязаны субъективными действиями пуристические тенденции под предлогом сохранения чистоты и национальной специфики языка и культуры. Подобные факты наблюдались в истории взаимодействия языков и в советский период. Пуристические тенденции ведут к взаимоизоляции языков и культур, мешают естественному развертыванию процессов их взаимодействия и в конечном счете духовному обогащению народов новыми понятиями, идеями и достижениями всей советской и мировой культуры.

Ускоренный ход научно-технической революции, интенсификация процессов современного общественного развития порождают многочисленные новые проблемы отражения сфер материальной и духовной культуры в языке, осложняют процессы языкового взаимодействия в разных отраслях материальной и духовной культуры, а также процессы взаимообогащения национальных культур и общесоветской культуры. Все это нередко создает сложные социальные проблемы, в наиболее целесообразном решении которых языковеды должны участвовать вместе с практиками [1].

Язык относится к наиболее сокровенным сторонам духовной жизни любого народа. В связи с этим возникает много вопросов, не допускающих однозначного решения проблем языка во всем многообразии социальных условий. Учитывая все это, советские ученые стремятся разрабатывать комплексные проблемы современного состояния, планирования и прогнозирования дальнейшего развития культурно-языковой жизни народов СССР, исходя из общих закономерностей социалистического и коммунистического строительства, а также из социальной обусловленности процессов взаимодействия и взаимообогащения языков и культур. Такая работа поручена секцией общественных наук АН СССР Институту языкознания АН СССР и научному Совету «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», которым было предложено организовать разработку коллективного труда по указанной проблематике с привлечением ученых Института философии, Института русского языка, Института мировой литературы, Института востоковедения, Института этнографии АН СССР, а также соответствующих научных учреждений союзных республик и вузов страны. В результате были осуществлены важные комплексные исследования, позволившие подготовить научно-практические рекомендации.

---

[1] Указанные проблемы рассматриваются в ряде комплексных исследований, см. [7—10].

Проблемы унификации, интернационализации и универсализации терминологии. Терминологические проблемы у нас в стране всегда решались на основе принципов социалистического интернационализма, путем наиболее целесообразного сочетания интернационального и национального в развитии терминологии. Особенно заметный прогресс в этой сфере достигнут младописьменными языками автономных республик, областей и округов. В большинстве из них осуществлялась многосторонняя унификация, учитывающая жизненные интересы каждого народа и всех народов вместе взятых, а также углубление процессов развития и взаимообогащения наций, народностей, их языков и культур.

В условиях современной научно-технической революции дальнейшее разностороннее развитие получает терминология общественных, естественных и технических наук. Без преувеличения можно сказать, что терминология, материализующая и формирующая на языковом материале систему понятий, представляет собой основу логического (мыслительного) содержания любой отрасли знания. В сущности говоря, терминология — это язык науки. Особенно большое значение развитие терминологии приобретает в связи с практическим осуществлением выдвинутой XXV и XXVI съездами КПСС исторической программы ускорения научно-технического прогресса как одной из важнейших задач коммунистического строительства в нашей многоязычной стране.

Характеризуя развитие терминологии на языках народов СССР, следует различать общие и специфические особенности процессов унификации, интернационализации и универсализации. Унификация рассматривается нами как проведение семантической идентичности терминов, сближения их звучания и орфографии, где это возможно и целесообразно.

Из изложенного не следует, что научный термин во всех языках желательно писать и произносить одинаково. Больше того, невозможно и не нужно требовать, чтобы все термины во всех языках восходили к одному и тому же языку. Точно так же не ставится вопрос о замене укоренившихся терминов, заимствованных, например, из арабского или персидского языков. В значении слова *литература*, *школа* в туркменском языке употребляются арабизмы соответственно *эдебият*, *мектеп*. Никто не требует замены их заимствованиями из русского или какого-либо другого европейского языка. Речь идет об унификации терминов, особенно новых, там, где это возможно и целесообразно. Русские слова *спутник*, *луноход* заимствованы многими зарубежными языками. Если в нашей стране в каком-нибудь языке нет соответствующего слова, то вряд ли целесообразно создавать новый искусственный малопонятный народу сложный термин типа «искусственная звезда», «искусственная луна», искажающий смысл, содержание термина «спутник».

Слово *интернационализация* также чаще всего употребляется в двух значениях: в идеологически окрашенном (например, в системе терминологии марксистско-ленинской науки) и нейтральном. Мы употребляем его как термин марксистско-ленинской науки. В Советском Союзе достигнуты значительные успехи в теоретической разработке и практическом решении проблем терминологии, в интернационализации, унификации марксистско-ленинской терминологии общественных наук, в универсализации терминов в ряде отраслей естественных и технических наук (здесь имеется в виду научно-техническая терминология, нейтральная в идеологическом отношении и подлежащая универсализации в международном масштабе (некоторые термины и терминологические системы в химии, математике, физике и т. д.).

Иным должен быть подход к интернационализации и унификации терминологии идеологического содержания в общественных науках. Здесь исключается возможность деидеологизации терминологии общественных наук и сотрудничества с представителями любых философских и социологических направлений с целью универсализации терминов и терминологических систем.

Следует различать внутриязыковую и межъязыковую унификацию терминологии. Внутриязыковая унификация — это унификация терминологии в рамках одного языка (например, русского). Межъязыковая унификация — это унификация терминологии в двух и более языках.

Анализ явлений, относящихся к межъязыковой уровневой характеристике даже в части широко распространенных терминов, дает весьма показательную картину с точки зрения необходимости унификации и создания благоприятных условий для развития и распространения национально-русского двуязычия. Например, в одном из языков народов СССР до 1963 г. писали заимствованный через русский язык интернациональный термин *продукция*, сохраняя основу *продукци...* После 1963 г. по настоянию некоторых лингвистов этот термин подвергся фонетизации по законам родного языка. В результате была образована форма *бородуксуйа*. По своей семантике слово *бородуксуйа* соответствует слову *продукция*. Тем не менее *умственная нагрузка* учащихся в определенном смысле удваивается: на уроках родного языка они должны заучивать форму *бородуксуйа*, а на уроках русского языка — *продукция*. Впоследствии первая форма была отвергнута носителями якутского языка.

Или возьмем слово *колхоз*, которое в 30-х годах было адаптировано в киргизском языке в форме *калкос*, а в кабардино-черкесском — *чIалхоз*. В результате учащимся-киргизам приходилось заучивать два слова или две формы слова с одним значением: *колхоз* и *калкос*, а учащимся-кабардинцам *колхоз* и *чIалхоз*. Таких слов сотни и тысячи. Впоследствии в киргизском и кабардино-черкесском языках была узаконена единая унифицированная звуковая форма *колхоз*.

Было бы неправильно абсолютизировать такой подход к межъязыковой унификации терминологии. Необходимо учитывать исторические традиции, особенности культурно-исторического опыта каждого народа. Армянский и грузинский языки являются древнеписьменными (письменность с V в. н. э.), а латышский, литовский и эстонский — старописьменными. Слово *совет* в грузинском обозначается как *сабчIо*, в литовском еще со времени возникновения этого термина в 1905 г.— *taryba*, латышском — *padomѕ*. Национальные варианты этого термина хорошо прижились, они широко употребляются, понятны народам, поэтому вряд ли было бы целесообразно заменять их единым термином.

Широкий социальный интерес представляет вопрос о методологических и теоретических принципах межъязыковой унификации терминологии. Трудности решения этой проблемы, как явствует из примеров, состоят в том, что мы имеем дело с языками, сильно различающимися по письменным, литературным традициям, историческому опыту их развития как литературных языков, по их структурно-типологическим особенностям, по происхождению, по объему социальных функций и т. д. В этих условиях весьма трудным является вопрос о поиске единого ключа решения проблемы унификации терминологии на языках народов СССР. Здесь можно указать на четыре возможных подхода.

Во-первых, исключительная ориентация на внутриструктурные возможности конкретного языка, на его национальную специфику. Однако при данном подходе возникает опасность увлечения национальной спецификой, опасность развития пуристических тенденций и усиления языковых барьеров в терминологии, несмотря на то, что наука по своей природе явление интернациональное. Абсолютизация такого подхода вряд ли приемлема с социальной точки зрения и с точки зрения здравого смысла использования общечеловеческого опыта развития науки, техники и культуры.

Во-вторых, исключительная ориентация на русский язык как общий язык межнационального общения и один из наиболее развитых языков мира, имеющий богатый опыт создания терминологических систем по всем отраслям знания. Здесь возникают опасности иного рода: опасность увлечения заимствованиями, опасность недооценки национальной специфики, игнорирования культурно-исторического опыта каждого народа. Такая постановка вопроса также может осложнить и затруднить работу,

хотя мы все хорошо знаем, что для подавляющего большинства литературных языков народов СССР по большинству отраслей науки, техники и культуры терминологические системы были созданы на основе богатого опыта русского языка, русской культуры, науки и техники. И тем не менее абсолютизация такого подхода неприемлема с социальной точки зрения, с точки зрения учета исторического опыта каждого народа, опыта и достижений мировой культуры, науки и техники.

В-третьих, определяя основу терминологии, можно исходить из интернационального, общесоветского терминологического фонда, развивая и обогащая его в соответствии с развитием культуры, науки и техники. Данный подход при его абсолютизации также имеет свои теневые стороны. Так, например, при создании терминологических систем для некоторых отраслей культуры, науки определяющую роль играла и продолжает играть национальная специфика. Вместе с тем есть отрасли науки, культуры, техники с русской основой терминологии. Вряд ли возможно не учитывать исторический опыт национальных языков, русского языка и абсолютизировать подход к терминологии, унифицирующий ее основу во всех случаях на базе исключительно интернационального терминологического фонда, отбрасывая национальную специфику или русскую основу соответствующих терминологических систем.

Наконец, в-четвертых, определяя основные принципы, основу унификации терминологии языков народов СССР, можно исходить из наиболее целесообразного учета и сочетания достижений национальных традиций, русской науки, культуры, техники и оптимального использования сложившегося в советскую эпоху и продолжающего обогащаться и развиваться интернационального, общесоветского терминологического фонда. Такой подход снимает вопрос о недооценке достижений национальных языков и культур, русской науки, культуры, общесоветской культуры и общесоветского терминологического фонда. Разумеется, в дальнейшем развитии терминологии языков народов СССР определяющую роль будет играть и должен играть интернациональный общесоветский терминологический фонд, в который внесли и вносят посильный вклад все народы, все языки народов СССР. Вполне естественно, основная часть этого фонда складывается через посредство и на базе русского языка как общего языка межнационального общения. Как представляется, из данного принципа следует исходить при разработке общих проблем унификации терминологии на языках народов СССР.

Специальным решением Президиума АН СССР создана межведомственная комиссия по проблемам унификации терминологии на языках народов СССР. Советские языковеды призваны в сотрудничестве со специалистами соответствующих отраслей знания внести посильную лепту в разработку этих проблем. Терминология, как и наука в целом с ее интернациональной природой, служит великому делу марксистско-ленинской идеологии, социалистическому интернационализму.

Роль русского языка в жизни народов СССР и развитии их языков. Советская многонациональная и многоязычная культура, ее основные достижения наиболее полно лингвистически отражены, всеобъемлюще выражены в русском языке, являющемся языком межнационального общения и одним из мировых языков. Все народы СССР, достигшие высокого уровня развития материальной и духовной культуры, характерного для современного этапа зрелого социализма, благодаря русскому языку получают доступ ко всем сферам науки, техники и культуры, а также возможность всестороннего развития своего общественного сознания.

Русский язык служит важнейшим средством, обеспечивающим гармоническое сочетание национального и интернационального в развитии общественного сознания советских людей. В Постановлении ЦК КПСС о 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик следующим образом охарактеризована одна из наиболее важных особенностей языковой жизни современного советского общества: «Советская многонациональная литература издается на десятках языков наро-

дов СССР, многие из которых до Октября не имели письменности. Русский язык, добровольно принятый советскими людьми в качестве языка межнационального общения, стал важным фактором укрепления социально-политического и идейного единства советского народа, развития и взаимообогащения национальных культур. Он открыл всем нашим народам широкий доступ к духовным богатствам мировой цивилизации» [1].

Обращаясь к участникам Всесоюзной научно-теоретической конференции «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР», Л. И. Брежнев писал: «В условиях развитого социализма, когда экономика нашей страны превратилась в единый народнохозяйственный комплекс, возникла новая историческая общность — советский народ, объективно возрастает роль русского языка как языка межнационального общения в строительстве коммунизма, воспитании нового человека. Свободное владение, наряду с родным, русским языком, добровольно принятым в качестве общего исторического достояния всеми советскими людьми, способствует дальнейшему упрочению политического, экономического и духовного единства советского народа» [11]. Как известно, русский язык — один из наиболее развитых и распространенных мировых языков. Мировыми языками называют наиболее распространенные и развитые языки, всеобъемлюще отражающие важнейшие достижения материальной и духовной культуры современного человечества. Велика роль не только русского, но и английского, французского, испанского, немецкого и других мировых языков в развитии современной мировой науки, техники, культуры. Термин «мировой язык» в устах советских ученых не означает требования исключительных юридических и политических прав для мировых языков во всем мире, в различных государствах. Мы исходим из ленинского положения, провозгласившего равноправие всех языков.

Процесс распространения русского языка в мировом культурном обиходе начался еще в XI в. [12] и в широких масштабах продолжается в настоящее время [13]. Русский язык стал одним из официальных языков Организации Объединенных Наций. Его мировое значение особенно возросло после разгрома фашизма во второй мировой войне и образования мировой социалистической системы. Историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне явилась ярким свидетельством того, что родина социализма достигла выдающихся успехов во всех отраслях культуры, науки, техники, искусства и литературы. Все эти достижения, в овладении которыми нуждаются не только нации и народности СССР, но и народы других стран, отражены в полной мере преимущественно в русском языке.

Большие успехи коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения также способствовали возрастанию интереса к социалистическому и коммунистическому строительству в СССР, к произведениям В. И. Ленина, написанным на русском языке и являющимся наиболее читаемыми во всем мире.

Показательно то, что даже представители капиталистических стран вынуждены призывать своих сограждан к изучению русского языка, чтобы быть «хорошо осведомленными обо всех аспектах советской жизни». По словам Х. М. Якобсон (США), «...в современном мире СССР играет важнейшую роль в мировых делах и бросает вызов нашей системе правления..., мы не должны забывать, что русский язык — носитель одной из величайших литератур всех времен, что он, поскольку русские ученые производят сейчас 28% мировой научной документации, носитель жизненно важной технологической информации...» [13, с. 70—71].

Признание мирового значения русского языка некоторыми представителями буржуазной идеологии не является случайным. Русский язык занимает первое место в мире по числу и тиражам переводных изданий, способствующих возрастанию его роли в культурном обмене между народами, повышению его информативности в небывалых масштабах, проявляющейся, например, в высоких темпах роста изданий на нем. Так, если в 1950 г. на русском языке было издано 30 482 книги общим годовым

тиражом 640391 тыс. экз. [14], то в 1979 г. выпущено 61 958 книг общим тиражом 1452 210,0 тыс. экз., в том числе 2333 переводных книги общим тиражом 152578,8 тыс. экз. [15, с. 22].

Характеризуя русский язык как один из мировых языков, следует особо выделить следующие его широко известные социальные функции: 1) функции одного из языков мирового развития (т. е. языков, в которых наиболее полно отражаются все стороны развития человечества); 2) функции языка международного общения; 3) функции языка братского сотрудничества и культурного обмена между народами СССР и народами социалистических стран. Вместе с тем, как показано в специальной литературе, русский язык выполняет и такие социальные функции всемирно-исторического значения, каких не выполняет ни один из других мировых языков. К ним относятся: а) функции языка межнационального общения и сотрудничества народов СССР; б) функции единственного языка в мире, в котором наиболее полно, всеобъемлюще представлены основные достижения величайшей социалистической культуры советского народа; в) функции языка, на котором существует самая богатая и разносторонняя марксистско-ленинская литература по философии, культуре, идеологии и некоторым отраслям науки. Можно было бы отметить и другие специфические функции русского языка как одного из мировых. Указанные социальные функции русского языка, позволяющие ему занять особое место, недоступное ни одному из других мировых языков, не всегда должным образом оцениваются в существующей литературе, особенно зарубежной.

Социально-лингвистические проблемы массовой коммуникации. Система массовой коммуникации играет огромную роль в духовной жизни современного общества. Важнейшие ее сферы — печать, радиовещание, телевидение и кино — широко используются как средства информации, идейно-политического, нравственного, эстетического воспитания трудящихся. Все области человеческой деятельности — наука, техника, культура, искусство, литература, все отрасли народного хозяйства в той или иной степени получают отражение в печати, радиовещании, телевидении и кино. Об этом свидетельствуют приводимые ниже статистические данные.

В области развития печати на языках народов СССР, а также зарубежных народов достижения нашей страны особенно велики. В 1979 г. в СССР было издано на 63 языках народов СССР и 51 языке народов зарубежных стран 80 560 книг и брошюр общим годовым тиражом 1784362,9 тыс. экз.; выпускалось 5265 журналов и других периодических изданий общим годовым тиражом 3203315 тыс. экз., 8019 газет общим годовым тиражом 39115019 тыс. экз. [15, с. 24, 22, 72, 74, 84, 85].

Почти повсеместное распространение получило радиовещание, осуществляемое на всех литературных письменных, а также на некоторых бесписьменных языках. В 1979 г. в стране функционировало около 170 комитетов по телевидению и радиовещанию и радиоредакций. Более чем в 500 городах и населенных пунктах действует трехпрограммное вещание. Центральное внутрисоюзное радиовещание функционирует по восьми основным программам в объеме около 160 час. в сутки, не говоря уже о республиканском радиовещании в союзных и автономных республиках, автономных областях и округах. Огромная и разнообразная информация, передаваемая почти круглосуточно на многочисленных языках советских и зарубежных народов, не может не оказывать воздействия на их функционирование и развитие.

Большие успехи достигнуты в развитии телевизионного вещания на всех литературных письменных языках. В СССР действует около 130 студий телевидения и комитетов по телевидению и радиовещанию, свыше 80 приемных станций «Орбита». «Центральное телевидение ведет вещание по восьми программам. Среднесуточный объем вещания в 1978 г. составил 83,7 час.» [16, с. 86]. В национальных республиках значительное место занимают передачи телевидения на местных языках.

Сфера кино также обслуживает население СССР как на русском, так

и на национальных языках. «В 1978 г. на 39 киностудиях страны создано 297 полнометражных фильмов, из них 150 художественных, 28 документальных, 13 научно-популярных и 106 фильмов по заказу Гостелерадио СССР. Выпущено 1412 короткометражных фильмов, в том числе 325 документальных, 128 научно-популярных; 1130 номеров киножурналов» [16, с. 80]. Многие из них выпущены и на местных языках.

Проблемы функционального и внутриструктурного развития литературных языков в связи с их применением в сферах массовой коммуникации разработаны слабо. Между тем проблема языка и языков массовой коммуникации (ЯМК) [2] относится к важнейшим проблемам последней.

Из четырех характеризуемых ниже направлений исследования первые три направления по проблемам социолингвистического исследования ЯМК выдвинуты впервые:

1) исследование проблем определения, свободного выбора языка межнационального общения и местных ЯМК в союзных и автономных республиках, автономных областях и округах;

2) функциональное развитие и дифференциация языков в связи с дифференциацией и развитием сфер массовой коммуникации;

3) внутриструктурное развитие языков в связи с дифференциацией и развитием сфер массовой коммуникации;

4) лингвисты немало сделали в области изучения специфических признаков ЯМК, прежде всего его функционально-стилистических особенностей, а также характерных признаков каждой сферы массовой коммуникации. Вся эта проблематика включается в четвертое направление социолингвистического исследования ЯМК — исследование общих и специфических особенностей языковых процессов в сферах печати, радиовещания, телевидения и кино совместными усилиями лингвистов, социолингвистов, психолингвистов и представителей некоторых других отраслей знания.

Когда говорят, что создателем такого-то литературного языка является известный писатель или деятель культуры, то имеют в виду не создание письменности для этого языка, не исторический процесс формирования литературного языка, а совокупность языковых явлений, связываемых с именем писателя и рассматриваемых как нормативные, общепринятые, общепризнанные в качестве образцовых. Любой современный литературный язык — продукт исторического развития. Главным создателем литературного языка является народ. Здесь мы имеем в виду прежде всего литературные языки, на которых говорят народы, достигшие высокого уровня грамотности (до 99% и выше), среди которых на 1000 чел. работающих приходится более 800 чел. с высшим, средним (полным и неполным) образованием. Речь идет главным образом о литературных языках народов СССР.

В прошлом, когда основная масса народа оставалась неграмотной, отдельные писатели, деятели культуры, наиболее образованная часть общества играли основную роль в формировании, нормировании литературного языка.

Как справедливо отмечает Ф. П. Филин, «во времена Пушкина литературным языком владел ничтожный процент населения, подавляющее большинство народа говорило на диалектах... Нормы, которые были установлены и освящены гением Пушкина, дали бы низкие статистические показатели (в смысле их распространенности в пушкинское время среди широких слоев населения), а между тем многие из них выжили и являются образцовыми и в настоящее время» [17].

Называя писателей, поэтов, деятелей культуры создателями литературных языков, имеют в виду их большой вклад в развитие литературных языков, большое социальное значение их творчества, особо важное значение их произведений в развитии художественной культуры народов,

[2] Как известно, особого языка массовой коммуникации не существует. Термин «язык массовой коммуникации» здесь используется условно для определения некоторых особенностей литературного языка, употребляемого в сферах массовой коммуникации.

их литературных языков. В прошлом роль науки, техники, сфер массовой коммуникации еще не была столь значительной в функционировании и развитии языков, как в настоящее время. Благодаря бурному развитию естественных, общественных и технических наук, всех сфер человеческой деятельности обогащение словарного состава литературных языков происходит главным образом за счет научных и технических терминов. Небывалая функционально-стилистическая дифференциация сильно развитых литературных языков также обусловлена разносторонней дифференциацией социальной жизни, особенно науки и техники.

В этих условиях как никогда возросла роль сфер массовой коммуникации в жизни общества. На работе, дома, в школе, вузе, в культурно-просветительных учреждениях — словом, всюду, люди связаны со средствами массовой коммуникации. Информация о жизни и деятельности людей во всех отраслях народного хозяйства, материальной и духовной культуры регулярно передается средствами массовой коммуникации. Радио, телевидение, газеты, журналы, кино, звукозапись, видеозапись проникли «во все поры» человеческой жизни. «Одухотворить» эти средства коммуникации, «вдохнуть» в них жизнь помогает язык. Представители всех слоев общества, всех социальных его групп выступают по радио, телевидению, на страницах газет и журналов. Массовая коммуникация поистине стала всенародной трибуной языкового общения, взаимообогащения при помощи языка представителей всех социальных групп, всех наций и народностей.

В этих условиях сама социальная жизнь обусловила необходимость, чтобы массовая коммуникация стала своеобразным «законодателем» нормы литературного языка, важнейшим средством пропаганды и распространения культуры речи и литературной нормы языка.

Функционирование языков в сферах массовой коммуникации — это концентрированное выражение научно обработанного социального опыта пользования языком. Это значит, что каждый текст, публикуемый на страницах газет и журналов или передаваемый по радио и телевидению, подвергается тщательной проверке силами разных специалистов не только с точки зрения содержания, точности употребления терминов, но и с точки зрения соблюдения орфографических, орфоэпических, синтаксических, морфологических, стилистических, лексико-семантических норм. В этой работе участвуют лингвисты, журналисты, педагоги, литераторы, представители других отраслей знания. Любой трудящийся может внести свое предложение относительно соблюдения норм литературного языка, повышения культуры речи. Акад. Л. В. Щерба считал, что в совершенствовании и развитии русского языка принимают участие и представители нерусских народов СССР.

При всем этом необходимо помнить и учитывать большую роль общеобразовательной школы, других учебных заведений, культурно-просветительных учреждений, всех сфер социальной жизни в распространении и внедрении литературной нормы и развитии культуры речи [см. 18—20].

Много сделано и делается в области разработки теоретических проблем нормирования русского языка, повышения культуры русской речи Институтом русского языка АН СССР, особенно сектором культуры речи этого института. Существенное значение имеют передачи по радио и телевидению («Русская речь» и другие), в которых в научно-популярной форме освещаются вопросы нормы литературного языка, культуры речи, истории и значения отдельных слов и т. д.

На страницах периодической печати, в передачах радио и телевидения в союзных и автономных республиках и автономных областях обсуждаются проблемы нормирования национальных литературных языков, культуры родной речи наряду с вопросами свободного владения русским языком носителями других языков, культуры русской речи у нерусских.

Функционально-типологическая классификация языков. По объему выполняемых общественных функций современные языки мира дают весьма пеструю картину. Среди них есть языки с максимальным объемом общественных функций. К ним относятся

мировые языки — официальные языки Организации Объединенных Наций (английский, русский, французский, испанский, китайский).

Функционально-типологическая (или социально-функциональная) классификация языков, основанная на обусловленных общественным развитием закономерностях функционирования, развития и взаимодействия языков, ставит своей задачей:

а) охарактеризовать факторы, вызывающие расширение или сокращение общественных функций различных языков в разных социальных условиях; б) показать зависимость социального значения языка от объема его общественных функций; в) выяснить специфические особенности воздействия экономических, политических, культурных и других социальных факторов на расширение или сокращение общественных функций языков; г) обосновать положение об определяющей роли общественных функций языка в его внутриструктурном развитии; д) осветить вопрос о перспективах функционального развития языков мира (языков, функционирующих в разных частях земли, в однонациональных и многонациональных государствах и т. п.).

Языковая жизнь многонационального, многоязычного Советского Союза привела наших лингвистов к разработке функционально-типологической классификации языков. Общество, наука, сферы общения и человеческой деятельности нуждаются в таком аспекте исследования языков, который позволил бы показать, по каким принципиальным, наиболее важным в социальном отношении линиям функционировали, развивались в прошлом, функционируют, развиваются в современный период, будут функционировать и развиваться в будущем различные языки в разных социальных условиях, в тесной, неразрывной связи с развитием общества, каковы факторы, определяющие объем социальных функций языков.

Функционально-типологическая классификация языков имеет большое социальное, теоретическое и практическое значение для научно обоснованной характеристики роли различных языков в развитии общества, его материальной и духовной культуры, общественного сознания его членов.

Нами рассмотрены далеко не все социально-языковые проблемы жизни советского общества. Мы не коснулись, например, проблем функционирования и взаимодействия литературных языков в сферах образования (начального и среднего общего, среднего специального, высшего), в сферах науки (естественных, общественных и технических наук), в сфере художественной литературы и др. Характеризуя тенденции дальнейшего развития языковой жизни советского общества, необходимо учитывать социальную потребность в применении различных литературных языков в указанных сферах.

Для развитого советского социалистического общества первостепенное значение имеет глубокое исследование тенденций развития национально-русского двуязычия во всех союзных и автономных республиках, автономных областях и округах.

Возросшие в условиях развития новой исторической общности людей — советского народа потребности нашего социалистического образа жизни выдвигают на первый план актуальные социолингвистические проблемы, нуждающиеся в комплексном решении совместными усилиями языковедов и представителей разных отраслей знания. К ним в первую очередь относятся:

а) расширение сфер применения языка межнационального общения, возрастание его значения в жизни народов СССР в связи с интенсификацией межнационального общения, культурного обмена между республиками, областями и округами, братского сотрудничества советских народов; б) обеспечение представителей каждой нации и народности неограниченными возможностями выбора любой сферы социальной жизни (науки, техники, материальной и духовной культуры и т. д.) для своей деятельности. Этому способствует наиболее целесообразное использование национально-русского двуязычия; в) предоставление широких возможностей советским людям для выбора оптимального средства взаимообщения

в любой сфере человеческой деятельности и успешного овладения им. Таким средством служит сбалансированное сочетание знания и практического применения родного и русского языков; г) определение оптимального пути преодоления языковых барьеров в любой сфере жизни. Наиболее успешно в этой функции применяется национально-русское двуязычие.

Языковая жизнь советского общества — составная часть языковой жизни человечества. Поэтому для народов СССР большой интерес представляет и тот факт, что международное значение русского языка как никогда возросло за последние 30—40 лет. Представители всех народов широко применяют его в международном сотрудничестве. Таким образом, русский язык успешно сочетает функции языка межнационального общения и одного из наиболее развитых мировых языков.

Отмечая славное 60-летие СССР, советские люди с чувством гордости могут констатировать, что наша страна достигла огромных успехов в развитии национальных языков, в последовательном осуществлении ленинской национально-языковой политики. Литературные языки народов нашей страны никогда не находились на таком высоком уровне развития, на каком они находятся в настоящее время. Страна Советов и дальше будет обеспечивать свободное развитие национальных языков в соответствии с нуждами и жизненными потребностями их носителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление ЦК КПСС о 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических республик.— Правда, 1982, 21 февр.
2. *Филин Ф. П.* О некоторых философских вопросах языкознания. — В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970, с. 16.
3. *Ленин В. И.* О праве наций на самоопределение.— Полн. собр. соч., т. 25, с. 258.
4. *Морган Л. Г.* Древнее общество. Л., 1934, с. 31, 301.
5. *Егоров А. Г.* Научно-техническая революция и искусство.— Знамя, 1973, № 1.
6. *Дешериев Ю. Д., Корлэтяну Н. Г., Филин Ф. П.* Социолингвистика и проблемы развития общественных функций языков мира.— В кн.: Проблемы языкознания: Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов (Бухарест, 28 /VIII—2/IX 1967). М., 1967.
7. Развитие языков и культур народов СССР в их взаимосвязи и взаимодействии. Уфа. 1976.
8. Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур. М., 1980.
9. Национальный язык и национальная культура. М., 1978.
10. Межнациональные связи и взаимодействие культур народов СССР. Таллин, 1978.
11. *Брежнев Л. И.* Участникам Всесоюзной научно-теоретической конференции «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР».— В кн.: Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР. М., 1981, с. 6.
12. *Алексеев М. П.* Русский язык в мировом культурном обиходе между XI и XX веками.— В кн.: Страноведение и преподавание русского языка как иностранного М., 1971, с. 6.
13. Русский язык в современном мире. М., 1974.
14. Народное хозяйство СССР в 1967 г.: Статистический ежегодник. М., 1968, с. 833.
15. Печать СССР в 1979 году. М., 1980.
16. Ежегодник БСЭ. Вып. 23. М., 1979.
17. *Филин Ф. П.* Несколько слов о языковой норме и культуре речи.— В кн.: Вопросы культуры речи. Вып. VII. М., 1966, с. 20.
18. *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания.— ВЯ, 1964, № 3.
19. *Скворцов Л. И.* Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
20. *Граудина Л. К.* Вопросы нормализации русского языка. М., 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

ПАНФИЛОВ В. З.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЯЗЫКА

I. Проблема социальной природы языка является кардинальной для современного языкознания. В зависимости от того или иного ее решения происходит размежевание различных его направлений; этим в значительной мере определяется характер концепции о языке как предмете языкознания и место, которое отводится языкознанию среди гуманитарных и естественных наук. Обсуждение указанной проблемы ведется в различных аспектах, в системе различных научных понятий. Со времени опубликования «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра вопрос об общественной природе языка активно обсуждается в связи с вопросом о соотношении и разграничении языка и речи, что в теории Ф. де Соссюра имело решающее значение для выделения и определения сущности языка как предмета языкознания. Различия между высказанными с того времени по этой проблеме точками зрения имеют весьма существенный характер. Их можно свести к трем основным: 1) язык и речь противопоставляются как самостоятельные объекты, отличающиеся друг от друга совокупностью существенных признаков и в связи с этим выделяются две самостоятельные научные дисциплины — лингвистика языка и лингвистика речи; 2) утверждается двойственность объекта лингвистики, т. е. что несмотря на различия, существующие между языком и речью, они в совокупности образуют объект лингвистики; 3) утверждается, что разграничивать язык и речь нет никаких оснований [1].

Согласно концепции Ф. де Соссюра, язык и речь представляют собой «две совершенно различные вещи», разграничиваемые по следующим дифференциальным признакам:

1) Язык (langue) есть чисто психическое явление, локализующееся в мозгу каждого индивида [2, с. 53, см. также с. 45, 49, 57, 99 и др.]. Речь же (parole) рассматривается Ф. де Соссюром как психофизическое явление [2, с. 52, 57].

2) Язык представляет собой систему значимостей (ценностей), поскольку качественная определенность языковых единиц в обеих их сторонах есть явление, производное от их внутрисистемных отношений [2, с. 139, 143, 145—146, 149—150, 152—154]. В отличие от языка речь не является системой, поскольку она представляет собой некий «сверхъязыковой остаток» речевой деятельности.

3) Поэтому язык есть форма, а речь — субстанция, так как она (речь.— *П. В.*) включает в себя звуки и значения [2, с. 145, 154].

4) Если язык есть социальное явление, то речь — индивидуальное [2, с. 52].

5) Язык — существенный компонент речевой деятельности; в отличие от этого речь определяется как нечто более или менее случайное и побочное [2, с. 52].

В концепции Ф. де Соссюра язык (langue) и речь (parole) трактовались как компоненты речевой деятельности (langage), т. е. речи в широком смысле этого слова. Язык в этой связи рассматривался им как «только определенная часть — правда, важнейшая часть — речевой деятельности» [2 с. 47], а речь (parole) определялась как тот компонент, который получается в результате исключения языка из речевой деятельности (langage) [2, с. 107, 130].

[1] История] вопроса дается, в частности, в [1]

При разграничении языка, речи и речевой деятельности Ф. де Соссюр исходит из двух методологических принципов:

1) Объект науки должен быть однородным по своему характеру.

2) «В лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект.. » [2, с. 46]. Поскольку же речевая деятельность, взятая в целом, представляет собой объект, разнородный в онтологическом отношении [она включает в себя не только психические (идеальные) явления, но и явления материальные — физические (звуки) и физиологические процессы, связанные с артикуляциями органов речи и восприятием произнесенных говорящим звуков, а кроме того, представляет собой и индивидуальное, и социальное явление], то, по мнению Ф. де Соссюра, она является объектом ряда наук и как таковая не может быть объектом лингвистики [2, с. 46—47]. Следовательно, заключает Ф. де Соссюр, *«надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (norme) для всех прочих проявлений речевой деятельности»* [2, с. 47].

Решение этой проблемы Ф. де Соссюр и видит в том, чтобы рассматривать язык как чисто психическое и социальное явление. Однако такое решение вопроса об объекте языкознания привело Ф. де Соссюра к ряду кардинальных противоречий, что в значительной степени обусловлено ошибочностью декларируемых им исходных методологических принципов. Прежде всего следует отметить, что им не учитывается необходимость разграничения объекта и предмета науки, что в настоящее время выдвигается в качестве одного из основных принципов науковедения. В частности, один и тот же объект может исследоваться различными науками, каждая из которых, однако, имеет свой предмет. Так, например, психические явления исследуются такими науками, как психология, философия и логика. Аналогичным образом, речевая деятельность является объектом таких наук, как физика (акустика), физиология, психология, языкознание и др. Однако каждая из этих наук имеет свой предмет, в качестве которого выступает одна из сторон соответствующего объекта.

Нельзя также принять положение Ф. де Соссюра о том, что не объект определяет точку зрения исследователя, а, наоборот, последняя определяет объект науки (лингвистики). Если разграничивать объект и предмет науки, то выделение последнего на том или ином этапе развития человеческого знания будет определяться прежде всего характером самого объекта и во вторую очередь уровнем развития человеческих знаний в соответствующей области и характером деятельности человека. Так, от последних факторов зависит, какие именно реально существующие стороны объекта выделяются в качестве предмета науки на каждом этапе ее развития. К примеру, предметом физики как науки атом и элементарные частицы стали только со второй половины XIX в., а метагалактики, радиозвезды, «черные дыры» и некоторые другие космические объекты стали предметом астрономии только с середины XX в. «В совр. филос. и логич. лит-ре под предметом нередко понимают *объект*, поскольку он включен в человеч. деятельность. В этом смысле предмет включает те св-ва и характеристики объекта на к-рые направлена деятельность или к-рые используются в деятельности в качестве ее средства. Отсюда характеристика всякой деятельности как предметной, независимо от того, какова форма осваиваемого или используемого в ней предмета» [3].

Столь же необоснованно и выдвигаемое Ф. де Соссюром положение, согласно которому объект науки в онтологическом отношении должен представлять собой однородное явление, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что в последние десятилетия получили развитие такие науки, как биофизика, биохимия и целый ряд других областей человеческого знания, сформировавшихся на стыке ранее возникших наук.

Ф. де Соссюр пытался выделить язык как объект лингвистики, который должен рассматриваться исследователем в себе и для себя и должен быть отграничен от объектов других наук. Эта попытка, однако, не увенчалась и не могла увенчаться успехом. Язык определяется им как чисто психическое явление. И здесь Ф. де Соссюр следует за такими

своими предшественниками, как Г. Штейнталь [2]. Очерчивая область исследования синхронической лингвистики, он пишет: «*Синхроническая лингвистика*... должна заниматься логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием» [2, с. 132]. Но если это так, то чем по своей природе язык как предмет лингвистики отличается от психических явлений, изучаемых психологией, или от логического строя мышления, изучаемого логикой?

Несостоятельность трактовки языка как чисто психического явления приводит Ф. де Соссюра к явным противоречиям. Так, очевидно, что языковой знак, будучи чисто психическим явлением, не может выполнять знаковой функции, ибо для слушающего в этом качестве может выступать только какой-либо чувственно воспринимаемый материальный объект. Не приходится удивляться поэтому, что, характеризуя свойства означающего как компонента знака, Ф. де Соссюр пишет: «Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) *оно обладает протяженностью* и б) *эта протяженность имеет одно измерение* — это линия» [2, с. 103]. Совершенно очевидно, что если бы означающее знака было, как это ранее утверждал Соссюр, психическим явлением, оно не могло бы восприниматься на слух — так может восприниматься только физический звук, т. е. материальное явление; не может оно обладать и какими-либо свойствами времени, ибо время есть форма существования материи. Подобного рода противоречивые высказывания у Соссюра относительно онтологического статуса языка не являются случайными. Так, в его работе мы находим специальный параграф, озаглавленный «Языковая значимость с материальной стороны» [2, с. 150].

Уже сам Ф. де Соссюр не проводит достаточно последовательно предложенного им разграничения речевой деятельности, языка и речи. Понятие речи нередко по существу отождествляется им с речевой деятельностью. Так, он пишет, что «...речь есть индивидуальный акт воли и разума; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации» [2, с. 52]. При таком определении речь уже не может рассматриваться как «внеязыковой остаток» речевой деятельности — язык (код языка), как мы видим, включается здесь в речь, т. е. понятие речи совпадает с понятием речевой деятельности. В последующей традиции понятие речевой деятельности было вообще исключено из рассмотрения и вопрос об определении языка как предмета языкознания решался лишь с учетом разграничения (или неразграничения) языка и речи, причем под последней имелась в виду соссюровская речевая деятельность. Подобное элиминирование понятия речи как некоего «сверхъязыкового остатка» речевой деятельности (речи в широком смысле этого слова) не было случайным: «сверхъязыковой остаток» речевой деятельности, т. е. речи в широком смысле, не имеет самостоятельного существования, в то время как речевая деятельность (речь в широком смысле) существует актуально как особое явление, а язык, осуществляясь в ней, кроме того, хотя бы и потенциально (виртуально), существует в мозгах его носителей [3]. Видимо, этим объясняется то, что в последующий период вопрос о выделении языка как предмета языкознания обсуждался в связи с решением проблемы соотношения

[2] Определение языка как психического (идеального) явления имело достаточно широкое распространение в современной ему лингвистике и в последующей традиции. По Бодуэну де Куртенэ, «язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивида или особей, составляющих данное языковое общество» [4, с. 71]. Согласно Г. Паулю, языковой организм есть «нечто неосознанно покоящееся в душе», совокупность «представлений, хранящихся в сфере бессознательного» [5, с. 51].

[3] О формах существования материальной и идеальной сторон языка в процессе внешне выраженной и внутренней речи, а также в мозгу носителя того или иного языка вне такого рода актов речи см. [6, с. 89—98].

языка и речи в широком смысле этого слова, а не языка — речи — речевой деятельности. При этом предметом дискуссии в основном оставался вопрос о тех признаках языка, которые, по мнению Ф. де Соссюра, отграничивают язык и речь в его понимании.

II. То или иное решение проблемы социальности языка в наибольшей степени сказывается на понимании его сущности как предмета языкознания и является определяющим для размежевания и характеристики различных лингвистических направлений, для определения характера языкознания как науки, а именно, является ли оно гуманитарной, естественной или естественно-гуманитарной наукой. Совершенно очевидно, что поскольку язык является продуктом человеческого общества и его носителями являются люди, понятие социальности языка в первую очередь зависит от того, как трактуется понятие социальности человека и человеческого общества, а в этом вопросе между историческим материализмом и различными социальными школами в зарубежном языкознании нередко существуют принципиальные различия. В частности, это следует сказать и о Ф. де Соссюре, положение которого о социальности языка обычно квалифицируется как тот существенный вклад, который он внес в науку о языке.

Рассмотрим прежде всего вопрос о том, насколько правомерно рассматривать речь в ее противопоставлении языку как только индивидуальное явление, будь то речь в широком или узком понимании этого слова. Речь (в широком понимании) действительно можно рассматривать как индивидуальный процесс в той мере, в какой ее физическим и психическим субъектом является отдельный человек. Но вместе с тем необходимо при этом иметь в виду, что ее психофизиологический механизм есть результат развития человека и в антропогенезе, и в онтогенезе как социального существа (см. ниже с. 33—38). Далее существенно и то, что речь осуществляется посредством языка, являющегося общим достоянием всего говорящего на нем коллектива, и кроме того, подчиняется определенным социальным нормам. Конечно, речи каждого носителя данного языка свойственны те или иные индивидуальные черты (например, индивидуальные особенности в произношении вроде картавости, произношение звонкого заднеязычного щелевого γ в некоторых словах вместо звонкого заднеязычного смычного *г* и т. п. у отдельных носителей русского языка). Однако сущность речи не определяется подобными индивидуальными особенностями.

Если же иметь в виду речь как «сверхъязыковой остаток», то она также не может рассматриваться как только индивидуальное явление. Достаточно указать, что конкретное содержание речевых произведений типа предложения или свободного словосочетания, которое является принадлежностью речи, вместе с тем продолжает оставаться социальным явлением, поскольку оно представляет собой продукт социального по своей природе человеческого мышления. А. И. Смирницкий отмечал также, что «...какая-либо звуковая черта данной речи, связанная с общественно выработанной системой стихосложения, представляет собой уже элемент из сферы общественного в речи» [11, с. 15].

Что касается социальной природы языка, то она состоит не только в том, что он является достоянием всего говорящего на нем коллектива и, функционируя как важнейшее средство общения его членов, обслуживает их общественные потребности, но и в том, что он возникает как продукт и вместе с тем условие и необходимый компонент социального развития человека в процессе его трудовой деятельности.

Как писал К. Маркс, «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [7, с. 262]. К. Маркс отмечал также, что, изменяя в процессе труда внешнюю природу, человек в то же время изменяет свою собственную природу» [8, с. 188]. Иначе говоря, сама природа человека, и в том числе его языка, есть продукт истории, «...ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства,... они — только *проявления* действительной жизни» [9, с. 449].

Социальная природа языка с этой точки зрения проявляется, следовательно, не только в том, что он как средство общения является достоянием всех его носителей, но и в том, что благодаря языку становится возможным и само человеческое мышление и сознание, что они только благодаря ему становятся действительными явлениями. Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, «... язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание...» [9, с. 29]. Таким образом, язык наряду с физиологическими процессами, происходящими в головном мозгу, создает действительность, реальность человеческого мышления и сознания. Язык (материальный языковой знак) обеспечивает также социальность человеческого познания и сознания — благодаря ему у носителей одного и того же языка вырабатываются приблизительно одинаковые образы объектов действительности [10, с. 16].

Коренным образом отличается от этого трактовка социальности языка у Ф. де Соссюра и его последователей. Социальность языка усматривается им лишь в том, что он является достоянием всего говорящего на нем коллектива и принудительно усваивается каждым его членом (см. об этом выше). В этом вопросе Ф. де Соссюр, по-видимому, испытал влияние Дюркгейма, утверждавшего, что социальные явление имеют принудительный характер. Если учесть, что, согласно Ф. де Соссюру, язык есть чисто психическое явление, то в принципе исключается, что сам по себе он может выполнять какую-либо социальную функцию. «...по де-Соссюру получается, что язык, хотя он и представляет собой „социальный продукт", т. е. принадлежит к числу общественных явлений, все же не содержит в себе ничего, что обеспечивало бы ему действительное выполнение его общественной функции и даже самое его существование в качестве общественного явления» [11, с. 10], так как он не включает в себя материальную сторону, которая только и налична в отрезке речевой цепи при общении между говорящим и слушающим.

Некоторые высказывания Ф. де Соссюра, дающие известные основания говорить о том, что он как будто не отрицал воздействия социальных сил на развитие языка [2, с. 47, 55, 107—109], могут рассматриваться лишь как отступления от доминирующего принципа всей его концепции языка, согласно которой язык есть некоторое автономное, имманентное явление, которое должно рассматриваться в себе и для себя, что в свою очередь является производным от антисубстанционалистского, релятивистского понимания природы языка. Выдвигая, в противоположность этой точке зрения, положение о том, что язык есть продукт социального развития человека и что решающую роль в его развитии играют разного рода общественные факторы, в том числе мышление и познание как социальные явления, необходимо вместе с тем учитывать, что язык как весьма сложная, иерархически организованная система представляет собой относительно самостоятельное явление [12 13], обладающее некоторыми относительно самостоятельными внутренними закономерностями своей организации, функционирования и развития. Необходимо при этом также иметь в виду и относительный характер самого противопоставления так называемых экстралингвистических (общества и мышления) и внутрилингвистических факторов в становлении, развитии и функционировании языка. Внутренние закономерности становления и развития языка не могут не быть социализованными, они не могут не иметь социального, общественного характера.

Р. А. Будагов справедливо писал в этой связи: «Я глубоко убежден, что сведение всего социального в лингвистике лишь к внешним факторам развития и функционирования языка ошибочно и фактически, и методологически... Социальная природа языка обусловлена прежде всего самим языком, его функционированием в обществе и его историческим развитием» [14, с. 163—164].

В процессе становления и развития языка происходит своего рода превращение внешних по отношению к языку факторов во внутренние факторы его организации, функционирования и развития. Язык возникает

и развивается как средство осуществления специфически человеческого, социального по своей природе, абстрактного, обобщенного мышления, рациональной ступени человеческого познания и как средство, обеспечивающее становление человека как социального существа. Поэтому и внутренние, и внешние факторы становления, развития и функционирования в равной мере являются социальными явлениями, относятся к социальной сфере и дифференцируются друг от друга только как различные виды социальных явлений. Иначе говоря, в соотношении экстралингвистических (внешних) факторов и внутрилингвистических (внутренних) факторов постоянно осуществляется взаимодействие и взаимопереход: не только общество и мышление оказывают воздействие на становление, развитие и функционирование языка, но имеют место и обратные процессы — некогда возникший язык в свою очередь выступает как активный фактор в отношении общественных процессов человеческого мышления и познания. Однако в этом диалектическом взаимодействии общественных процессов, человеческого мышления и познания, с одной стороны, и языка, с другой стороны, определяющая роль принадлежит экстралингвистическим факторам, а не языку, как это были склонны считать В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр и как это полагают представители неогумбольдтианства в его американской и европейской разновидностях, а также лингвистической философии [см. подробнее: 6, с. 16—44; 15, с. 7—62; 16].

Социальная природа языка полностью отрицается в тех направлениях зарубежного языкознания, в которых он рассматривается как продукт биологического развития и утверждается врожденный характер неких универсальных языковых структур. Наиболее широкое философское истолкование такого рода взгляды получили в теории Хомского и его последователей.

Н. Хомский, выделяя «лингвистическую компетенцию» (linguistic competence) и «исполнение» (linguistic performance), что в известной степени коррелирует с разграничением языка и речи, принятым в других направлениях языкознания, полагает, что языковая компетенция усваивается ребенком в детстве только потому, что в его мозгу существуют некие врожденные языковые структуры (универсальная грамматика), которые являются, следовательно, общими для носителей любых языков. Поэтому, как полагает Хомский, «лингвистическую теорию можно понимать как теорию биологического дара, лежащую в основе усвоения и использования языка; иначе говоря, как теорию универсальной грамматики (УГ), согласно которой назначением УГ является выражение биологически необходимых свойств» [17, с. 2]. По Хомскому, врожденность, биологическая унаследованность универсальной грамматики есть лишь частный случай врожденности мыслительных структур, образующих основу познавательной деятельности человеческого мышления [18, с. 84, 101].

Очевидно, что вопрос, существует ли некая универсальная врожденная грамматика, т. е. универсальные языковые структуры [4], передающиеся по наследству, как и биологические свойства организма, является основной частью более широкой проблемы: представляет ли собой психика человека продукт социального развития, а человек как таковой в его специфических отличиях от животных — социальное существо, подчиняющееся особым законам более высокого порядка, чем биологические, или это следует рассматривать лишь как высший этап развития животных предков человека, осуществляющийся по тем же самым биологическим законам.

Исходным методологическим принципом при решении этого комплекса взаимосвязанных вопросов может быть только положение об иерархическом соотношении различных форм движения материи и о несводимости высших ее форм к низшим. С появлением человека, человеческого общества возникает новая, высшая форма движения материи — социальная. Мышление человека и язык как средство его осуществления и средство общения людей есть своего рода проявления этой высшей формы движе-

[4] Из последних работ, в которых дается серьезный критический анализ теории Н. Хомского, следует назвать [19].

ния материи. Решающую роль в переходе от биологической формы движения материи к ее социальной форме сыграла общественно-трудовая деятельность, так что, как писал Ф. Энгельс, «мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека» [20, с. 486]. Использование в качестве орудий тех или иных объектов действительности имеет место не только у человекообразных обезьян, но и у других млекопитающих. Такого рода использование орудий в животном мире происходит на уровне первой сигнальной системы, является инстинктивным. Специфически человеческий труд начинается с изготовления орудий: «Ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого каменного ножа» [20, с. 487]. К. Маркс отмечал также, что «наряду с обработанным камнем, деревом, костями и раковинами главную роль, как средство труда, на первых ступенях человеческой истории, играют прирученные, следовательно уже измененные посредством труда, выращенные человеком животные» [8, с. 190]. В качестве факторов антропогенеза могли выступать только такие формы взаимодействия человека с предметной действительностью и с другими индивидами того же рода, которые дотоле не имели места или носили случайный эпизодический характер в животном мире и у его непосредственных обезьяноподобных предков. Те или иные формы коммуникации в виде сигнальной деятельности есть и в животном мире. Обезьяноподобные предки человека были наиболее стадными из всех животных [20, с. 488]. Однако было бы неверно рассматривать формы и средства общения между возникающими людьми лишь как результат простого количественного роста средств и способов сигнальной деятельности их обезьяноподобных предков. При переходе от обезьяны к человеку в этой сфере также происходит качественный скачок. Сигнальная деятельность животных, и в том числе человекообразных обезьян, есть совокупность их непосредственных реакций на те или иные воздействия внешней среды или представляет собой проявление их внутреннего состояния. Она происходит на уровне первой сигнальной системы, и реакции других животных на воспринимаемые сигналы также имеют безусловно- или условнорефлекторный характер. Об этом, в частности, свидетельствуют эксперименты, когда животные при воспроизведении магнитофонной записи тех или иных сигналов реагируют на них так, как если бы имела место соответствующая ситуация (опасности, угрозы и т. п.), каковой на самом деле нет. Издавая те или иные сигналы (опасности, угрозы и т. п.), животные не имеют целью передать соответствующую информацию. Таким образом, если и можно говорить о наличии каких-то форм коммуникации в мире животных, то следует иметь в виду, что они принципиально, качественно отличны от общения людей. Существует также принципиальное различие и в характере самих средств коммуникации у животных и людей. Каждый сигнал животных передает, так сказать, законченное «сообщение», и используемые ими сигналы не находятся в каком-либо иерархическом отношении друг к другу [5]. Но основным принципом организации естественного языка является как раз иерархическое соотношение различных компонентов его системы (фонема, морфема, слово, модели словосочетания и предложения), так что законченное сообщение может быть выражено только путем органического соединения языковых единиц низших уровней языка в языковые единицы, служащие для выражения законченных сообщений (предложения). Поэтому в отличие от животных, имеющих весьма ограниченный набор сигналов, каждый из которых передает то или иное «сообщение», человек, хотя его язык тоже состоит из конечного количества языковых единиц, может продуцировать в принципе бесконечное число законченных сообщений. По этой причине не увенчались и не могли увенчаться успехом по-

[5] Правда, в этом отношении исследователями высказываются противоречивые мнения о «языке» дельфинов. Некоторые из них полагают, что дельфины способны комбинировать простые сигналы в сложные последовательности типа «слов» и «фраз».

пытки решить проблему происхождения естественного человеческого языка в рамках так называемого информационного подхода, поскольку при этом не учитываются качественные различия в характере информации, средствах ее передачи и в породивших ее потребностях, с одной стороны, в животном мире, а с другой стороны, в человеческом обществе.

Столь же сомнительными по своим результатам оказались попытки обучить шимпанзе и горилл человеческому языку в той или иной превращенной его форме — в кинетической (жесты и мимика) или даже с помощью ЭВМ. После многочисленных рекламных заявлений на этот счет ряд исследователей, проводивших такого рода опыты, в конечном счете сейчас приходит к выводу, что в основном поведение «говорящих» обезьян обусловлено обычно дрессировкой. К тому же даже если бы в этих экспериментах и были получены какие-либо хотя бы минимальные положительные результаты, они не могли бы поставить под сомнение положение о том, что язык и специфически человеческое мышление являются социальными продуктами — ведь «обучающиеся» языку обезьяны в той или иной степени вовлекаются экспериментаторами в социальные процессы. По существу положения о том, что человек есть продукт и субъект социального развития, а также что таковым является и специфически человеческий способ познания действительности, игнорируются и теми биологами, которые приписывают обезьянам способность к образованию понятий. Утверждается, например, что обезьяна образует понятие о палке как об орудии, с помощью которого она может достать тот или иной плод,— ведь она в соответствующей ситуации ломает ветку дерева и с ее помощью достает приманку. Однако при этом не учитывается, что, осуществив эту операцию, обезьяна не сохраняет это орудие, а выбрасывает его, и, попадая через какое-то время в аналогичную ситуацию, заново изготовляет аналогичное орудие. А это говорит лишь о том, что в психике обезьяны не образуется понятия о палке как орудии, с помощью которого можно производить те или иные полезные для нее действия.

Итак, решающую роль в процессах антропогенеза, в формировании человека как социального по своей природе существа и таких его социальных свойств, как специфически человеческое абстрактное, обобщенное мышление и язык как средство его осуществления и существования и как орудие общения, сыграла общественно-трудовая деятельность. Вместе с тем происходил и процесс социализации чисто биологических свойств его животных предков.

«В настоящее время мы можем исследовать биологическую природу событий, которые происходили под влиянием труда. Осуществление их обязано процессам, идущим на генетическом уровне, но в новых условиях проявления жизни, под влиянием факторов социального наследования. Надбиологическая эволюция человека протекает только на базе социального наследования в отличие от биологической эволюции живых существ, идущей на основе генетической наследственности. Носителями последней являются гены. Носителем же социального наследования служит материальная и духовная культура, общественное производство, вся сформировавшаяся на базе его совокупность общественных отношений, все формы общественного сознания» [21, с. 67]. Акад. Н. П. Дубинин отмечает также, что «все органическое в человеке, в его анатомо-физиологической системе преобразовалось в единстве с ростом его материальной и духовной культуры» [21, с. 66].

Существенно, таким образом, что в ходе эволюции человека в процессе его общественно-трудовой деятельности не просто возникали какие-то его новые особенности социального характера, но что биологическая природа его предков также претерпевала процесс социализации: «... социальное не просто сопровождало историю человека в виде культурной традиции, а формировало человеческую сущность» [21, с. 64]. Еще Ф. Энгельс в своей статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» отмечал, что «сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг...» [20, с. 490].

В аспекте рассматриваемой здесь проблемы о возможности врожденных языковых структур существенным для характеристики соотношения биологического и социального в человеке является тот факт, что новый уровень развития мозга как материального субстрата человеческого мышления и естественного языка, возникший под влиянием социальных факторов, не получает закрепления в генетическом фонде человека. Тем более не имеет какой-либо генетической обусловленности духовная сущность человека, и в том числе постулируемые Н. Хомским некие универсальные языковые структуры. Конечно, чтобы возник язык, должны были быть созданы определенные биологические предпосылки в том, что касается уровня развития мозга и органов речи. «И человеческое сознание как функция мозга в условиях трудовой деятельности могло возникнуть только при определенном изменении биологии главного органа центральной нервной системы, с появлением у предка человека в организации мозга новых качеств, не имевшихся у животных» [21, с. 66—67]. Эти биологические предпосылки создаются и в антропогенезе, и в онтогенезе под воздействием социальной среды. Но нет никаких оснований считать, что в антропогенезе вместе с тем были наследственно, генетически закреплены некие универсальные языковые структуры, как и какие-либо иные специфически человеческие психические структуры. Языковые структуры, как и вообще результаты социального развития человека, наследуются лишь социально, посредством возникшего в человеческом обществе социального механизма наследования. Так, акад. Н. П. Дубинин пишет: «Социальная сущность человека представлена его надбиологической сферой. Для передачи от поколения к поколению содержания этой сферы человеческое общество выработало особый, свойственный только ему способ наследования опыта. После рождения человек растет и развивается в социальной среде. Под влиянием факторов духовной и материальной культуры данного периода происходит становление его социальной сущности. В этом состоит суть принципа социальной наследственности. Социальная сущность человека является содержанием надбиологической сферы, она передается из поколения в поколение по иным каналам, нежели генетическая информация, записанная в молекулах ДНК. С появлением человека впервые в истории жизни создалась качественно новая ситуация, когда самое существенное, то, что определяет прогрессивное историческое развитие человечества, передается помимо генетической программы» [22, с. 47]. Результаты социального развития человека не передаются по наследству биологическим способом, т. е. не закрепляются в генах, так как социальный способ наследования, приобретенный в результате социального развития, является более прогрессивным, гибким, менее консервативным способом, чем биологический способ наследования, и в большей степени может обеспечить прогресс человека, его реагирование на изменение природной и социальной среды. Как пишет акад. Н. П. Дубинин, «социальное наследование — это фактор, концентрирующий в сознании итоги развития производительных сил, духовной культуры и этим входящий в механизм процесса общественно-исторического развития человечества. Оно выступает важнейшей категорией в понимании качественной специфики существования и прогресса человечества» [21, с. 65].

Итак, утверждение Н. Хомского и его последователей о том, что существуют некие универсальные языковые структуры, на основе которых у ребенка благодаря его общению с окружающими его взрослыми носителями того или иного языка затем формируется соответствующий конкретный язык, зиждется на принципе биологической сущности человека, и, в конечном счете, из этого логически следует то же самое положение об имманентности языка, которое на иных основаниях выдвигалось Соссюром, Ельмслевом и др. На самом же деле, возникновение языка в процессе антропогенеза представляет собой лишь один из компонентов того качественного скачка, который имел место при переходе от обезьяноподобных предков человека к человеку, т. е. при возникновении новой, более высокой, чем биологическая, с о ц и а л ь н о й ф о р м ы д в и ж е н и я м а т е р и и. Этот переход совершался в процессе общественно-трудовой

деятельности, но абстрактное обобщенное мышление и язык как средство его осуществления и существования (первоначально во внешне выраженной, а затем и в позднее возникшей внутренней речи) представляют собой ее необходимое условие [6]. Иначе говоря, общественно-трудовая деятельность, абстрактное и обобщенное мышление и язык представляют собой такое диалектическое единство, в котором, хотя определяющая роль и принадлежит первому ее компоненту, ни один из них не может рассматриваться как предшествующий по времени своего возникновения другим его компонентам.

Б. Ф. Поршневым выдвинута гипотеза о том, что Homo sapiens возник только 30—40 тыс. лет тому назад, т. е. начиная с кроманьонца [23]. Между кроманьонцем и человекообразными обезьянами, по его мнению, в течение нескольких миллионов лет (как промежуточное звено) существовали так называемые троглодитиды — прямоходящие археоантропы и палеоантропы, к которым он относит австралопитеков, питекантропов, зинджантропов и т. д., включая неандертальцев. Согласно его гипотезе, все археоантропы и палеоантропы, хотя уже и изготовляли орудия, не обладали абстрактным обобщенным мышлением и языком, а их трудовая деятельность носила инстинктивный характер, как и у животных. Таким образом, это был еще чисто биологический этап развития животных предков человека. По мнению Б. Ф. Поршнева, если исключить такое промежуточное звено между животными предками человека и кроманьонцем, то невозможно объяснить тот скачок, который произошел при возникновении Homo sapiens.

Гипотеза Б. Ф. Поршнева, в обоснование которой он сформулировал ряд весьма интересных положений, в особенности относительно путей, механизма формирования второй сигнальной системы, в основных своих положениях оказывается, однако, весьма уязвимой. Во-первых, скачок при переходе от постулируемых Б. Ф. Поршневым археоантропов и палеоантропов к кроманьонцам требует своего объяснения не в меньшей степени, чем скачок при переходе от обезьяноподобных предков человека, например, к синантропу, который в традиционных теориях антропогенеза рассматривается уже как примитивный человек. Ведь согласно Б. Ф. Поршневу, даже у неандертальцев (как и у животных) трудовая деятельность имела инстинктивный характер, они не обладали специфически человеческим мышлением и языком. Единственно, чем, по Б. Ф. Поршневу, они отличались от животных,— это прямохождение. Во-вторых, поскольку «инстинктивная трудовая деятельность» уже имела достаточно развитые формы и выполнялась с использованием достаточно разнообразных специально изготовленных орудий у таких палеоантропов, как неандертальцы, то фактически, по теории Б. Ф. Поршнева, общественно-трудовая деятельность в процессе антропогенеза не могла иметь сколько-нибудь

---

[6] Мы не рассматриваем здесь вопроса о том, был ли возникающий в процессе антропогенеза язык звуковым или кинетическим, этот вопрос требует специального обсуждения. Здесь можно высказать лишь одно соображение. Основная проблема, требующая разрешения, когда ставится вопрос о происхождении языка, состоит в том, как происходит соединение материального знака и значения. В плане решения этой проблемы гипотеза первоначальности кинетического языка имеет несомненные преимущества перед гипотезой, согласно которой возникающий язык с самого начала был звуковым. Те или иные действия с помощью руки в процессе совместной трудовой деятельности одного его участника вызывали соответствующее трудовое действие другого ее участника как последующее звено совместного трудового процесса. В дальнейшем то или иное движение руки одного члена коллектива могло выполняться им только для того, чтобы другой член коллектива совершил соответствующий трудовой акт, т. е. могло приобрести уже чисто знаковый характер, так как оно уже не было звеном самого трудового процесса. Наряду с этим, конечно, на этих этапах антропогенеза продолжали использоваться и звуковые сигналы, унаследованные от животных предков. Очевидно, они функционировали, в частности, во время коллективной охоты первобытного стада «троглодитидов». Однако такого рода сигнальная деятельность, осуществляемая в этой и некоторых других жизненных сферах этого стада, не выходила за рамки первой сигнальной системы, как и у животных предков. И лишь, по-видимому, в дальнейшем начали возникать элементы второй сигнальной системы с использованием звуковых знаков как субститутов уже ранее возникших кинетических знаков.

определяющего значения. Таким определяющим фактором в становлении Homo sapiens, согласно Б. Ф. Поршневу, было возникновение языка.

Язык как средство осуществления абстрактного, обобщенного мышления и средство общения, несомненно, сыграл большую роль в становлении и формировании человека как социального существа. В частности, язык, сам не получая закрепления в генетическом фонде человека, является, наряду с материальной и духовной культурой, общественным производством и совокупностью общественных отношений, одним из важнейших носителей социального наследования. Иначе говоря, благодаря языку, а также названным выше социальным факторам, обеспечивается передача от поколения к поколению тех свойств человека как социального существа, которые приобретаются им в процессе общественно-трудовой деятельности, осуществляемой в виде взаимодействия с объективной действительностью и с другими членами той социальной общности, к которой он принадлежит. Однако в той причинно-следственной цепи, которую образуют общественно-трудовая деятельность, абстрактное, обобщенное мышление и язык, определяющим звеном является первая, что не только не исключает, а, наоборот, предполагает, что это звено в свою очередь испытывает воздействие и второго, и, в известной степени, третьего звена.

III. Природа, сущность языка, как и любого другого объекта, проявляется в функциях, выполняемых им в той среде, в которой он существует. Под функцией какого-либо объекта имеется в виду внешнее проявление его свойств, способ его использования. Поэтому функция объекта есть лишь манифестация его сущности, так что сущность объекта не может быть исчерпана описанием его функций. Исследование языковых функций также может рассматриваться лишь как необходимый этап на пути постижения сущности языка как предмета языкознания.

Проблема языковых функций, ряд аспектов которой широко дискутируется в языкознании и некоторых смежных дисциплинах (психологии, философии и др.), занимает в современном языкознании центральное место. Прежде всего подвергается сомнению само положение о том, что язык обладает какими-либо функциями. По мнению ряда лингвистов, правомерно говорить о функциях речи (в широком смысле слова), а не языка. Так, Делл Х. Хаймс, выделяя семь функций — экспрессивную, или эмотивную, директивную (или иначе, конативную, прагматическую, риторическую, побудительную), поэтическую, контактную, метаязыковую, референционную, контекстуальную (или ситуационную) [24, с. 67], полагает, что «...все функции, включая и референционную, начинают действовать только на уровне высказывания; вне высказывания нет никаких функций» [24, с. 69].

Э. Бенвенист утверждает, что такие свойства языка, как «...нематериальная природа, символический способ функционирования, членораздельный характер, наличие *содержания*», исключают возможность того, чтобы приписывать языку какие-либо функции. «Безусловно,— пишет он,— в повседневной практике возвратно-поступательное движение речи вызывает мысль об обмене, и потому та „вещь", которой, как нам кажется, мы обмениваемся, представляется нам выполняющей орудийную или посредническую функцию, которую мы склонны гипостазировать в „объект". Но — подчеркнем еще раз — эта роль принадлежит речи» [25, с. 293]. Аналогичную точку зрения о том, что не язык, а речь характеризуется функциями, высказывали В. А. Звегинцев [26, с. 42], А. Неринг [27, с. 168], Ж. Вернк [28, с. 295—296; 29] и некоторые другие ученые.

Принять эту точку зрения, однако, не представляется возможным по следующим соображениям. Очевидно, что необходимо разграничивать орудие и его функционирование и то явление, которое конституируется благодаря использованию какого-либо орудия. В любом акте речи используется лишь ограниченное количество элементов языковой системы. В результате такого использования образуется речевое произведение, содержанием которого является та или иная мысль. Говорящий, используя

те или иные языковые единицы, выражает эту мысль, а слушающий, воспринимая материальную сторону речевого произведения, воспроизводит ее с той или иной степенью адекватности. Если иметь в виду внешне выраженную речь, то материальная сторона речевого произведения и выраженная им мысль, таким образом, представляют собой явление, но не орудие общения. Орудием общения являются используемые для построения этого речевого произведения языковые единицы как элементы языковой системы, и, следовательно, можно говорить лишь об их функции, но не о функциях речевого произведения в целом. «Конкретные предложения,— писал А. И. Смирницкий,— как правило, выступают не как средство общения, а как самое я в л е н и е общения, т. е. как такое явление, в котором о б ъ е д и н я ю т с я с р е д с т в о общения (язык в той или иной части его состава и строя) и п р и м е н е н и е этого средства в конкретных условиях и с определенными целями, для формулирования и выражения реально возникающей мысли» [11, с. 18].

Едва ли можно принять во внимание и ту аргументацию, которая приводится Бенвенистом для обоснования положения о том, что язык обладает такими качествами, которые исключают наличие у него каких-либо функций. По-видимому, вообще не может быть каких-либо социальных объектов, не имеющих того или иного функционального назначения. Что касается языка, то если бы он действительно не имел материальной стороны, то это исключало бы возможность использования его как средства общения. Однако язык, несомненно, обладает материальной стороной [6, с. 89—98]. Не могут лишить язык его функционального назначения и такие его свойства, как знаковый характер материальной (а не идеальной, как у Э. Бенвениста) стороны двусторонних языковых единиц, его членораздельный характер и наличие содержания.

Высказана и такая точка зрения, что речи свойственны лишь второстепенные функции, а основными функциями обладает только язык. Так, вслед за Ф. Кайнцем, К. Аммером, выделявшими первичные (обязательные) и вторичные (факультативные) функции языка, А. А. Леонтьев, сохраняя это различие, предлагает считать факультативные (вторичные) функции не языковыми, а речевыми [30, с. 101], что, по его мнению, более у д о б н о. Согласно А. А. Леонтьеву, «дать их (речевых функций.— *П. В.*) полный перечень затруднительно, так как они в наибольшей степени зависят от того конкретного общества, в котором развертывается речевая деятельность» [30, с. 106]. Что касается первобытных обществ Африки, Америки, Австралии и Океании, то А. А. Леонтьев выделяет у них магическую функцию речи; им отмечается также номинативная функция, связанная с употреблением речи в целях наименования каких-то конкретных объектов, географических пунктов, предприятий, магазинов, промышленных изделий [30, с. 1968, 106], диакритическая, экспрессивная, эстетическая и поэтическая функции речи [30, с. 106—107]. К точке зрения А. А. Леонтьева присоединяется также В. А. Аврорин [31, с. 35]. Аргументация в пользу выделения особых речевых функций сводится к тому, что за соответствующими речевыми произведениями закреплены особые языковые элементы. Но если дело только в этом, то логично было бы говорить об особых функциях соответствующих языковых элементов, а не тех конкретных речевых произведений, в образовании которых они участвуют. Кроме того, если при выделении речевых функций исходить из специфики конкретного содержания каждого из речевых произведений, то ввиду того, что количество последних в принципе не ограничено и многие из них отличаются друг от друга теми или иными специфическими чертами, то и набор речевых функций можно умножать до бесконечности. Видимо, это и имел в виду Э. Сепир, когда писал: «Трудно с точностью установить функции языка, так как он настолько глубоко коренится во всем человеческом поведении, что остается очень немногое в функциональной стороне нашей сознательной деятельности, где язык не принимал бы участия» [цит. по кн.: 32, с. 246].

Большинство лингвистов поэтому выделяет только языковые, но не речевые функции. Однако и ими высказываются различные мнения отно-

сительно количества языковых функций, их соотношения в генетическом плане, а также о том, какая из функций, если признается, что их две или более, является основной [см. 33, 34 и др.].

Наиболее интересная попытка разобраться во всем этом сложном комплексе вопросов в последнее время была предпринята Р. В. Пазухиным [35]. По его мнению, «...говоря о функциях языка, мы должны последовательно разграничивать их три уровня: конститутивный (функция или функции, определяющие природу языка в целости), субуровень (функции отдельных составных элементов языка) и эпиуровень (употребление языка в конкретных ситуациях)» [35, с. 43].

При указанном подходе такие языковые функции, как магическая, метаязыковая (описание языка средствами языка), дейктическая, фатическая (функция установления контакта), конативная (или апеллятивная), эмотивная и целый ряд других функций [30; 31; 36 и др.], выделяемых рядом лингвистов, должны быть исключены из их числа, так как средством их осуществления является не язык в целом, но лишь ограниченная совокупность языковых средств. Однако на этом основании едва ли можно, например, исключить из числа языковых функций выделенную Р. Якобсоном поэтическую функцию, поскольку в этой функции используется язык в целом, хотя и в целях образования речевых произведений достаточно специфического характера. Скорее нет оснований рассматривать поэтическую функцию как особую языковую функцию потому, что она представляет собой лишь особую разновидность коммуникативной функции языка.

Всеми или почти всеми лингвистами в качестве языковой функции признается коммуникативная, ибо язык есть важнейшее средство общения. Суть любого коммуникативного акта состоит в том, что говорящий, создавая то или иное речевое произведение посредством языковых единиц, имеет целью возбудить у адресата немедленно или через какой-то промежуток времени ту мысль, которая выражалась у него, когда он создавал это речевое произведение. Несомненно, что коммуникативная функция является конституирующей для языка. В ней наиболее очевидным образом проявляется социальная природа языка, и она является необходимым условием формирования социальной сущности человека, возникновения, существования самого человеческого общества как социального организма, как высшей социальной формы движения материи.

Что касается экспрессивной функции языка, т. е. функции языка как средства осуществления и существования абстрактного мышления [7], то далеко не все лингвисты включают ее в число основных (конституирующих) функций языка. Против признания за экспрессивной функцией такого статуса, по мнению некоторых авторов, говорит то обстоятельство, что язык создавался в человеческом обществе якобы только как средство общения, а не как средство выражения мысли. Подобная постановка вопроса не кажется сколько-нибудь убедительной: ведь и у адресанта, и у адресата обязательным компонентом речевого произведения является мысль. Общение ради общения (установления контакта между адресантом и адресатом) имеет место лишь в тех случаях, когда осуществляется так называемая фатическая функция языка, но даже и этот вид общения включает в себя как компонент осознание намерения, желания установить контакт между адресантом и адресатом.

«На „духе" с самого начала лежит проклятие — быть „отягощенным" материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и,

[7] Мы сохраняем этот традиционный термин, хотя он нередко и употребляется в другом значении, когда имеется в виду выражение эмоциональной, экспрессивной стороны мысли. Этот термин употребляется в том же смысле, что и в настоящей работе, многими лингвистами, как, например, Э. Бюссансом [37]. Другие лингвисты именуют эту функцию мыслительной, когнитивной, познавательной, ментальной, эвристической и т. д.

подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [9, с. 29]. Иначе говоря, К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивают здесь, что язык с самого начала возник и существовал и как средство осуществления специфически человеческого мышления, и как средство коммуникации [38]. Что касается генезиса внутренней и внешней речи, то можно предполагать, что первоначально любой акт абстрактного, обобщенного мышления выражался посредством внешне выраженной речи независимо от того, имелся ли адресат этого акта речи. По-видимому, лишь в дальнейшем акты речи, не имеющие адресата, были интериоризованы, и с этого момента внешне выраженная и внутренняя речь стали развиваться как относительно самостоятельные, хотя и тесно связанные, находящиеся в постоянном взаимодействии друг с другом явления. Со временем приобрели специфические черты и функции языка в процессе внешне выраженной и внутренней речи и возникли определенные различия в характере тех языковых средств, которые использовались в каждом из этих видов речи. Тем не менее некоторые лингвисты, как уже говорилось, не считают возможным наряду с коммуникативной функцией выделять также и экспрессивную функцию языка, осуществляемую в процессе внутренней речи, и рассматривают ее лишь как разновидность коммуникативной функции. Так, например, Р. В. Пазухин пишет по этому поводу следующее: «„Внутренняя речь" представляет собой своеобразную эгоцентрическую коммуникацию: „разговаривающий с собой" индивид ощущает ту ослабленную „скрытую" артикуляцию речевых органов, которую он сам же производит» [35, с. 47]. И далее: «...можно говорить о наличии в мышлении обратной связи и понимать мышление как интрасубъективную коммуникацию, в которой язык (в той мере, в какой он в мыслительных процессах участвует) выполняет постоянно присущую ему коммуникативную функцию» [35, с. 48]. Р. В. Пазухин справедливо отмечает, что процесс внутренней речи, во-первых, сопровождается кинестезическими раздражениями, идущими от скрыто артикулирующих органов речи, и, во-вторых, процесс внутренней речи происходит осознанно, т. е. контролируется субъектом внутренней речи. Однако все это едва ли может служить основанием для того, чтобы считать внутреннюю речь «самокоммуникацией». Прежде всего следует иметь в виду, что внутренняя речь по своим задачам и характеру [составу и структуре используемых в ее процессе языковых единиц, месту, занимаемому при ее построении языковыми единицами естественного языка как общего достояния коллектива, говорящего на этом языке, и иных вторичных «языков» (например, математических знаков)] представляет собой явление весьма неоднородное. Ее крайними полюсами являются, с одной стороны, акт проговаривания «про себя», тождественный во всем остальном внешне выраженной речи, а с другой стороны, мыслительные процессы, нередко протекающие без постоянной обратной связи и осуществляемые посредством знаков, принадлежащих к различным знаковым системам, и частично имеющие иную структуру, чем мыслительные процессы, происходящие во время проговаривания про себя.

Различными могут быть и задачи, выполняемые субъектом внутренней речи. Так, в некоторых случаях она направлена на сам субъект в целях организации его деятельности, в том числе и мыслительной, т. е. в этих случаях внутренняя речь имеет свой адресат, который есть вместе с тем и адресант. В других случаях внутренняя речь есть лишь спонтанный процесс получения какого-то знания, и в этих случаях едва ли вообще можно говорить о наличии ее адресата. Более того, даже в тех случаях, когда в процессе внутренней речи осуществляется обратная связь, т. е. имеет место самоконтроль, это еще не дает основания говорить о «самокоммуникации». Таким образом, внутренняя речь (может быть, за исключением одного ее типа — проговаривания про себя) не есть осуществление той же самой коммуникативной функции лишь в иной конкретной ситуации, по сравнению с внешне выраженной речью, как это полагает Р. В. Пазухин и другие сторонники этой точки зрения. Во внутренней речи, за указанным

выше исключением, осуществляется особая, экспрессивная языковая функция. Эта языковая функция, несомненно, имеет конституирующий характер для природы естественного языка, как и коммуникативная функция. Есть основания полагать, в частности, что внутренняя речь есть источник ряда инноваций (например, особых моделей словосочетаний и предложений), которые лишь в дальнейшем находят использование во внешне выраженной речи и становятся достоянием всего говорящего на данном языке коллектива.

В истории языкознания различными его направлениями на первый план выдвигалась то экспрессивная функция языка (младограмматики), то его коммуникативная функция (социальные теории языка). Высказывается даже и такое положение, что признание за языком экспрессивной функции означает вместе с тем утверждение индивидуальной, а не социальной сущности языка. Такое обвинение было бы справедливым, если бы мышление, сознание также рассматривались как индивидуальные явления. Но, как уже отмечалось ранее, не только их, но даже и сам психофизиологический механизм внутренней речи следует рассматривать как продукт социального развития человека в антропогенезе и онтогенезе. Поэтому признание экспрессивной функции языка наряду с коммуникативной ни в коей мере не означает отрицания или умаления социальной природы языка.

В адрес бифункционалистов высказывается также и обвинение иного рода. Так, Р. В. Пазухин в упомянутой выше статье пишет: «Хотя гипотеза „чистого мышления" стала сейчас уже историческим курьезом, а гипотеза, „ментальной" функции представляет собой современную научную гипотезу, основанную на убедительных допущениях, между этими двумя гипотезами есть нечто общее, характерное для описательных гипотез. А именно, утверждение о непознаваемости „души" в первом случае и утверждение о некоммуникативном характере процессов мышления во втором случае в равной степени означает отказ от всяких предположений о материальной (физиологической) основе мышления» [35, с. 49]. По этому поводу можно сказать лишь одно: положение о том, что внутренняя речь не есть «самокоммуникация», при диалектико-материалистическом подходе к решению вопроса о природе человеческого мышления и соотношения категорий внешнего и внутреннего применительно к коммуникативной и экспрессивной функциям языка предполагается, что мышление протекает на основе материальных физиологических процессов в головном мозгу человека и что, кроме того, абстрактное, обобщенное мышление в процессе внутренней речи становится действительным только благодаря тому, что оно опирается на кинестезические раздражения от скрыто артикулирующих органов речи или материальные физиологические процессы аналогичного типа.

Примат коммуникативной функции по отношению к экспрессивной утверждается в большинстве направлений языкознания. Представители разных направлений исходили при этом из неодинаковых оснований. Уитни, Боас и представители дескриптивной лингвистики, будучи позитивистами, внешне выраженную речь рассматривали в качестве единственного объекта лингвистики, ибо только она могла непосредственно наблюдаться в опыте. Сторонники социологической школы объявляли ее приоритет на том основании, что эта функция свидетельствует о социальном назначении языка; более того, само понятие социальности языка нередко сводится к понятию этой функции.

Если рассматривать вопрос о соотношении этих двух языковых функций в генетическом плане, то внутренняя речь, по-видимому, представляет собой позднейшее явление, так как она возникла в результате интериоризации внешне выраженной речи.

Рассматривая их соотношение в синхронном плане, необходимо отметить два момента. Во-первых, коммуникативная функция осуществляется лишь постольку, поскольку адресант сообщает какую-то мысль адресату, т. е. в той мере, в какой одновременно осуществляется и экспрессивная функция. Если рассматривать фатическую функцию как разновидность

коммуникативной функции, то в этом отношении в известной степени лишь она имеет своеобразный характер. В то же время экспрессивная функция, исключая лишь ее некоторые разновидности (проговаривание про себя), осуществляется помимо коммуникативной функции. Во-вторых, если коммуникативная функция осуществляется только в тех речевых произведениях, которые характеризуются предикативностью, то экспрессивная функция находит свое осуществление также и в непредикативных языковых единицах (словах, словосочетаниях). Отчасти по этой причине некоторые авторы наряду с экспрессивной функцией выделяют конструктивную и аккумулятивную функции [31, с. 44]. Если пользоваться терминологией Р. В. Пазухина, то в указанных случаях на самом деле мы имеем дело лишь с субфункциями — разновидностями экспрессивной функции.

Итак, естественному языку свойственны только две конститутивные функции — коммуникативная и экспрессивная. В этих функциях проявляется социальная природа языка и человека как его носителя. Их осуществление есть одно из необходимых условий существования, функционирования и развития самого человеческого общества, и этим определяется то место, которое занимает язык среди других общественных явлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шарадзенидзе Т. С.* Проблема взаимоотношения языка и речи. Тбилиси, 1971.
2. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
3. Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967, с. 357.
4. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Язык и языки.— В кн.: *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.
5. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
6. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. М., 1977.
7. *Маркс К.* Тезисы о Фейербахе (текст 1845 года). — *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 42.
8. *Маркс К.* Капитал. Том первый. Кн. I. — *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 23.
9. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология.— *Маркс К., Энгельс Ф.*, Соч. 2-е изд., т. 3.
10. *Панфилов В. З.* Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания.— ВЯ, 1979, № 4.
11. *Смирницкий А. И.* Объективность существования языка. М., 1954.
12. *Панфилов В. З.* Грамматика и логика. М.— Л., 1963.
13. *Серебренников Б. А.* Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1968.
14. *Будагов Р. А.* Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978.
15. *Чесноков П. В.* Неогумбольдтианство.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977.
16. *Albrecht E.* Bestimmt die Sprache unser Weltbild? Zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Sprachphilosophie Berlin, 1972.
17. *Chomsky N.* Essays on form and interpretation. New York, 1977.
18. *Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972.
19. Язык и идеология. Критика идеалистических концепций функционирования и развития языка. Киев, 1981.
20. *Энгельс Ф.* Диалектика природы.— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20.
21. *Дубинин Н.* Наследование биологическое и социальное.— Коммунист, 1980, № 11.
22. *Дубинин Н. П.* Биологические и социальные факторы в развитии человека.— ВФ, 1977, № 2.
23. *Поршнев Б. Ф.* О начале человеческой истории. М., 1978.
24. *Хаймс Д. Х.* Этнография речи.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975.
25. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
26. *Звегинцев В. А.* Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968.
27. *Nehring A.* Zur Lehre von den sprachlichen Funktionen.— In: Corolla linguistica. Festschrift F. Sommer. Wiesbaden, 1955.
28. *Veyrenc J.* Périphérie linguistique et fonctions du langage.— Actes du X-e Congrès international des linguistes. Bucarest, 28 août — 2 septembre 1967. I. Bucarest, 1969.
29. *Novak P., Sgall P.* On the Prague functional approach.— Travaux linguistiques de Prague, 1968, № 3.
30. *Леонтьев А. А.* Общественные функции языка и его функциональные эквиваленты.— В кн.: Язык и общество. М., 1968.
31. *Аврорин В. А.* Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л., 1975.

32. *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1965.
33. *Schenike M.* Die Leistungen der Sprache. Ein Überblick.— Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 1963, Bd. XII, № 6.
34. *Mounin G.* Les fonctions du langage.— Word, 1967, v. 23, № 1—3.
35. *Пазухин Р. В.* Язык, функция, коммуникация.— ВЯ, 1979, № 6.
36. *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика.— В кн.: Структурализм: за и против. М., 1975.
37. *Buyssens E.* Speaking and thinking from the linguistic standpoint.— Acta psychologica, 1954, X, 1—2.
38. *Панфилов В. З.* К вопросу о соотношении языка и мышления.— В кн.: Мышление и язык. М., 1957.

ФИЛИН Ф. П., БЕВЗЕНКО С. Ф., КОНОНЕНКО В. И.

СЛОВАРЬ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Предпринимаемое в последний период в СССР издание ряда многотомных толковых словарей национальных языков базируется на достижениях отечественной лексикографии, опыте создания толковых словарей современного русского языка, и прежде всего Словаря современного русского литературного языка в 17-ти томах. Вместе с тем в определении контингента слов, вводимого в словари, в выработке принципов отбора лексического материала, системы грамматических и стилистических помет лексикографы, работающие в национальных республиках, в значительной мере опираются на традиции национальной лексикографии, учитывают уже накопленные словарные материалы, связанные, в частности, с подготовкой национально-русских и русско-национальных переводных словарей.

Словарное дело на Украине восходит к выдающимся лексикографическим памятникам — «Лексису» Л. Зизания и «Лексикону» П. Берынды [см. 1, с. 69—89, с. 100—197]. Наиболее полный дореволюционный словарь украинского языка под ред. Б. Д. Гринченко (Киев, 1907—1909 гг.), остающийся важным источником знаний о народном украинском языке, был переводным словарем, но частично содержал и толкование слов. Значительными этапами в работе украинских лексикографов в советский период, подготовившими почву для создания толкового словаря, были Украинско-русский словарь в 6-ти томах [2], содержащий широкий иллюстративный материал, и отмеченный высокими достоинствами Русско-украинский словарь в 3-х томах (Киев, 1968 г.). Завершение издания первого в истории украинской лексикографии толкового Словаря украинского языка в 11-ти томах [3] — крупное событие в научной и общественно-культурной жизни не только украинского народа, но и других народов нашей страны, в истории развития мировой лексикографии. Как пишет И. К. Белодед, «словарь украинского языка ...является мощным средством развития просвещения и культуры, логического и научного мышления. Как словарь современный, он отражает передовую мысль эпохи, современные идеи, современный уровень развития литературного языка и тенденции его развития в историческом процессе коммунистического строительства» [4]. Создание толкового Словаря украинского языка стало возможным только в условиях последовательного осуществления ленинской национальной политики, обеспечившей свободное развитие и расцвет украинской национальной культуры и литературного языка.

Как и всякий лексикографический труд, а особенно труд такого масштаба, Словарь украинского языка — итог огромной многолетней работы большого коллектива языковедов республики. Составлению Словаря предшествовало комплектование обширной словарной картотеки, и ее пополнение продолжалось в ходе всей работы над Словарем (см. дополнительные списки источников в томах IV, VII, XI). Успех Словаря обусловлен и тем, что в его создании приняла активное участие группа известных ученых и писателей Украины. У истоков Словаря стояли поэты-академики М. Ф. Рыльский, П. Г. Тычина, над Словарем работали языковеды И. К. Белодед, В. М. Русановский, Л. С. Паламарчук, Л. Л. Гумецкая, М. А. Жовтобрюх, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Л. А. Юрчук, литературовед Е. П. Кирилюк и многие другие. К обсуждению Проспекта Словаря и отдельных его томов была привлечена широкая научная общест-

венность, писатели, преподаватели вузов, учителя. Постоянные консультации создатели Словаря получали у лексикографов Москвы и Ленинграда.

Словарь украинского языка, включивший в себя более 134 тыс. слов [1], свидетельствует о высоком уровне развития современного украинского литературного языка, достигшего расцвета всех функциональных стилей, неизмеримо пополнившего свои запасы, прежде всего — за счет общественно-политической лексики, научно-технической терминологии, новообразований советской эпохи. Словарь в полной мере отразил те существенные изменения, которые произошли в лексике украинского языка в послеоктябрьский период. Как пишет В. М. Русановский, «современнику Т. Г. Шевченко тяжело было бы понять нашу ежедневную речь. Хотя структура ее в целом осталась той же самой, в некоторых языковых уровнях, прежде всего, в лексике, произошло столько незаметных для жизни одного-двух поколений изменений, что почти каждое десятое слово требует специальных пояснений» [5]. По данным исследователей, словник рассматриваемого Словаря существенно отличается от словника Словаря под ред. Б. Д. Гринченко, отразившего состояние лексики украинского языка к концу 80-х годов XIX в. В Словарь включено около 85 тыс. новых слов, среди которых слова иноязычного происхождения составляют около 20—25 тыс., терминологическая лексика — также 20—25 тыс. слов, далее, примерно 50%,— это общелитературная и книжная лексика. Словарь характеризует изменения и в грамматической структуре многих слов: резко увеличилось количество производных слов, в частности, возвратных глаголов на *-ся*, абстрактных существительных на *-ість*, а также отглагольных существительных на *-ання*, *-ення*, *-іння*, *-ка* и относительных прилагательных, т. е. категорий слов, получивших широкое распространение за последние 50—60 лет [6]. Широко представлен в Словаре общий лексический фонд языков народов СССР, включающий социалистические интернационализмы (*соціалізм*, *комунізм*, *революція*, *Інтернаціонал* и др.), многочисленные заимствования, нередко несколько видоизмененные в соответствии с особенностями строя украинского языка, кальки с русских слов (*ленінізм*, *ленінець*, *комсомолець*, *ударник*, *п'ятирічка*, *супутник* и др.). В словник Словаря вошли слова, отражающие достижения в области экономики, науки, техники, культуры, искусства, просвещения. Приведем такой пример. По подсчетам языковедов, в семнадцатитомном Словаре современного русского литературного языка зафиксировано 180 сложений с основой *электро-*, 70 — с *радио-*, 60 — с *теле-* [7]. В Словаре украинского языка 125 сложений с основой *електро-*, 163 — с *радіо-*, 52 — с *теле-*. Одновременно Словарь широко отразил реалии национального украинского быта, своеобразие природы республики, народные обычаи и т. д. (*плахта*, *куманець*, *верболіз*, *барвінок*, *деревій*, *левада*, *вечорниці* и под.).

В ходе подготовки к изданию и апробации первых томов составители Словаря, редакционная коллегия всесторонне обосновали принципы его построения, толкования слов, содержания грамматических и стилистических помет, приведения иллюстративного материала и т.д. Исходя из общих критериев отбора и квалификации слов в толковых словарях, разработанных в советской лексикографии, развивая лучшие традиции их составления, украинские языковеды ставили своей целью достаточно полно отразить современное состояние украинского языка, ведущие черты его прошлого и тенденции развития. К наиболее заметным особенностям Словаря можно отнести следующие:

---

[1] Такой же приблизительно объем имеют словники и других толковых словарей славянских языков. Так, семнадцатитомный Словарь современного русского литературного языка содержит более 120 тыс. слов, одиннадцатитомный Словарь польского языка — около 125 тыс. слов и т. д. Во втором издании ССРЛЯ, которое готовится к печати, будет около 150—160 тыс. слов. Бурный рост лексики современного русского литературного языка (как и других языков нашей страны) в основном происходит за счет пополнения общеупотребительного словарного состава терминами науки, культуры и техники, стремительно возрастающими в эпоху НТР. Например, заново сложилась терминология, связанная с освоением космоса, которая, конечно, не могла быть отражена в первом издании семнадцатитомного Словаря.

1. В Словаре украинского языка объединяются, с одной стороны, принцип историзма, с другой — нормативности, справочности с решающим преобладанием последнего [см. 8, 9]. Такой подход обусловил необходимость охвата лексики украинского литературного языка в широких хронологических рамках — от И. П. Котляревского (активный период его творчества относится к концу XVIII — первой трети XIX столетия) до наших дней (по мере выхода Словаря в него включались и новые слова, отражающие социальный и научно-технический прогресс, часть этих слов помещена в 11-м томе в дополнениях к Словарю). Словарь содержит обширный и разнообразный по происхождению, функционированию и стилистическому использованию лексико-фразеологический материал.

2. Словарь ориентирован на надежные, авторитетные лексические источники, служащие основой информации о слове. В число таких источников входят предшествующие словари и словарная картотека, включающая около 5 млн. примеров употреблений, почерпнутых из художественной литературы различных жанров, из научной литературы, периодических изданий и т. д. Выписки сделаны из оригинальных произведений более чем 200 писателей, из научно-популярных работ, социально-политической литературы, литературной критики, учебных пособий и учебников [10]. Специфической чертой Словаря является привлечение переводной литературы, что объясняется, в частности, тем, что в некоторых случаях переводы являются единственным источником использования слов. При этом принимается во внимание огромная роль в обогащении украинского языка переводов произведений В. И. Ленина, а также выдающихся русских писателей, ученых и т. д.

3. Инвентарь лексических единиц, включаемых в Словарь, устанавливается с ориентацией на общеупотребительную лексику, на современную языковую норму. Из лексики устаревшей, архаической привлекаются с соответствующей оценкой слова, вошедшие в классическую украинскую литературу (*писало*, *сахарня*, *поступ* и др.) и связанные с понятиями и явлениями исторического прошлого (*повіт*, *війт*, *земство* и др.). Словарь фиксирует те инновации, которые получили широкое распространение в последнее время (*місяцехід*, *спортлото*, *універсам* и др.) (соответствующие лексемы не отражены в первом издании Словаря современного русского литературного языка). Из бывшей диалектной лексики в Словарь включены слова, вошедшие в систему общенародного украинского языка (и, таким образом, переставшие быть диалектизмами), обозначающие регионально известные реалии (*верховина*, *полонина*, *трембіта*, *смерека* и под.). Словарь фиксирует те термины и номенклатурные наименования, которые используются в учебниках для средней школы, научно-популярных изданиях, республиканской прессе, произведениях художественной литературы [ср. 11]. При этом Словарь регистрирует современную украинскую терминологию, выработанную преимущественно в советский период за счет внутренних резервов украинского языка и в тесном взаимодействии с другими языками, прежде всего с русским.

4. Словарь характеризует слово средствами филологического толкования, раскрытия его семантической структуры, путем определения прямых и переносных значений слова и его основных оттенков. Толкования-дефиниции используются преимущественно при раскрытии семантики существительных (названий предметов, животных, растений, а также терминов), прямых значений непроизводных прилагательных и глаголов. Разработка производных слов предполагает не только установление их семантики, но и отражение лексико-грамматических связей с мотивирующим словом; с этой целью используются толкования-отсылки. Иногда после толкования приводится синоним к поясняемому слову или к одному из его значений [12, с. 14].

5. Грамматическая характеристика слова включает указание на его принадлежность к определенной части речи и свойственные ему морфологические категории (для изменяемых слов — падежные формы, род, число, вид и др.). При необходимости показывается нерегулярное формообразование. В Словаре приводятся сложные случаи глагольного управле

ния, что способствует также раскрытию содержания многозначных глаголов, их правильному употреблению.

6. Стилистическая характеристика слова реализуется через систему разнообразных стилистических помет. В Словаре фиксируются слова разговорные и книжные; слова вульгарные, шутливые, уничижительные, иронические, фамильярные и др.; слова с окраской торжественности, поэтичности (в том числе народнопоэтические слова). Специальные пометы получают церковнославянские лексические элементы, слова устаревшие и диалектные. Отмечается принадлежность слова-термина к определенной сфере науки и техники (физике, математике и т. д.) или к нескольким сферам — при помете «специальное».

7. Иллюстративный материал не только подтверждает наличие данного слова в лексическом составе, его употребление в отдельных сферах литературного языка, но часто и конкретизирует, уточняет его семантические, грамматические, стилистические и другие характеристики. В Словаре фиксируются как типичные образцы контекстного употребления лексических единиц, так и сдвиги в семантике слова, в том числе вызванные его переносным, образным применением. Иллюстрации Словаря достаточно обширны и разнообразны, как правило, не препарированы и включают цитаты из различных в функциональном отношении текстов (этим, в частности, Словарь коренным образом отличается от односторонней экземплификации в Словаре под ред. Б. Д. Гринченко).

8. В Словаре широко представлена украинская фразеология: идиоматические выражения (*байдики бити*), устойчивые сочетания (*брати гору*), крылатые выражения (*перемагать і жить*), различного рода клише и штампы (*брати до уваги*), формулы вежливости (*будьте ласкові*), номенклатурно-терминологические сочетания (*азбука Морзе*) и др. Содержание фразеологизмов, устойчивых и терминологизированных словосочетаний раскрывается путем их толкования и иллюстрирования цитатами.

Как видим, эти принципы соответствуют общим установкам, разработанным советскими лексикографами применительно к толковым словарям, однако в конкретной их реализации в Словаре решались и сугубо специфические вопросы, вызванные национальным своеобразием украинского языка. Словарь, как уже упоминалось, охватывает лексику периода более чем в 150 лет, а это обусловило привлечение ряда слов, называющих реалии из прошлого украинского народа. В иллюстративной части широко используются переводные тексты, чего нет, как сказано выше, в семнадцатитомном Словаре. Своего решения потребовали и некоторые вопросы размещения заглавных слов. Например, в Украинско-русском словаре в 6-ти томах слова, которые начинаются на *в* с последующим согласным и одновременно имеют фонетический вариант с начальным *у* (например, *вбік — убік*), помещались, как правило, в форме на *у*, в алфавитном порядке таких слов на *в* были сделаны соответствующие отсылки [13]. Иной подход, основанный на семантических особенностях вариантных форм глаголов и отглагольных существительных, применен в одиннадцатитомном Словаре украинского языка. Если глаголы выражают направление действия в середину, в границы чего-нибудь, они вместе с производными словами помещаются на *в* (с одновременным указанием их вариантов на *у*): *вбігати* (*убігати*). Глаголы, выражающие распространение действия на поверхность чего-нибудь, результат действия, отсылаются на *у*, где даются и разрабатываются параллельно с вариантом на *в*: *укривати* (*вкривати*) [14].

Словарь в его завершенном виде в основном отвечает этим апробированным принципам, хотя при их реализации составители встретились со значительными трудностями [12, с. 9—11]. Многие конкретные вопросы отбора и описания украинской лексики и фразеологии в Словаре успешно решены, другие еще ждут дальнейшей разработки. Остановимся на некоторых сложных проблемах, обусловленных практикой составления данного Словаря и в той или иной мере связанных с подготовкой национальных толковых словарей.

Толкование слов в Словаре в целом вполне соответствует уровню сов-

ременной лексикографической науки, отвечает высоким требованиям, предъявляемым к словарям данного типа, хотя в адрес его составителей высказывалось и, наверное, еще будет высказываться по этому поводу немало замечаний, пожеланий и т.д. Здесь хотелось бы отметить, что составители словаря, особенно в начальных томах, не всегда, как нам кажется, удачно пользовались объяснением сближенных по значению слов при помощи синонимов. Так, слова *завірюха* (III, с. 51), *завія* (III, с. 53), *заметіль*, *заметільниця* (III, с. 206), *віхола* (I, с. 690), *метелиця* (IV, с. 688), *хуга* (XI, с. 166), *хуртовина* (XI, с. 174), *хуртеча* (XI, с. 174) объяснены так, что их можно воспринять как абсолютные синонимы (ср. *завірюха* — сильный ветер со снегом; метелиця, хуртовина; *завія* — сильный ветер со снегом; хуга, завірюха; *заметіль* — сильный ветер со снегом; хуртовина; *віхола* — то же, что *завірюха*; *метелиця* — сильный ветер со снегом; *заметіль*, хуртовина; *хуга* — сильный ветер со снегом; завірюха, хуртовина; *хуртовина* — сильный ветер со снегом; заметіль; *хуртеча* — то же, что хуртовина). Вместе с тем каждый из приведенных синонимов характеризуется определенным оттенком значения. Только при двух словах из этого ряда имеются ограничительные стилистические пометы: *заметільниця* — діал., т. е. диалектное, *хуртеча* — розм., т. е. разговорное, хотя и другие синонимы различаются стилистически. Ср. также объяснение уничижительных слов *бабега*, *бабера*, *баберія*, *бабисько*, *бабище* (I, с. 76), которые также толкуются одинаково — зневажл.-збільш. (т.е. уничижительное, увеличительное) до *баба* [1], причем какие-то дополнительные указания относительно сферы их употребления отсутствуют; ср. также ласкательные *бабка* [1], *бабонька*, *бабуня*, *бабусенька*, *бабусечка*, *бабуся*, *бабця*, из которых только последнее имеет помету діал., т. е. диалектное.

Как известно, одной из сложнейших проблем лексикологии и лексикографии является разграничение полисемии и омонимии. Чаще всего в одной словарной статье отражается слово со всеми присущими ему значениями, а слова, которые трактуются в науке как омонимы,— в разных статьях. Однако достаточной последовательности и четкости в решении этой задачи в Словаре нет (как, впрочем, и во всех других известных нам словарях). Обратимся к отдельным примерам. Так, в слове *пшик* (VIII, с. 415), при котором имеется грамматическая помета — междометие, различаются три значения: 1. Звукоподражание; 2. Употребл. в качестве сказуемого в значении *пшикати*; 3. Употребл. в значении существительного *пшик* — ничто, мелочь. Третье из значений данного слова, очевидно, можно было бы выделить в отдельную словарную статью в качестве омонима к однозвучному междометию. Ведь в других случаях подобные различия проводятся; ср., например: *причому* [1] — присл. (т. е. наречие) и *причому* [2] (VIII, с. 101) — спол. приедн. (т. е. союз присоединит.); ср. также словарные статьи *рано* [1] — наречие (VIII, с. 450) и рано [2] (VIII, с. 451) — то же, что *ранок* (утро) — существительное, и др.

С примерами не совсем четкого разграничения полисемии и омонимии встречаемся и в ряде других словарных статей, особенно при толковании слов со сложной семантической структурой. Так, в словарной статье *раковина* (VIII, с. 445) отмечается четыре значения данного слова: 1. То же, что черепашка; 2. Часть внешнего уха у человека и млекопитающего; 3. Керамическая или металлическая посуда под водопроводным краном; 4. *Спец.* Пустота в металле, гипсе и др., образованная при переходе из жидкого состояния в твердое. К этим значениям нужно прибавить еще одно, не отмеченное в данной словарной статье, очевидно, в связи с отсутствием соответствующего примера в картотеке — «крытая эстрада для музыкантов в летних садах и парках». Нам кажется, что более внимательный анализ приведенных (и не приведенных) в данной статье значений скорее позволяет рассматривать их как проявление омонимии.

Хотелось бы также получить в словарной статье справку о первом употреблении слова в письменной украинской речи, наподобие тех справок, которые содержит семнадцатитомный Словарь современного русского литературного языка. К сожалению, это пожелание трудно выполнимо,

так как данные имеющейся лексической картотеки Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР, на основании которой создавался Словарь, далеки от той полноты, которая требуется для решения аналогичных задач. Впрочем, выход в свет в ближайшем будущем большого этимологического словаря украинского языка и продолжение издания исторического словаря украинского языка, можно надеяться, восполнят пробелы в определении первой фиксации.

Как уже отмечалось, иллюстративный материал Словаря подобран весьма квалифицированно: он в целом высокого качества, достаточно разнообразен, извлечен из произведений различных авторов, стилей и жанров, в подавляющем большинстве случаев удачно дополняет объяснительную часть словарной статьи.

Современная практика, объяснения слов, толкования их значений еще настолько несовершенна, что без иллюстративного материала в объяснительных (толковых) словарях обойтись нельзя, поэтому весьма желательно в таких больших словарях, каким является обсуждаемый Словарь украинского языка, иллюстрировать каждое заглавное слово. Это, конечно, ведет к увеличению объема Словаря, однако в конечном счете он от этого выигрывает, так как надежная иллюстрация несет и дополнительную информацию относительно его семантики, сферы употребления и др., а для слов-диалектизмов, между прочим, уточняет также ареал их распространения. В рассматриваемом Словаре, особенно в первых его томах, многие слова, к сожалению, остались без иллюстраций, что в отдельных случаях затрудняет пользование им, так как информация о слове оказывается недостаточной. Так, слово *баба* [3] — сорт выпечки из пшеничной муки (I, с. 75) без иллюстрации не совсем понятно (к тому же и объяснено неудачно): возникает вопрос, не то же это самое, что и *бабка* [5] — пища из лапши, риса, творога и т. п. (I, с. 76). Без иллюстраций неясно, литературный или диалектный характер имеет слово *баба* [5] — сорт больших груш (I, с. 75), и т. д.

Словарь, как уже отмечалось, базируется на огромном лексическом материале словарной картотеки Института языковедения им. А. А.Потебни. Но в ней еще и теперь имеются ощутимые пробелы, что отразилось и на источниках самого словаря. Так, даже важнейший из дореволюционных словарей — Словарь украинского языка под ред. Б. Д. Гринченко введен в список источников, только начиная с седьмого тома (хотя он, конечно, использовался как источник и при составлении предыдущих томов).

Вполне понятно, что в нормативном словаре, каким является Словарь украинского языка, должен быть проведен тщательный отбор источников, и этот аспект последовательно обеспечен в Словаре. Но данный Словарь является также и справочным, поэтому весьма желательно, чтобы в нем была представлена, конечно, с соответствующими стилистическими пометами, лексика и не совсем актуальная с точки зрения современного употребления, но довольно часто встречающаяся в произведениях украинской классической литературы. В связи с этим необходимо было бы расширить список источников словаря за счет введения в него произведений хотя бы тех писателей, которые внесли определенный вклад в обогащение лексики современного украинского литературного языка, но в силу каких-то причин оказались вне данного списка, как, например, О. Пчилка (мать Леси Украинки), которой, между прочим, украинский язык обязан введением ряда новых слов, в том числе и такого, как *мистецтво* (искусство), или представлены в нем довольно скупо, как, например, М. Старицкий, который известен включением в литературный обиход многих слов (*байдужий*, *байдужість*, *мрія* и др.).

Бо́льшего внимания заслуживают также лексические материалы из современных периодических изданий, в частности, литературных и популярных журналов «Дніпро», «Прапор», «Україна», «Перець» и др., а также выходивших до Отечественной войны журналов и газет «Радянська література», «Червоний шлях», «Життя і революція», «Літературна критика», «Комуніст», «Вісті» и др. Выборочно в состав источников, очевидно,

нужно было включить и некоторые дореволюционные журналы и альманахи («Основа», «Життя і слово», «Зоря», «Літературно-науковий вісник», «Записки наукового товариства ім. Шевченка» и др.), поскольку именно в данных изданиях впервые засвидетельствовано значительное количество новой для литературного языка лексики, в частности, общественно-политической, публицистической, научно-популярной, терминологической и др. [см. 15—16]. Вполне понятно, что привлечение этих изданий к источникам Словаря не повлияло бы на его словник, однако частично отразило бы историю становления лексики современного украинского языка.

Выскажем несколько соображений относительно включения в инвентарь Словаря определенных разрядов слов.

В больших словарях национальных языков обычно оговаривается выделение одних лексико-грамматических групп слов в качестве заглавных и, наоборот, невключение в словник других групп. Вопрос заключается в том, в какой мере эти предварительные установки отвечают общей концепции словаря, основным принципам его построения. Не обошелся без таких оговорок и Словарь украинского языка. Остановимся в связи с этим на проблеме отражения в Словаре причастий.

Внесение причастий в словник толковых словарей славянских языков, в том числе Словаря современного русского литературного языка, как правило, определяется наличием у причастий адъективированных и лексикализированных значений (хотя провести строгую границу между причастиями, тяготеющими к прилагательным, и другими причастиями не всегда удается). Поэтому в отдельной статье семнадцатитомного Словаря даются преимущественно причастия в страдательной форме и ограниченно — в действительной форме. Несколько видоизменен этот принцип в Словаре украинского языка. В него включены все причастия, которые активно функционируют в языке, независимо от присутствия в них адъективированных и лексикализированных значений [см. 17]. Это прежде всего страдательные причастия типа *ведений*, *забутий*, *здійснюваний*, действительные причастия на *-лий* типа *зголоднілий*, *зів'ялий* и некоторые действительные причастия на *-ачий* (*-ячий*), *-учий* (*-ючий*) типа *відпочиваючий*, *палаючий* (в украинском языке, как известно, причастия действительного залога образуются и функционируют менее широко, чем в русском). Такой подход имеет свои преимущества, поскольку позволяет объективно отразить распространение этих форм в современном украинском языке, что особенно важно в связи с высказываемым иногда ошибочным мнением о причастиях (прежде всего действительных) как категории, не свойственной украинскому языку. Вместе с тем значение причастий определяется в Словаре преимущественно опосредованно — через семантику глагола, разработанную в соответствующей статье; тем самым вопрос о самостоятельном словарном статусе причастий не является до конца разрешенным. Другая неспрягаемая категория слов — деепричастия — в словник Словаря не включается.

Требует дополнительного обсуждения и вопрос о включении в словник Словаря слов со значением субъективной оценки (уменьшительности, увеличительности, ласкательности, уничижительности и т. д.). В Словаре зафиксированы отраженные в материалах картотеки существительные типа *річечка*, *вітрюган*, *бабище* и др., прилагательные типа *білесенький*, *здоровенний* и др. Включение этих образований оправдано их широким распространением в украинском языке. Исключение из словника Словаря наречий с суффиксами субъективной оценки (*тихесенько*, *тихенько* и под.) объясняется их производностью, вторичностью по отношению к соответствующим мотивирующим прилагательным (*тихесенький*, *тихенький*) и может быть принято. Но украинскому языку свойствен и особый тип уменьшительных глаголов типа *істи*, *істочки*, *спатоньки*, *спатусі*, *спатуні* и под. [18]; включение их в словник Словаря способствовало бы отражению специфических для украинского языка образований и вместе с тем обеспечивало бы более последовательное освещение всей группы слов субъективной оценки.

Значительные трудности в словарной работе вызывает, как известно, фиксация слов, изменяющих свою синтаксическую функцию и грамматические характеристики. В какой мере происходят в таких случаях сдвиги в семантике слова? Остается ли оно в пределах того же лексико-грамматического разряда или относится уже к другому разряду? Если произошли существенные изменения в значении и грамматических свойствах слова, надо ли относить соответствующие образования к омонимам и помещать в разных статьях словаря или эти процессы нагляднее видны в рамках одной статьи? Существуют различные мнения по этим вопросам. Составители Словаря украинского языка вслед за составителями других словарей славянских языков отражают изменения в синтаксическом употреблении слова, независимо от того, какие они вызывают последствия, как правило, в пределах одной словарной статьи. Это относится, в частности, к фиксации субстантивированных прилагательных (*вартовий*, *майбутнє*), многих адвербиализированных существительных, в том числе в творительном падеже (*ключем*, *клином*, *контрабандою*), предикативных существительных типа *сором*, *неспромога* [см. 19]. Словарь отмечает значения наречий и других самостоятельных слов, употребляющихся в функции служебных слов, с пометами «в значении предлога», «в значении вводного слова» и т. д. и приводит соответствующие цитаты-иллюстрации. Такое решение практически удобно, однако можно полагать, что здесь скорее слова-омонимы, и их помещение в одной статье в какой-то мере противоречит общей установке Словаря.

С другой стороны, в словник Словаря внесены прилагательные сравнительной степени, образованные от форм положительной степени с отклонениями (*більший*, *кращий*), превосходной степени с префиксами *щонай-*, *якнай-* (*щонайбільший*, *якнайкращий*). То, что Словарь не фиксирует прилагательные в сравнительной и превосходной степени, образованные регулярно, вполне объяснимо, ведь они составляют обычные формы соответствующих прилагательных, внесенных в словник. Однако выделение в отдельные статьи Словаря даже некоторых прилагательных в формах степеней сравнения представляется практически удобным, но недостаточно мотивированным теоретически.

Не совсем последовательными оказались составители и редакторы Словаря при лексикографической обработке устойчивых словосочетаний, в частности фразеологизмов и крылатых выражений. В одних случаях эти словосочетания расчленяются и их составные части выносятся в отдельные словарные статьи; например, обе составные части крылатого выражения *Авгієві стайні* (*конюшні*) представлены в Словаре отдельными словарными статьями: *Авгієв*, *-ієва*, *-ієво* (I, с. 9); *стайня* (IX, с. 637); ср. также *дамаська сталь — дамаський*, *-а*, *-е* (II, с. 210) и *сталь* (IX, с. 641). В других случаях устойчивые словосочетания выступают в качестве отдельной словарной статьи, не расчленяясь на составные части; ср., например: *Дамоклів меч* (II, с. 210), *варфоломіївська ніч* (I, с. 295), *ватманський папір* (I, с. 297) и др., первые слова которых не выносятся в отдельные словарные статьи. Вполне резонно было бы ожидать здесь большего единообразия в подаче материала.

Издание большого академического словаря украинского языка в одиннадцати томах закончено. С выходом его последнего тома завершается и определенный этап в развитии украинской советской лексикографии. Нет сомнения в том, что данный словарь внесет (и уже вносит) большой вклад в дело дальнейшей нормализации украинского литературного языка как в области словоупотребления (это его первейшая задача), так и в области грамматического оформления слов, их стилистического использования.

Нужно полагать, что завершение работы над словарем украинского языка будет знаменовать и развертывание других лексикографических начинаний, в частности, составление академических словарей синонимов и фразеологизмов, работа над которыми уже начата. Важным подспорьем при изучении суффиксального словообразования современного украинского языка, а также фонетики конца слова будет создаваемый на базе рассматриваемого Словаря инверсированный (обратный) словарь украин-

ского языка. На очереди стоит и составление словарей омонимов, антонимов, паронимов, которые обретут в одиннадцатитомном словаре надежную базу.

Словарь, надо полагать, послужит также надежной основой при составлении меньших по объему толковых словарей украинского языка типа академического словаря русского языка в четырех томах под ред. А. П. Евгеньевой (завершена подготовка второго издания, вышел в свет первый том), а также массового однотомного словаря украинского языка типа «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. На очереди также составление новых практических словарей (как для школ, так и для массового читателя) типа словарей ударений, орфоэпических и др., составители которых смогут опереться на базу одиннадцатитомного Словаря украинского языка.

Словарь украинского языка — крупное научное издание, потребовавшее лексикографической разработки многих сложных вопросов, таких, как тип толкового словаря, отбор лексического и фразеологического материала, способы семантической характеристики слов, принципы экземплификации, отражение в словаре нормативного словоупотребления, системы грамматических и стилистических помет и др. В процессе создания Словаря была проведена большая теоретическая работа, направленная на изучение конкретной проблематики, на создание фундаментальных трудов, обобщающих опыт словарного дела на Украине (см., например, монографию Л. С. Паламарчука [10]). С выходом в свет одиннадцатитомного Словаря заметно усилились исследования украинских лексикографов. Словарь может стать основой дальнейших изысканий в области семантики и семасиологии; в частности, значительный научный интерес представляет изучение семантической структуры полисемичных слов современного украинского языка в сопоставлении с их значениями в прошлом, развития лексико-семантической системы украинского языка. С привлечением данных Словаря могут быть развернуты новые исследования в области украинского словообразования; здесь заслуживают внимания проблемы появления новых словообразовательных средств, в том числе за счет контактирования с русским языком, развития в них новых значений. Словарь способствует созданию работ в области морфологической структуры различных частей речи; обобщение содержащихся в нем материалов позволит уточнить границы изменяемых и неизменяемых слов, типов словоизменения. Словарь дает обширный материал для анализа закономерностей управления, тенденций развития сочетаемостных свойств слова. Особый вес приобретают материалы Словаря для сопоставительных исследований. Можно предполагать, что Словарь стимулирует развитие украинского языкознания в целом.

В наших заметках по поводу Словаря украинского языка снова подняты многие известные проблемы составления толковых словарей славянских языков. И это неслучайно. Продолжается выпуск очередных томов Толкового словаря белорусского языка, готовятся новые издания толковых словарей русского языка. В этом контексте многолетний опыт составителей Словаря украинского языка требует всестороннего обобщения и осмысления. Рассматривая данный Словарь как крупное достижение всей советской лексикографии, важный вклад в мировую практику составления толковых словарей, языковеды нашей страны продолжают активные поиски путей и форм дальнейшего совершенствования словарной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Німчук В. В.* Старокраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.
2. Українсько-російський словник. Т. I—VI. Київ, 1953—1963.
3. Словник української мови. Т. I—XI. Київ, 1970—1980.
4. *Белодед И. К.* «Всяк сущий в ней язык...». Киев, 1981, с. 190.
5. *Русанівський В. М., Єрмоленко С. Я.* Життя слова. Київ, 1978, с. 128.
6. *Пилинський М. М.* Мовна норма і стиль. Київ, 1976, с. 264—277.

7. *Ряшенцев К. Л.* Сложные слова и их компоненты в современном русском языке. Орджоникидзе, 1976, с. 51.
8. *Филин Ф. П.* О новом толковом словаре русского языка.— ИАН ОЛЯ, 1953, № 3.
9. *Бабкин А. М.* Лексикографическая традиция и пути ее обновления.— ИАН ОЛЯ, 1965, № 5.
10. *Паламарчук Л. С.* Українська радянська лексикографія (Питання історії, теорії та практики). Київ, 1978, с. 156—157.
11. *Филин Ф. П.* Заметки по лексикологии и лексикографии.— Лексикографический сборник, 1957, вып. 1, с. 48.
12. *Паламарчук Л. С.* Академічний тлумачний словник української мови.— В кн.: Слово і фразеологізм у словнику. Київ, 1980.
13. Українсько-російський словник. Т. І. Київ, 1953, с. IX.
14. Словник української мови. Т. І. Київ, 1970, с. VIII.
15. *Жовтобрюх М. А.* Мова української преси. Київ, 1963.
16. *Жовтобрюх М. А.* Мова української періодичної преси. Київ, 1970.
17. *Гнатюк Г. М.* Граматичні категорії і семантичні особливості діеприкметників та їх відображення в Словнику української мови.— В кн.: Слово і фразеологізм у словнику, с. 109.
18. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ, 1969, с. 424.
19. *Юрчук Л. А.* Взаємозв'язок синтаксичних особливостей слова з його лексичним значенням.— В кн.: Слово і фразеологізм у словнику, с. 86—91.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ДОМАШНЕВ А. И.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ У. ЛАБОВА

Языкознание на Западе, очевидно, должно было пройти путь до Хомского (см. 1. 2], чтобы предельно обнажились ограниченность и изоляционизм его внутрилингвистической ориентации [1]. Совершенно очевидным стал тот парадокс хомскианства, что, претендуя на единоличное представление всего современного языкознания, оно поставило его в сомнительное положение. Результаты деятельности Хомского и его последователей являются примером того, как наука, имеющая сугубо общественную направленность уже в силу природы своего объекта, может оказаться среди наиболее общественно отчужденных, дегуманизированных наук нашего времени.

Развитие различных социолингвистических теорий в 60—70 гг. явилось выражением стремления преодолеть сложившееся положение. Нельзя, однако, недооценивать и общественно-прагматический стимул, т. е. внешнюю причину формирования социолингвистики, обусловленную потребностями современного общества, для которого проблемы языкового строительства и языковой политики, как и другие аспекты социологии языка, приобретают все большую актуальность. По этому поводу Х. Яхнов замечал, что «... в последние годы в возрастающей степени ставился во всех общественных науках вопрос о практическом использовании научных результатов и их общественной пользе» [4]. «Именно развитие социолингвистики,— подчеркивал он,— непосредственно пошло навстречу представлению о языкознании, полезном для общества» [4].

В этот период вопросы социальной лингвистики стали наиболее интенсивно выдвигаться в США, на родине этого крайнего развития структурализма, оказавшегося не в состоянии разработать адекватные методы лингвистического анализа и, тем более, объяснить или способствовать решению многочисленных языковых проблем современного американского общества.

Давая общую оценку социолингвистических работ в США, А. Д. Швейцер с полным основанием подчеркивал, что «...в них весьма наглядно прослеживаются методологические установки их авторов, их социально-философские позиции. Поэтому анализ социолингвистических работ американских ученых требует критической оценки их методологических взглядов, выявления тесных органических связей между этими работами и теми позитивистскими идеями, которые глубоко укоренились в американской лингвистике и социологии» [5, с. 5; 6]. Одновременно необходимо подчеркнуть, что эти труды в своей совокупности не обнаруживают внутреннего теоретического единства и не образуют целостного направления с точки зрения своего предмета и проблематики [5, с. 31—80; 7].

В разнородном потоке американских работ привлекают внимание исследования У. Лабова, который неоднократно подчеркивал, что языковед должен стремиться создать «социально реалистическую лингвистику» [8, с. 14], и многое сделал в этом отношении. В одной из первых своих работ, и поныне являющейся единственной фундаментальной монографией о

[1] Ср.: «...единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [3].

социальной стратификации английского языка в Нью-Йорке [8][2], У. Лабов сосредоточил свое внимание на изучении реальной картины повседневного речевого общения обширной группы жителей нью-йоркского Нижнего Ист-Сайда, характеристике социальной вариативности речи и выявлении динамики социально обусловленных языковых изменений. Выводы, к которым он пришел, заложили основу программы его дальнейших исследований и теоретических оценок. Прежде всего он обратил внимание на то, что представление дескриптивной лингвистики о языке как «организованном наборе социальных норм» было использовано для того, чтобы считать их инвариантами, присущими всем членам языкового коллектива. На самом же деле языковое общество «характеризуется не столько согласием в использовании языковых элементов, сколько участием его членов в создании набора общих для всех норм», тогда как в речи одного и того же лица могут использоваться варьирующиеся признаки системы языка, соотносимые с теми или иными «социальными нормами». Следовательно, внимание лингвиста должно быть направлено на «...более пристальное изучение социального контекста, в котором используется язык...» [9, с. 320]. При этом У. Лабов показал, что элементы языковой структуры подвержены систематическому варьированию, отражающему как изменение языка во времени, так и влияние экстралингвистических социальных процессов [9, с. 334]. Применительно к задаче изучения речи членов языкового коллектива важнейшее внимание должно быть уделено ее социальной вариативности, характеризующейся наличием двух измерений — стратификационного и ситуативного. Само по себе это положение не является чем-то новым в социальной лингвистике, но важно подчеркнуть, что У. Лабов одним из первых в американской школе обратил на это внимание. Следует, таким образом, вообще, а не только в связи с теорией У. Лабова, отметить, что соединение этих двух аспектов при анализе состава и характера речи обеспечивает наиболее надежную оценку материала и должно быть отнесено к числу фундаментальных положений социолингвистического исследования. Если стратификационная вариативность, непосредственно связанная с социальной структурой общества, находит свое выражение в тех языковых различиях, которые обнаруживаются между представителями различных социальных слоев и групп, то ситуативная вариативность проявляется в преимущественном использовании тех или иных языковых средств в зависимости от социальной ситуации. При этом такого рода вариативность может проявляться и в смене элементов языка, и в смене форм существования данного языка (литературный язык — диалект) [10]. В работах У. Лабова, с одной стороны, была установлена прямая зависимость между некоторыми речевыми показателями и социальной структурой (информанты, принадлежащие к «низшим» социальным слоям, шире используют в тех же речевых контекстах нелитературные (нестандартные) формы, нежели информанты из «высших» слоев общества), а с другой стороны, у всех информантов наблюдается заметное возрастание числа форм литературного языка при изменении характера ситуации от непринужденно-бытового общения в сторону формального, официального [9, с. 323; ср. 5, с. 43; 10, с. 76—77].

Эта теоретическая позиция У. Лабова не могла не сказаться на его подходе к оценке одной из наиболее нашумевших социолингвистических концепций — теории языковых кодов Б. Бернстайна, о которой иногда даже принято говорить, что с нее, собственно, начиналась современная социолингвистика на Западе [11, с. 201]. Не касаясь всех ее положений, поскольку они были подробно рассмотрены у нас в ряде специальных публикаций [12—14], напомним, что Б. Бернстайн в 1958 г. занялся изучением языка лондонских подростков. Обобщения, которые при этом последовали, касались таких вопросов, как язык и его структура, классы и социальные группировки общества, изоморфизм языковых и социальных структур, задачи школьного обучения языку и языкового воспитания.

[2] До ее опубликования в 1966 г. монография была защищена У. Лабовым в качестве диссертации в Колумбийском университете в 1964 г.

Концепция Бернстайна, разработанная в местных, английских условиях, была признана в целом «репрезентативной для западных капиталистических стран» [11, с. 201] и ее стали применять без проверки «методической состоятельности», причем в отношении языковых ситуаций, отличающихся от английской, например, в ФРГ [15].

Для эксперимента Б. Бернстайн подобрал две социально «экстремальные» группы участников. Одна группа состояла из юношей в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в самых разных районах Лондона. Все они работали в качестве курьеров или посыльных, никто из них не имел среднего образования. Эта группа участников соотносилась Бернстайном с социальным слоем общества — рабочим классом (working-class) [17, с. 36], в частности, с его самым «низшим» уровнем (lower working-class), к которому он приравнивает и деревенское или сельскохозяйственное население (rural groups) [18, с. 233]. Вторая группа состояла из юношей такого же возраста, являющихся учащимися крупнейших привилегированных закрытых частных школ (public school) Лондона и отличающихся стремлением к получению знаний и интересом к языковым дисциплинам. Эта группа соотносилась Бернстайном с понятием среднего класса (middle class) английского общества, в который в целом включаются представители высших слоев, средние буржуазные группы и различные «переходные социальные слои».

На основании результатов эксперимента Б. Бернстайн пришел к выводу, что между подростками из «низших» слоев и их сверстниками из «высших» слоев имеются значительные различия в отношении языковой компетенции и владения языком. Эти различия он обозначил терминами «ограниченный код» (restricted code) и «развитый», «разработанный» или «развернутый код» (elaborated code). По мнению Б. Бернстайна, оба кода на лингвистическом уровне могут быть определены в терминах степени предсказуемости того, какие структурные элементы будут использованы для организации высказывания. В случае развернутого кода говорящий имеет возможность выбора из достаточно широкого набора альтернативных средств, вследствие чего возможность предсказуемости элементов построения существенно уменьшается. При ограниченном коде число таких вариантов весьма незначительно, что повышает степень их предсказуемости в речи. В целом с этой точки зрения развернутый код характеризуется тем, что ему присущи синтаксические структуры предложений различной степени полноты и сложности, использование разнообразных средств связи и организации предложений (союзов, порядка слов), предлогов и др. Лексика и семантика кода разнообразны и дифференцированы, высказывание в целом носит более обобщенный, абстрактный характер. Ограниченный код, напротив, отличается тем, что предложения здесь краткие и простые, нередко синтаксически незавершенные, используется мало предлогов и союзов, придаточных предложений, ограничена лексика, высказывание конкретно, обращение прямолинейно [19].

Эта характеристика кодов означает, что они находятся в отношениях взаимодополнения, но что возможности синтаксически ограниченного и семантически конкретного языкового употребления содержатся в развернутом коде, в то время как ограниченный код исключает возможность употребления синтаксически сложного и семантически дифференцированного, абстрактного языкового материала [16, с. 45]. Б. Бернстайн также подчеркивал, что ограниченный код может возникнуть в любой среде, если это продиктовано условиями общения. При этом он выделяет «чистую форму» ограниченного кода, примерами которого могут служить различные ритуальные формы коммуникации, характеризуемые высокой предсказуемостью использования строго ограниченных, регламентируемых правилами средств языка: речь идет о церемониях, предписанных протоколом, религиозных обрядах, приветственных обращениях на банкетах, беседах о погоде и др. Более распространенным вариантом ограниченного кода является, по Бернстайну, предсказуемость на структурном уровне, тогда как лексика оказывается более подвижной, оставаясь в целом немногочисленной и неразнообразной. Социальные формы отношений, порож-

даемые этим кодом, также достаточно разнообразны, но главное условие для его возникновения основано на одном общем наборе близких друг другу идентификаций, солидарности участников акта коммуникации, в котором подчеркивается непосредственность отношений. В условиях этих социальных отношений последовательность языкового общения достаточно хорошо организована как на структурном, так и на лексическом уровне. Вербальное планирование оказывается достаточно ограниченным, вследствие чего невербальные компоненты (жесты, мимика) становятся главным источником указаний на изменение смысла или значения. Так называемый развернутый код, по Бернстайну, уходит корнями в форму социальных отношений, в которых резко повышается задача индивидуума производить из своих языковых ресурсов отбор средств вербальной организации высказывания. Код становится, таким образом, инструментом или средством индивидуальной ответственности говорящего, что обусловливает повышение функции вербального планирования и связанного с этим более высокого уровня структурной организации и лексического наполнения высказывания.

Как видно из сказанного, лица, владеющие развернутым кодом, располагают широким языковым диапазоном и могут избирательно относиться к языковым средствам в зависимости от конкретной ситуации. Они, естественно, могут пользоваться и ограниченным кодом.

По мнению Бернстайна, в языковом коллективе наблюдается, что говорящий владеет только одним ограниченным кодом, независимо от того, какую форму языкового поведения предписывает та или иная ситуация общения. В дихотомии установленных кодов это означает, что если носитель развернутого кода способен переходить на ограниченный код, т.е. совершать переключение кодов, то носитель только ограниченного кода лишен возможности такого переключения. В подобном положении оказываются не отдельные лица, а, как подчеркивает сам Б. Бернстайн, примерно 29% населения Англии, социальное положение которого определяется его принадлежностью к «низшему» слою [17, с. 35—36].

Тем самым, если лингвистическое понимание кодов определялось распределением между ними элементов структуры и субстанции языка, то степень принадлежности носителей языка к тому или иному типу кода дает основание рассматривать оба кода в качестве «функций различных социальных структур» [17, с. 317]. На этом основании Б. Бернстайн соотносит деление языка с делением общества на «низший» класс, в распоряжении которого находится только ограниченный код, и на «средний» класс, владеющий обоими кодами (как ограниченным, так и развернутым).

В этих и других своих работах [20] Бернстайн высказал ряд обобщений, которые были использованы в различных исследовательских программах. Так, в частности, подчеркивалось, что речевой уровень носителей ограниченного кода оказывается недостаточным, чтобы соответствовать условиям общения с лицами более высокого социального положения и принимать участие в беседах на определенные, например, абстрактные, отвлеченные, темы. Особенно затруднено общение с различными официальными инстанциями. Создается положение, при котором носитель ограниченного кода только в кругу себе подобных имеет свободный языковой контакт, а за его пределами наталкивается на трудности, которые в целом мешают любому его социальному продвижению [11, с. 201]. Наиболее тяжелым по своим последствиям оказывается то обстоятельство, что поколения таких групп в данном обществе обречены на самопроизводство. Психологи, например, утверждают, что у ребенка, воспитанного в такой языковой среде, это положение отрицательно сказывается на развитии его духовных и познавательных способностей, поскольку речь, основанная на ограниченном коде, по присущему ему характеру не направлена на расширение и дифференциацию «содержания знания» и на усвоение, «тренировку» необходимых для таких целей «мыслительных и учебно-познавательных процессов» [21, с. 71—73]. Отрицательное развитие начинается с того, что мать ребенка, владея только речевыми образцами

ограниченного кода, может реагировать недостаточно полно и, тем самым, тормозяще на его любопытство и интерес к познанию. Со временем, когда ребенок сам начинает говорить по неосознаваемым правилам этого ограниченного регистра языка, он «врастает в ткань специфических отношений своей субкультуры» и перенимает ее «ориентации» и «мотивации». Все эти «тормозящие» факторы могут еще больше закрепиться, когда ребенок попадает в школу. Поскольку содержание учебных предметов и их преподавание ориентировано на литературный язык (развернутый код), то дети представителей «среднего» класса с самого начала оказываются в более выгодных условиях, а возникающая языковая диспропорция для детей из «низших» слоев приводит их к серии новых осложнений и неудач, связанных с уровнем школьных программ и требованием их языкового обеспечения [21, с. 72]. В целом, при таком подходе в теории кодов была сделана попытка показать, что «объективно» ограниченный код уступает развернутому, оказываясь функционально недостаточным. Поэтому указанная теория стала известна среди специалистов под названием «гипотеза недостаточности» или «гипотеза дефицита». Ситуации, при которых носители ограниченного кода оказываются не в состоянии выйти за пределы собственного речевого регистра, были определены, например, в социолингвистических дискуссиях в ФРГ, в качестве «языковых барьеров» [12]. Преодолеть такие «барьеры» и, таким образом, компенсировать языковой дефицит детей из «низших» слоев в условиях школы можно, по замыслу Б. Бернстайна и его сторонников, с помощью дополнительного, усиленного обучения развернутому коду, получившему название компенсаторного преподавания языка [22].

Причиной оживленного интереса к кодовой теории Бернстайна было не ее научное значение, хотя нельзя отрицать факта ее теоретической новизны для английской лингвистики, а, скорее, ее прагматический аспект, оказавшийся привлекательным для нужд образования, бедственное положение которого в этот период обнажилось во многих капиталистических странах настолько, что его уже нельзя было обходить молчанием. Так, в ФРГ, учитывая политический момент, когда, как подметил И. Радтке [11, с. 203], различные политические партии выдвигали требование «социальных реформ», инстанции, ведающие образованием, относительно быстро реагировали на вывод социолингвистики о социальном неравенстве детей из «низшего» класса, вследствие чего они лишены «равных шансов» с другими детьми в школе. В этих условиях и была подхвачена идея о компенсаторном преподавании языка, чтобы таким путем пытаться «подтянуть» языковой уровень этих учащихся до уровня языка «среднего» класса. Время, прошедшее с тех пор, показало полную несостоятельность таких прожектов без решения кардинальных социальных проблем общества, обнажив социальную демагогию буржуазного аппарата власти. Попытки учителей и лингвистов в целом ряде школ ФРГ получить подтверждение целей компенсаторного преподавания следует признать, по убеждению многих, полностью неоправдавшимися [11, с. 204]. Оказались безуспешными подобные усилия также и в США, хотя и здесь официальные инстанции связывали с идеями компенсаторного преподавания языка большие социально-политические надежды. Говоря об этом, И. Радтке, в частности, подчеркивает, что в условиях дискриминации различных национальных меньшинств в США такие группы, организуясь и выражая свои интересы коллективно, образуют «огромный революционный, т. е. в принципе опасный для самого существования данной общественной системы, потенциал» [11, с. 204].

Насколько об этом можно судить по его публикациям, У. Лабов не разделял как основные теоретические положения концепции Бернстайна, так и прагматические идеи, являвшиеся ее следствием. Как и Бернстайн, он занимался исследованием речевого общения представителей различных социальных групп общества, однако пришел при этом к иным выводам. Прежде всего У. Лабов не считал, что речь «низших» слоев общества характеризуется тем, что она представляет собой некий недоразвитый, неразвернутый («ограниченный») вариант речи представителей

«среднего» класса. Он не разделял также мнения о том, что оба типа речи реализуют отношения варьирования в рамках одной языковой формы в том смысле, что развернутый код формируется из ограниченного путем его дополнения и расширения. Напротив, У. Лабов исходит из того, что повседневная речь «низших» слоев представляет собой самостоятельную формацию языка («диалект», «нестандартный английский язык»), все более и более отличную «от диалекта среднего класса» [23, с. 18]. Таким образом, отношения типов речи следует рассматривать не как отношения части и целого внутри системы литературного языка, а как таковые двух разновидностей общенационального языка. В этом смысле У. Лабов возражал также против тех негативных оценок, которые Бернстайн давал речи «низших» слоев общества. «Говорят,— писал У. Лабов,— что в речи представителей среднего класса больше обдуманности в выборе слов, больше отвлеченных доводов, более объективна точка зрения, более ясны логические связи и т. д. Но логическая сложность речевого массива не раскрывается подсчетом количества придаточных предложений. Между когнитивным стилем речи и числом необычных прилагательных и союзов нет определенной связи» [24, с. 176]. Еще более строго эта мысль подчеркивается в «Резолюции Американского лингвистического общества», предложенной У. Лабовым и принятой членами Общества: «С точки зрения своего основного грамматического аппарата ни один из известных диалектов, стандартных или нестандартных, не является существенно более сложным, чем другой. Лингвисты пока не обнаружили речевого сообщества с таким родным языком, относительно которого можно было бы констатировать, что он является концептуально или логически примитивным, неадекватным или ущербным». А далее речь идет о том типе повседневного языкового общения «низших» слоев городского общества, который исследовал У. Лабов: «Нестандартные диалекты английского языка, на которых говорят семьи низших классов во внутренних городах Соединенных Штатов, являются вполне сформировавшимися языками, наделенными грамматической структурой, во всех отношениях достаточной для логического мышления. Противоположные заявления, принадлежащие некоторым ученым-психологам, основаны на ложной интерпретации поверхностных различий между этими диалектами и стандартным английским языком» [23, с. 27]. Отвечая этой резолюцией на реакционную евгеническую концепцию, используемую А. Йенсеном и «утверждающую неполноценность большей части цветного пролетариата, его неспособность к свободному концептуальному мышлению и ограниченность его возможностей ассоциативным мышлением» [23, с. 24], У. Лабов отклоняет тем самым как беспочвенную и самую гипотезу Бернстайна о «вербальном дефиците», лежащую в основе его теории языковых кодов [25].

Имея в виду такую равноположенность типов речи различных социальных групп общества, У. Лабов объявляет социолингвистику в целом «наукой о социально значащем выборе альтернативных способов говорения об одной и той же вещи» [23, с. 21].

У. Лабов не разделял также и тех надежд, которые возлагали на компенсаторное преподавание языка Б. Бернстайн и его сторонники, полагавшие, будто с помощью усиленного преподавания языка можно улучшить социальные перспективы «низших» слоев общества. Он писал: «Изменение в языковом поведении само по себе не оказывает большого влияния на социальное развитие; не отражается оно радикальным образом и на судьбе отдельных лиц» [9, с. 320]. Имея в виду различные демагогические соображения «высшего» класса общества по этому поводу, У. Лабов саркастически замечал: «С точки зрения доминирующей группы, социолингвистические исследования в таких обществах представляют собой нечто вроде благотворительной деятельности, имеющей целью доказать ущербность языка несчастных бедняков и помочь им подняться до уровня образованных и процветающих сограждан» [23, с. 24].

Таким образом, если теория кодов Бернстайна, центральным элементом которой было положение о функциональной недостаточности и вербальном дефиците ограниченного кода, стала известна, как отмечалось

выше, в качестве «гипотезы дефицита», то совокупность взглядов У. Лабова, в которых раскрывалась идея функциональной равноценности типов речи различных социальных групп общества, лишь свидетельствующих о наличии различных способов «говорения об одной и той же вещи», получила в кругах специалистов название концепции дифференциации языка [16, с. 63].

Следует подчеркнуть, что эти идеи У. Лабова встретили сочувствие и поддержку со стороны многих лингвистов в различных странах, а ряды апологетов Бернстайна с этого времени заметно убавились. В ФРГ, например, У. Аммон одним из первых обратил внимание на то, что состав речи тех социальных групп западногерманского общества, которые, по Бернстайну, следует соотносить с ограниченным кодом, определяется не столько неразвернутостью синтаксиса и бедностью словаря, сколько ролью местных диалектов, которые он не считал возможным ни приравнять к ограниченному коду, ни свести с ним в одно целое [26]. Взгляды У. Лабова оказались для многих привлекательными потому, что они представлялись «непредвзятым и более объективным толкованием социально типизированных языковых различий, не разделяющим дискриминирующей оценки языка низшего класса» [11, с. 203]. В равной мере они разделяли скептицизм У. Лабова относительно целей и возможностей языковой компенсаторики, считая, что в лучшем случае она может способствовать успеху отдельных учащихся, но не способна решить проблему «необходимой коллективной эмансипации низшего класса» [11, с. 203—204]. Многие лингвисты в ФРГ, имея в виду социальные проблемы капиталистического общества в целом, подчеркивали, что нельзя принимать язык за причинный фактор социально-экономического неравенства, коренные причины которого кроются в производственных отношениях [27]. Именно поэтому в ФРГ марксистская социолингвистическая критика требует, вместо компенсаторной адаптации более «низших» слоев к коду «средних» слоев, осознания самостоятельной ценности кодов более низших слоев как положительного средства солидаризации» [4, с. 229], как это и вытекает из концепции социально-языковой дифференциации У. Лабова и его сторонников.

Теоретические положения У. Лабова по всей своей сути являются прямой противоположностью концепции Бернстайна, но взятые сами по себе, вне их общественного резонанса, эти положения не могут служить долговременно эффективным инструментом социолингвистического действия.

Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что У. Лабов в своих рассуждениях не исходит из представления, что современный английский язык, взятый как целое, практически бытует в качестве определенных формаций (литературный язык, различные обиходно-разговорные типы речи — литературное и внелитературное просторечие, городские полудиалекты, диалекты города и села), иерархическая совокупность которых и образует понятие языка как средства национального общения. Для него язык существует как совокупность двух типов реализаций — стандартной и нестандартной, которые далее терминологически не уточняются. Правда, для типа речевого поведения «низших» слоев городского общества он иногда использует понятие «диалект», однако У. Лабов имеет здесь в виду понятие любой разновидности языка, применяемой какой-либо определенной группой, т. к. в другом месте диалектом объявляется и язык «среднего» класса [23, с. 18]. Противопоставляя понятие нестандартного языка стандартному, Лабов имеет в виду под первым любые речевые элементы (просторечие, жаргоны, диалекты), не соответствующие требованиям нормы стандартного языка. Отвлекаясь от такого лингвистически некорректного использования терминов, выступающих в роли неких обобщенных признаков нелитературных форм языка вообще, отметим, что полученная таким путем дихотомизация всего речевого репертуара социума лишает всей полноты и сложности изображение подлинного состава языка. При том богатстве эмпирического материала, на котором основаны исследования У. Лабова, такое огрубление речевой

действительности можно понять как попытку сосредоточить материал, подобно Бернстайну, только в двух языковых вариантах, которые бы соотносились с делением общества на два основных класса.

Можно допустить, что понятие нестандартного языка У. Лабов использует в качестве собирательного для всех возможных разновидностей нелитературного языка, от диалекта до городского просторечия, что может вполне соответствовать действительности, т. к. житель современного капиталистического города из «низших» социальных групп не является более монолингвом в том смысле, что может пользоваться только диалектом, а не более широким регистром национального языка. Если это так, то, с другой стороны, не идеализирует ли У. Лабов речевую компетенцию представителей «среднего» класса, поскольку при таком понимании в распоряжении этих социальных групп оказывается только один вариант — стандартный язык? Представляется, что такой подход У. Лабова обусловлен не тем, что он не видел подобного несоответствия, а целями максимально возможного обобщения структуры речи различных социальных групп. Напомним, что У. Лабов устанавливал, кроме стратификационной, наличие и ситуативной вариативности речи, при которой у всех информантов, независимо от того, с каким типом речи они более устойчиво могут быть соотнесены, наблюдалось возрастание числа форм литературного языка при смене характера непринужденного общения на официальное. Важно положение У. Лабова о том, что речевое распределение регулируется взаимодействием двух механизмов — стратификационного и ситуативного варьирования, причем свойство социального типизирования речи сохраняется за стратификационным варьированием [3]. К сожалению, эта линия построения У. Лабова не была им достаточно полно разработана и не оказала заметного влияния на главные выводы, затрагивающие проблему функциональной оценки устанавливаемых типов речи в языковом коллективе.

Наиболее сложным вопросом в концепции У. Лабова остается тезис о функциональной равноценности стандартного и нестандартного типов языка. Безусловно, У. Лабов был прав, утверждая, что языковое общество всегда располагает различными способами для осуществления какого-либо высказывания и что в принципе с помощью языковых средств, используемых одной группой населения, можно выразить тот же набор значений, который выражается средствами языка другой части населения [23, с. 23, 25—26]. Этот аргумент является одним из наиболее сильных возражений Бернстайну, который не проводил достаточно четкого различия между объемом и содержанием языкового высказывания и, напротив, очевидно, считал, что бóльшее количество языкового материала имеет и бóльшее содержание. Развивая несостоятельность такого постулата Бернстайна, У. Аммон отмечал, что хотя представители «высших» слоев обычно более пространно излагают свои мысли, большая сжатость высказывания (knappere Ausdrucksweise) «низших» слоев не обязательно передает меньшее количество информации [16, с. 65]. Однако, говоря строго, подобный, сам по себе верный, тезис, возможно, против воли У. Лабова может служить одним из способов рассматривать литературный язык не более как своеобразный социальный жаргон «высших» слоев общества, овладение которым представителями «низших» слоев не может быть продиктовано какими-либо прагматическими стимулами по причине равноценности различных форм языка. В связи с этим хочется заметить, что внутренне У. Лабов понимал роль литературного языка как общенационального продукта и признавал его сущностную ценность, когда писал, что «...любой человек может претендовать на доступ к образовательной и литературной традиции того общества, в котором он сформировался, даже если большая часть этих ценностей создана людьми, чуждыми его собственной культуре и не признающими его членом своего общества» [23, с. 13]. Однако возможности социальной лингвистики в условиях окружающей

[3] Ср., например, утверждение У. Лабова: «...наблюдая языковое поведение, мы можем детальным образом исследовать структуру классовой стратификации в данном обществе» [9, с. 334].

его общественной действительности он видел только в том, чтобы дать «критический анализ лингвистического базиса культурной традиции с целью изучения, насколько он отражает социальную реальность и способствует общению между всеми общественными группами» [23, с. 13]. Результатом этого, как мы видели, было «осознание самостоятельной ценности» нестандартного языка в его эквивалентном отношении к языку литературному. По этому поводу необходимо заметить, что логическим следствием такой постановки вопроса может явиться только ослабление социальных требований в отношении языка, дальнейшее примирение с существующим положением капиталистического общества, в котором экономической пауперизации может вполне соответствовать и «духовно-языковое обнищание» [16, с. 67]. С точки зрения таких выводов даже некоторые сторонники идей У. Лабова вынуждены признать, что гипотеза дефицита Б. Бернстайна предстает как общественно более релевантная, поскольку содержит не только указание на взаимозависимость формы языкового высказывания и ситуации общения, но и установку на необходимость для носителей языка соответствовать этим требованиям и условиям путем восполнения имеющегося речевого «дефицита» [11, с. 205], даже если это оказывается недостижимой целью в условиях капиталистического общества. Подчеркивается также, что, не принимая сущностных положений теории Бернстайна, можно хотя бы попытаться заставить «работать» идею компенсаторного воспитания в рамках дидактики языка на цели изменения самого общества [28]. Как видим, критика тех или иных положений теории У. Лабова определяется его собственной непоследовательностью. С одной стороны, он справедливо исходит из тезиса, что языковой социум характеризуется не столько согласием в использовании языковых элементов, сколько участием его членов в создании набора общих для всех норм, в соответствии с которым такой язык можно представить как некий континуум, элементы которого используются не только в зависимости от социально-стратификационного фактора, но и в соответствии с условиями социального общения. С другой стороны, реальная речевая действительность общества, о котором пишет У. Лабов, не находится в соответствии с этими правилами, и, может быть, поэтому на обобщающем этапе своих наблюдений он сосредоточивает свое внимание на каждой форме языка в отдельности, видя свою главную задачу в том, чтобы поставить нестандартный язык на одну плоскость с литературным (стандартным) языком. Тезис о функциональной равноценности различных форм существования языка, взятый сам по себе, в отрыве от того общественно-политического контекста, в котором У. Лабов на самом деле рассматривает проблемы общества и языка, может вполне быть использован для объяснения и даже оправдания существующего положения диглоссии современного американского общества. Теоретическое значение взглядов У. Лабова оценивается поэтому иногда лишь как своеобразная форма критики гипотезы языкового дефицита Б. Бернстайна, в результате чего принципиальное различие между обеими концепциями сводится только к вопросу о функциональной самостоятельности социально типизированных вариантов языка [11, с. 202—203].

С таким заключением мы не можем согласиться, т. к. теоретические положения У. Лабова, как мы их понимаем, не представляют собой простого результата критики гипотезы Бернстайна, выражением которой явилась реабилитация кода «низшего» класса. Совокупный эффект усилий У. Лабова, как выше было показано, безусловно, обладает самостоятельной ценностью. Однако, возвращаясь к одному из центральных положений концепции У. Лабова — функциональному статусу нестандартного языка, мы обращаем внимание на то, что более адекватному пониманию сущности вопроса соответствует иное представление, согласно которому национальный язык рассматривается в качестве иерархически организованной совокупности форм его существования, среди которых литературный язык «бесспорно занимает особое положение, воплощая языковое единство соответствующего социума» [29]. Из общественной необходимости литературного языка не следует, что любая ситуация общения требует его

непременного использования. Это обстоятельство хорошо известно на примере анализа структуры немецкого языка и было недавно лишний раз подчеркнуто В. Хартунгом, который при этом заметил, что даже в социалистическом обществе вполне сохраняется варьирование «литературных и нелитературных форм высказывания», обусловленное не столько стратификационными (statusbezogen), сколько ситуативными причинами [30]. Следовательно, историческое понимание характера развития национального языка не оставляет места для дискриминационного отношения к отдельным формам его реального проявления и образует надежную основу для адекватного социально-функционального описания его совокупного состава. Другое дело, что нередко, говоря о нестандартных диалектах английского языка, которые используют «семьи низших классов во внутренних городах Соединенных Штатов», У. Лабов имеет в виду не те или иные формы существования английского языка (диалект, полудиалект, обиходно-разговорные типы речи) в их соотношении с определенными социальными слоями общества, а те или иные типы речи, складывающиеся на основе английского языка и характерные для различных этнических групп американского общества. Именно такие группы были основным объектом изучения У. Лабова при исследовании им языковых особенностей населения Нижнего Ист-Сайда Нью-Йорка. Такой же подход был характерен для него и в последующее время. Так, говоря о типах «речевых коллективов» (speech community) в Филадельфии, он отмечает, что в основном там выделяются три группы: негритянская (black), пуэрториканская и «белая» (white), т. е. американцы европейского происхождения [31]. При этом, если последние соотносятся со стандартным языком, то нестандартность английского языка, неродного для пуэрториканцев, может быть обусловлена интерференцией латиноамериканской (испанской) речи. Таким образом, проблема социально-классовых отношений с точки зрения языка здесь уступает место этнолингвистической характеристике США, а поэтому не приходится ожидать выводов, касающихся корреляций между социально-функциональными типами национального языка и социально-классовой структурой американского общества. В этом отношении на позиции У. Лабова сказалось влияние положений американской этнолингвистики, в недрах которой зарождалась современная американская социальная лингвистика, а также отсутствие в американском языкознании традиций теоретического изучения понятия национального языка, его структуры и форм его существования.

В одной из своих статей, написанных специально для советского читателя [23, с. 5], У. Лабов отмечал, что в Советском Союзе ведутся «серьезные и важные социолингвистические исследования», и признавал, что «мы в Соединенных Штатах только еще начинаем процесс освоения советских работ и включения их результатов в круг наших собственных размышлений» [23, с. 5]. Следует надеяться, что ознакомление с имеющимся исследовательским опытом может способствовать достижению намеченной У. Лабовым цели — создать в США «социально реалистическую лингвистику» [8, с. 14].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Андреев Н. Д.* Хомский и хомскианство.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977.
2. *Жлуктенко Ю. А.* Философские основы теории усвоения языка Н. Хомского.— В кн.: Язык и идеология. Киев, 1981.
3. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики.— В кн.: *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977, с. 269.
4. *Яхнов Х.* Развитие и проблемы социолингвистики в ФРГ.— В кн.: Социолингвистические исследования. М., 1976, с. 220.
5. *Швейцер А. Д.* Вопросы социологии языка в американской лингвистике. Л., 1971.
6. *Швейцер А. Д.* Американская социолингвистика.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977, с. 206—208, 241—245, 252—256.
7. *Чемоданов Н. С.* Проблемы социальной лингвистики в современном языкознании.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. М., 1975.
8. *Labov W.* The social stratification of English in New York City. Washington, 1966.

9. *Лабов У.* Отражение социальных процессов в языковых структурах.— В кн.: Новое в лингвистике. Выпуск VII.
10. *Швейцер А. Д., Никольский Л. Б.* Введение в социолингвистику. М., 1978, с. 76—77.
11. *Radtke I.* Soziolinguistische Untersuchungen sprachlicher Variation und ihre Folgerungen für den Sprachunterricht. In: Beiträge zu den Sommerkursen 1975, Goethe-Institut. Als Manuskript gedruckt. München, 1975.
12. *Домашнев А. И.* Западногерманские «языковые барьеры».— ВЯ, 1980, № 1.
13. *Жлуктенко Ю. А.* Теория «языковых кодов» Б. Бернстайна и ее идеологическая направленность.— В кн.: Язык и идеология. Киев, 1981.
14. *Домашнев А. И.* Теория кодов Б. Бернстайна. Цели и результаты.— ВЯ, 1982, № 1.
15. *Rein K. L., Scheffelmann-Mayer M.* Funktion und Motivation des Gebrauchs von Dialekt und Hochsprache im Bairischen.— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1975, Hf. 3, S. 258.
16. *Ammon U.* Probleme der Soziolinguistik. Tübingen, 1977.
17. *Bernstein B.* Linguistic codes, hesitation phenomena and intelligence.— Language and Speech, 1962, v. 5, pt. 1.
18. *Bernstein B.* Social class, linguistic codes and grammatical elements. — Language and Speech, 1962, v. 5, pt. 4.
19. *König W.* DTV-Atlas zur deutschen Sprache. München, 1978, S. 137.
20. *Bernstein B.* Elaborated and restricted codes: their origins and some consequences.— American Anthropologist. Special publication. The ethnography of communication, 1964, v. 66, pt 2.
21. *Schönbach P.* Zur Problematik der Sprachbarrierenforschung: Perspektiven eines Sozialpsychologen.— In: Gegenwartssprache und Gesellschaft. Düsseldorf, 1972.
22. *Jäger S.* Arbeitsbericht der Gruppe «Kompensatorischer Sprachunterricht (Sprachbarrieren)».— In: Gegenwartssprache und Gesellschaft. Düsseldorf, 1972, S. 115—117.
23. *Лабов У.* Единство социолингвистики.— В кн.: Социально-лингвистические исследования. М., 1975.
24. *Лабов У.* Исследование языка в его социальном контексте.— В кн.: Новое в лингвистике. Выпуск VII.
25. *Labow W.* The logic of nonstandard English.— In: *Bailey R. W., Robinson I. L.* Varieties in present-day English. London — New York, 1973.
26. *Ammon U.* Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule. Weinheim, 1972.
27. *Niepold W.* Sprache und soziale Schicht, Darstellung und Kritik der Forschungsliteratur seit Bernstein. 5. Aufl. Berlin, 1972, S. 71.
28. *Ammon U., Simon G.* Neue Aspekte der Soziolinguistik. Weinheim — Basel, 1975, S. 109.
29. *Гузман М. М.* Введение.— В кн.: Типы наддиалектных форм языка. М., 1981, с. 6.
30. *Hartung W.* Theoretische Positionen zur sprachlichen Differenziertheit.— In: Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte. Berlin, 1980, S. 13—14.
31. *Rosen L.* An interview with William Labov.— The English journal, 1979, v. 68, № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

АЛПАТОВ В. М.

О ДВУХ ПОДХОДАХ К ВЫДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

Одним из основных вопросов лингвистического описания является вопрос о выделении единиц языка. Другой вопрос, тесно с ним связанный,— вопрос об иерархии лингвистического описания. Применительно к грамматике можно выделить два основных решения этих вопросов [1].

Первый путь, сложившийся намного ранее другого, мы условно назовем словоцентрическим. Он основан на том, что главной единицей языка считается слово и анализ начинается с выделения слов, от которых затем происходит переход к выделению как более кратких (морфем), так и более протяженных (словосочетаний, иногда и предложений) единиц языка. Суть такого подхода хорошо охарактеризовал А. И. Смирницкий: «Не случайно человеческий язык нередко называют языком с л о в... Таким образом, . . . слово должно быть признано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы языка (например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо грамматические построения) так или иначе обусловлены наличием слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, как слово... Морфемы выделяются лишь в результате анализа уже самого слова; словосочетания же, как правило, . . . уже выходят за пределы словарного состава языка» [1, с. 11].

Словоцентрический подход связан с самыми истоками европейской лингвистической традиции. Античные ученые исходили из первичности слова, считавшегося минимальной значимой единицей. Аристотель писал: «Имя есть такое звукосочетание с условным значением..., ни одна часть которого отдельно от другого ничего не означает» [2, с. 93]; «Глагол есть [звукосочетание], обозначающее еще и время; часть его в отдельности ничего не обозначает» [2, с. 94]. Позднее стало практиковаться выделение значимых частей слов. В XX в. было выработано общее понятие морфемы, которое при словоцентрическом подходе рассматривается как минимальная значимая часть слова. Однако противопоставление слова как реальной сущности его значимым частям как абстракциям можно встретить у самых различных ученых [3, 4].

При словоцентрическом подходе слово рассматривается как единица с заранее заданными границами, при этом понятие слова считается достаточно ясным. Типичный пример — книга А. М. Пешковского [5] [2]. В то же время в последние десятилетия традиционное понятие слова начинает определяться и уточняться (работы, обосновывающие словоцентрический подход, наиболее характерны именно для советской лингвистики [7, 8]).

С начала XX в. появляется принципиально иной подход к выделению единиц языка, который условно может быть назван несловоцентрическим. Быть может, первым такую точку зрения высказал И. А. Бодуэн де Куртенэ [3]. В своей опубликованной в 1904 г. работе [9] он пояснял предлагаемое

[1] Особое место занимают исследования генеративистов, которые мы здесь не рассматриваем. Отметим лишь, что в них проблема выделения слова и других единиц, о которых пойдет речь в статье, обычно снимается и как одноуровневые рассматриваются единицы, сходные по семантике, но обладающие различной структурной сложностью.

[2] Проблеме определения понятия слова посвящена специальная статья Пешковского [6]. Но в книге, ориентированной на широкого читателя, он счел возможным не останавливаться на этом вопросе.

[3] Позиция И. А. Бодуэна де Куртенэ по этому вопросу (как, например, и по вопросу о фонеме) с годами менялось. Но важно, что и здесь этот выдающийся ученый выступал как первооткрыватель.

им выделение единиц языка на примере разбора русского предложения *На то щука в море, чтоб карась не дремал.* Производится два независимых друг от друга членения этого предложения: интонационно-фонетическое (вплоть до фонем как предельных единиц анализа) и морфологическое. В последнем случае выделяются сначала два простых предложения (*на то щука в море* и *чтобы карась не дремал*), затем они членятся на простые синтаксические единицы — семасиологически-морфологические слова (*на то, щука, в море, чтоб ... не дремал, карась*), наконец, производится членение на морфемы (*на-, -т-, -о, щук-, -а, в-, -мор-, -е* и т. д.) [9, с. 535; перепечатано в 10, т. 2, с. 78].

Спустя два десятилетия несловоцентрический подход сформулирован Л. Блумфилд, выделявший прежде всего единицы, названные им формами (морфема считалась минимальной формой). Затем последовательно выделялись слово, словосочетание и предложение [11]. Несловоцентрический подход в том или ином виде широко распространен в современных работах. В виде одного из примеров можно привести книгу И. Ф. Вардуля [12, с. 100, 215, 229].

При несловоцентрическом подходе слово уже не занимает того места, что в словоцентрических концепциях. Исследователь идет последовательно от более протяженных единиц к более кратким (И. А. Бодуэн де Куртенэ) или в обратном порядке (например, Л. Блумфилд) [4]. При этом слово в традиционном смысле уже не считается первичной и главной единицей, оно ставится в один ряд с другими единицами языка и может даже не выделяться вообще (хотя И. А. Бодуэн де Куртенэ пользуется термином «слово», он в разбираемом предложении вообще не выделяет такие единицы, как *море, чтоб, то*).

Указанные два подхода не всегда четко разграничены: даже в такой в целом словоцентрической по принципам работе, как академическая «Грамматика русского языка» говорится, что предложение может распадаться на словосочетания или непосредственно на слова, словосочетания делятся на слова, а слова могут делиться на морфемы [14, т. I, с. 10—11]. Совмещение двух указанных подходов наблюдается в работе Дж. Лайонза, комбинирующего традиционную (словоцентрическую) и дескриптивную (несловоцентрическую) модели [15, с. 193—219]. Кроме того положения, логически связанные со словоцентрическим подходом, например, понимание лексемы как множества словоформ, можно обнаружить у лингвистов, с этим подходом не связанных [12, с. 200—201]. Тем не менее принципиальные различия двух приведенных точек зрения несомненны.

Выбор одной из двух точек зрения сопряжен с рядом логических следствий. Укажем на несколько из них, обращая внимание на преимущества и недостатки каждого из подходов. Рассмотрение слова как первичной единицы тесно связано с представлением о нем как о единице комплексной, обладающей одновременно лексическими, морфологическими, синтаксическими, фонетическими свойствами. Несловоцентрические концепции не требуют такого понимания слова, поэтому в них часто слову в традиционной трактовке соответствует несколько единиц, не обязательно совпадающих по протяженности. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ выделяет фонетическое и семасиологически-морфологическое слово, И. Ф. Вардуль — глоссемы, синтаксемы и фраземы. Ряд лингвистов идет еще дальше, например, С. Е. Яхонтов выделяет пять единиц: графическое, фонетическое, словарное, флективное и цельное слово [16].

Понимание слова как комплексной единицы вызывает ряд трудностей даже для европейских языков. Эти трудности хорошо известны: служебные слова являются отдельными словами с морфологической точки зрения, но не с синтаксической; фразеологизмы как единицы лексики не отличаются от знаменательных лексем, но с синтаксической точки зрения представляют собой словосочетания. Особые результаты дает применение акцентуационных и интонационных критериев, в связи с чем часто и сторонники словоцентрического подхода различают собственно слово и фонетическое

[4] Ср. также путь «предложение — морфема — слово», представленный, например, у Б. А. Успенского [13, с. 71—85].

слово. Все так называемые комплексные определения слова не дают возможности членить текст на слова. К этому выводу фактически пришел А. И. Смирницкий, который, выделив два признака отдельного слова — цельнооформленность и идиоматичность (соответственно морфологический и лексический), указал, что по этим признакам не всегда выделяются те же самые единицы. Поэтому в конечном итоге он признал определяющим признаком слова цельнооформленность [7, с. 34—35]. Рассмотрение морфологического, синтаксического, лексического слов как разных единиц снимает указанные трудности.

Решение А. И. Смирницкого полностью соответствует традиции. Действительно, при традиционном членении на слова выделяются прежде всего словоформы, т. е. единицы морфологические. В понятии словоформы обобщается два класса единиц. Во-первых, это последовательности, состоящие из лексической единицы (основы) плюс наиболее тесно связанные с ним грамматические элементы (аффиксы). Такие единицы называются знаменательными словами (в частном случае аффикс может и отсутствовать). Во-вторых, это те грамматические элементы, которые не образуют тесного единства ни с какой лексической единицей. Такие единицы называются служебными словами. То, что именно морфологический критерий является решающим, видно уже из того, что служебные слова считаются словами и строго отграничиваются от аффиксов, хотя типичные служебные слова (например, предлоги или артикли) не отличаются от аффиксов ни с фонетической, ни с синтаксической, ни с семантической точек зрения, но различаются по степени спаянности с основой. Как говорил А. М. Пешковский, служебные слова — «это как бы оторвавшиеся от основ аффиксы, свободно передвигающиеся по поверхности языка» [5, с. 40]. Критерий цельнооформленности А. И. Смирницкого выделяет именно словоформы.

А. И. Смирницкий [17], а затем А. А. Зализняк [18, с. 20—22] исходят из того, что единица словаря (лексема) не тождественна словоформе, но совпадает с ней по протяженности. Лексема рассматривается как класс словоформ, имеющих общую лексическую часть и различные грамматические части. Как писал А. И. Смирницкий, «чтобы выделить в словоформах лексическое, ... необходимо... о т в л е ч ь с я от грамматического момента в каждой словоформе, представляющей собой одно и то же слово» [1, с. 15].

Другая точка зрения на этот вопрос, не связанная со словоцентрическим подходом, была впервые сформулирована, видимо, Ш. Балли, критиковавшим традиционный подход к слову. По Ш. Балли, лексическая единица — семантема — для флективных языков равна основе, в ее состав не входят грамматические элементы, в частности, аффикс именительного падежа или аффикс инфинитива [19, с. 316—317]. Можно указать и некоторые работы, в частности, востоковедные, где предлагается единицей лексики считать основу [20].

Первая точка зрения кажется интуитивно более приемлемой. Но в то же время вторая точка зрения проще. Рассмотрение в качестве лексической единицы некоторой последовательности с лексическим значением вместе с определенными грамматическими элементами, от которых обязательно надо затем о т в л е ч ь с я, при прочих равных условиях сложнее, чем рассмотрение в качестве лексической единицы просто элемента с лексическим значением (основы).

С признанием совпадения по протяженности словоформы и лексемы связана еще одна проблема. В словоцентрических концепциях обычно считается, что лексическое и грамматическое значения в слове не только распределены между отдельными морфемами, но и присущи слову в целом. Этот взгляд также восходит к античности. Отсюда закономерно делался вывод, что, например, категория падежа связана не с присоединением к основе падежных аффиксов, а с изменением всего слова по сравнению с исходной формой именительного падежа. Отсюда традиционные термины «склонение», «словоизменение». Такая точка зрения существует и поныне: ср. высказывание Дж. Лайонза: «Латинские (и греческие) слова не поддаются сегментации на морфы» [15, с. 204].

Во многих исследованиях нового времени, исходящих из словоцентрического подхода, принимается компромиссная точка зрения: с одной стороны, признается существование корневых и аффиксальных морфем, с другой стороны, говорится о лексическом и грамматическом значении слова в целом. В таком случае оказывается, например, что некоторое грамматическое значение присуще всей словоформе, включая и ее лексическую часть. Такая точка зрения представляется сложной и недостаточно логичной.

С несловоцентрическим подходом связано другое понимание соотношения между единицами языка и их значением: считается, например, что в латинской или русской словоформе лексическое значение содержится в основе, а падежное и числовое — в аффиксе (ср. точку зрения Ш. Балли).

Выбор между традиционным подходом, не выделяющим морфемы в составе слова, и несловоцентрическим подходом зависит от конкретных фактов исследуемых языков. В случае латинского или русского склонения достаточно ясно выделяются сегменты с лексическим и грамматическим значением (процедура их выделения хорошо показана еще А. М. Пешковским), поэтому и здесь несловоцентрический подход оказывается предпочтительнее. Однако иначе следует трактовать случаи так называемой внутренней флексии. Последовательно примененные в работах некоторых дескриптивистов принципы несловоцентрического анализа, при которых, например, в англ. *sing* и *sang* выделяются прерывная основа и инфиксы, представляю ся неприемлемыми.

Еще одно различие между двумя подходами видно в отношении словообразования. Традиционно считается, что производное слово образовано от другого (производящего) слова [21, с. 9]. Впрочем, при этом иногда вводится и понятие мотивирующей базы, которая может быть равна как целому слову, так и основе [21, с. 9—10]. При несловоцентрическом подходе словоформа рассматривается как последовательность морфем с определенным значением. Среди этих морфем выделяются и деривационные. Деривация при этом трактуется как присоединение деривационного аффикса к основе, а словосложение — как соединение корневых морфем.

Помимо того, что и в словоцентрической модели приходится отвлекаться от грамматических аффиксов, особые трудности возникают тогда, когда в языке отсутствует производящее слово или производящим словом можно с равными правами считать несколько разных слов [см. 21, с. 92—97]. Если для русского языка такие случаи не так часты, то для многих языков с развитым корнесложением нормой является существование сложных лексем, компоненты которых самостоятельными лексемами не являются. В качестве примера приведем китайский слой лексики в японском языке. Здесь понятие производного слова теряет смысл [5].

Таким образом, сравнение двух подходов к языку как будто бы свидетельствует о преимуществах несловоцентрического подхода [6]. К сказанному выше можно добавить, пожалуй, самый серьезный аргумент — универсальность несловоцентрического подхода. Словоцентрический подход основан на интуитивной очевидности понятия слова, которое носители европейских флективных языков (возможно, и некоторых других) воспринимают как непосредственную данность (что не исключает существования отдельных спорных случаев). Но для языков иного строя исходить из такой очевидности невозможно. Применение словоцентрического подхода в его привычном для нас европейском варианте к каждому языку, хорошо известное по так называемым миссионерским грамматикам, а иногда существующее и поныне, показало свою неадекватность для многих язы-

---

[5] Традиционная словообразовательная модель связана не только со словоцентризмом, но и с тем, что словообразование складывалось как диахроническая дисциплина.

[6] Единственное, кажется, преимущество словоцентрического подхода в том, что оно дает возможность однотипно трактовать аффиксацию и внутреннюю флексию, а эти явления иногда скрещиваются (ср. образование глагольных форм в германских языках).

ков [7]. Описания ряда «экзотических» языков с позиций словоцентризма привели к очень большому разнобою. Например, простое японское предложение *Анохито ва хон-о ёндэ иру* «Он читает книгу» записывается разными авторами с точки зрения раздельного, слитного и полуслитного написания по крайней мере восьмью способами [22]. На выделение слов оказывает влияние и такой фактор, как родной язык исследователя: то, что в ряде работ советских японистов считается падежными аффиксами, все английские и американские японоведы называют послелогами или частицами.

Несловоцентрические концепции, обычно исходящие из первичности морфемы по отношению к слову, несмотря на свои собственные трудности, оказываются более универсальными, поскольку «морфема, как более простая единица, интуитивно яснее, чем слово: в частности, тут не может быть таких переходных этапов, которые имеют место при оценке служебных морфем в аналитических конструкциях (когда неясно, следует ли считать эти формы словом или морфемой)» [13, с. 53] [8].

Отметим, что из различных понятий, традиционно объединяемых в понятии «слово», именно понятие словоформы оказывается наименее применимым к нефлективным языкам. Между наиболее типичными аффиксами и наиболее типичными служебными словами европейских языков (ср., например, падежные аффиксы и предлоги) есть два несомненных различия: аффиксы присоединяются фузионно, служебные слова агглютинативно, аффикс неотделим от основы, к которой присоединяется, служебное слово может отделяться от нее. Грамматических элементов промежуточного типа (агглютинативных и неотделяемых) в латинском или русском языках немного; характерно, что именно при наличии таких элементов становятся неочевидными границы слова [см. 23, с. 358—379]. В то же время для многих языков очень характерны промежуточные единицы, называемые то «агглютинативными аффиксами», то «послелогами», то «частицами». Критерии выделения словоформ в таких языках оказываются неясными. Видимо, не случайно, что с несловоцентрическим подходом так тесно связана дескриптивная лингвистика, во многом ориентированная на описание языков, по строю отличных от европейских.

Казалось бы, из всего сказанного можно сделать вывод, что словоцентрический подход имеет много недостатков и должен быть отвергнут. Однако почему же он господствовал в европейской лингвистике более двух тысячелетий? Почему он до сих пор преобладает, например, в русистике? Почему многие его положения кажутся носителям русского языка интуитивно справедливыми? Видимо, для этого должно быть какое-то основание. И такое основание имеется. Однако оно не собственно лингвистическое, а психолингвистическое.

В этой связи интересными представляются нам соображения А. Н. Головастикова [24], который исследовал описанную А. Р. Лурией афазию, известную под названием «телеграфный стиль». При ней нарушается способность образовать нужные формы слов (ср. диалог:— «Кем работаете? — «Гравер».— «Что делаете» — «Рисовать») и происходит смещение похоже звучащих слов (услышав слово *скрипка*, больной не может произнести после него слово *скрепка*).

Можно предполагать, что «при смешении похожих слов первое слово, активированное в результате повторения, „забивает" все остальные похожие на него слова. По-видимому, аналогичным образом одна из словоформ „забивает" все остальные» [24, с. 42]. При данной афазии чаще всего порождаются лишь формы именительного падежа единственного числа для существительных и инфинитива для глаголов. Это свидетельствует, что скорее всего в мозгу носителей языка словоформы образуются не от основы

[7] Мы не рассматриваем здесь проблему, к каким именно языкам применим, а к каким неприменим словоцентрический подход в его европейском варианте. Важно лишь, что он не всегда применим. На наш взгляд, он, в частности, непригоден для японского языка.

[8] В этой цитате слова «интуитивно яснее», видимо, надо понимать в смысле «яснее по природе», а не «яснее по границам».

путем прибавления флексий, а от некоторых первичных словоформ [24, с. 42—43]. Но такое понимание связано со словоцентрическим подходом: при иной точке зрения формы именительного падежа и инфинитива существенно не отличаются от других словоформ, о чем писал, например, Ш. Балли [19, с. 316].

Мы полностью согласны с А. Н. Головастиковым, что исследования подобного рода афазий свидетельствуют о том, что словоцентрические модели более психологически адекватны. «... Очень вероятно, что многие словоформы ... хранятся в человеческом мозгу в готовом виде, хотя наряду с этим могут быть и синтезированы» [24, с. 43].

В сущности и многие обоснования словоцентрического подхода основаны на психолингвистических критериях. Ср. у А. И. Смирницкого: «Слово с лексической точки зрения не есть какой-то обрубок. Слово *окно* как лексема, как единица словаря, есть все же окно или, в известных случаях, *окна́*, *окну*, *о́кна* и пр., но не *окн-*» [1, с. 14]. Как уже говорилось, точку зрения, согласно которой единицей лексики признается элемент типа *окн-*, следует признать более простой. Но против этого говорит наша интуиция, т. е. неосознанные психолингвистические представления, в соответствии с которыми основной единицей языка не может быть то, что представляется «обрубком». На психолингвистических представлениях, видимо, были основаны и высказывания А. А. Потебни, Э. Сепира и др. о том, что слово реально существует, а его значимые части — нет. С этой точки зрения может быть объяснена и та кажущаяся нелогичность, по которой слово делится на лексическую и грамматическую части и в то же время все в целом обладает и лексическим, и грамматическим значением; в мозгу носителей, например, русского языка находятся словоформы, с которыми связывается определенная сумма лексического и грамматического значений. В то же время словоформа может быть разложена на значимые части, а в особых случаях и синтезирована из этих частей.

Итак, традиционные представления о слове, видимо, основаны на некоторой психологической реальности[9].

Но надо объяснить трудности словоцентрического подхода в применении ко многим языкам. Мы далеки от мысли о том, что разные народы обладают разным психолингвистическим механизмом; такой взгляд, во многом отраженный в гипотезе Б. Уорфа, опровергается всей историей человечества. Этот механизм принципиально един, но нет ничего удивительного в том, что имеются некоторые частные различия: ведь сами языки при принципиальном единстве их строения имеют различия в своей структуре. Одна из универсалий психолингвистического механизма, видимо, в том, что в мозгу говорящих некоторые единицы существуют в виде готовых блоков. Эти единицы не должны быть слишком краткими, например, быть равными фонемам, поскольку процесс формирования высказываний был бы слишком сложным. Но они и не должны быть слишком протяженными, тогда бы затруднительным стало их хранение в мозгу. Должен достигаться оптимум. Для носителей русского и сходных с ним языков такая единица, несомненно, слово. Ближайший чисто лингвистический аналог слова — словоформа.

Но человеческие языки очень различны по структуре и вполне возможно, что эти различия связаны и с характером тех единиц, которые хранятся в мозгу как готовые блоки. Свидетельствовать об этих различиях могли бы данные об афазии в языках разной структуры, которыми мы, к сожалению, в настоящее время не располагаем. Однако есть и другое, косвенное свидетельство таких различий: существование национальных лингвистических традиций. Вся европейская традиция построена на словоцентризме. В других традициях единицы языка выделяются по-другому. Например, в японской традиции основной единицей считается «го». Не-

[9] Нельзя исключить и обратное влияние лингвистической традиции на представления носителей языка через школу. Ср. в приведенном описании афазии представление об инфинитиве как исходной форме глагола, которое трудно семантически обосновать. Интересны также разные представления об исходной форме глагола у разных народов.

сколько огрубляя ситуацию, можно сказать, что знаменательные «го» соответствуют основам, а служебные — грамматическим аффиксам и служебным словам (эти два класса единиц не разграничиваются вообще). Именно «го» записываются в словарях. Минимальной единицей синтаксиса считается сочетание знаменательного «го» со служебным. Таким образом, европейскому понятию слова в японской традиции соответствуют две единицы, ни одна из которых вообще не соотносима со словоформой. Аналога последнего понятия в японской традиции вообще нет, и он не был выработан даже после знакомства японских ученых с европейским языкознанием. Однако, несомненно, при разном соотношении с единицами языка «го» занимает столь же важное место в японской традиции, что слово в европейской. Можно предположить, что психолингвистическая (но не лингвистическая) значимость «го» и слова соответствуют друг другу и именно «го», а не словоформы, о которых носители японского языка обычно не имеют представления, являются центральными единицами в психолингвистическом механизме японского языка [25; 26, с. 25—31].

Данные неевропейских лингвистических традиций, таким образом, не подтверждают гипотезы о том, что именно словоформа должна быть в центре лингвистического описания любого языка. Психологически адекватные модели языков должны строиться по-разному и действительно строятся по-разному в различных лингвистических традициях.

Однако наряду с психологически адекватными моделями должны строиться и модели, которые могли бы описывать языки мира на единых основаниях. Подобные модели необходимы для сопоставления языков и выявления универсальных свойств языка. Для этих целей, которыми не исчерпывается языкознание, несловоцентрические модели, как мы стремились показать, удобнее словоцентрических. Первые явно ориентированы на универсальные свойства языка, вторые принципиально не отграничивают их от типологических особенностей языков, для описания которых они выработаны.

Поэтому как словоцентрический, так и несловоцентрический подходы исключительно важны и не отрицают, а дополняют друг друга. Не следует считать правильным только один из них. Несловоцентрический подход предпочтительнее для целей типологии, а словоцентрический подход позволяет приблизиться к построению психологически адекватных моделей языка [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове.— В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
2. *Аристотель.*— Соч. Т. 2. М., 1978.
3. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958, с. 26.
4. *Сепир Э.* Язык. М., 1934, с. 26—27.
5. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном отношении. 7-е изд. М., 1956.
6. *Пешковский А. М.* Понятие отдельного слова.— В кн.: *Пешковский А. М.* Сборник статей по языкознанию. М., 1925.
7. *Смирницкий А. И.*— Лексикология английского языка. М., 1956.
8. *Кузнецов П. С.* Опыт формального определения слова.— ВЯ, 1964, № 5.
9. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Язык и языки.— Энциклопедический словарь. Изд-во Брокгауза и Эфрона. СПб., 1904, т. 81.
10. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по языкознанию. М., 1963.
11. *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960, с. 146—148.
12. *Вардуль И. Ф.* Основы описательной лингвистики (синтаксис и супрасинтаксис). М., 1977.
13. *Успенский Б. А.* Структурная типология языков. М., 1965.
14. Грамматика русского языка. Т. I—II. М., 1952—1954.
15. *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.

[10] То, что некоторый способ описания может быть лучше для описания конкретного языка, но хуже для целей типологии, поясним на частном примере из другой области. Для описания правил немецкого порядка слов удобно правило о том, что глагол-сказуемое обычно занимает второе место в предложении. Описание, основанное на порядке подлежащего и дополнений относительно сказуемого, сложнее. Но для многих языков описание порядка в терминах 1-го, 2-го и т. д. места в предложении неприменимо, а описание в терминах взаимного порядка более универсально.

16. *Яхонтов С. Е.* О значении термина «слово».— В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.— Л., 1963.
17. *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (Проблема «торжества слова»).— Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. IV. М., 1954.
18. *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967.
19. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
20. *Габучян Г. М., Ковалев А. А.* О проблеме слова в свете фактов арабского литературного языка.— В кн.: Арабская филология. М., 1968.
21. *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.
22. *Пашковский А. А.* Синтагматические границы слова в японском языке.— В кн.: Японская филология. М., 1968, с. 7.
23. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии. М., 1965.
24. *Головастиков А. Н.* К проблеме психологической адекватности моделей русского словоизменения: Тезисы рабочего совещания по морфеме (ноябрь 1980). М., 1980.
25. *Алпатов В. М.* Об особенностях японской лингвистической традиции.— ВЯ, 1978, № 4.
26. *Алпатов В. М.* Структура грамматических единиц в современном японском языке. М., 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

КУМАХОВ М. А.

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ СЛОВА И МОРФЕМЫ В ЯЗЫКЕ УСТНОЙ ПОЭЗИИ

В разные периоды истории языкознания господствуют различные взгляды на основной объект лингвистических исследований, что является закономерным с точки зрения развития самой науки о языке. В эпоху младограмматиков главным считалось изучение письменных памятников и отчасти живых «языков», т. е. территориальных диалектов, на основании которого строились реконструкции праязыковых состояний и гипотезы об историческом развитии языка (языков). В последующие периоды на передний план выдвигаются литературные языки, изучение их структуры, построение на материале письменно-литературного языка новых теоретических концепций. Каждое из этих направлений имеет не только свои достоинства, но и недостатки, ибо не учитывает всего многообразия функционирования языка.

В современном теоретическом языкознании определение статуса, соотношения и развития таких фундаментальных единиц, как предложение, слово, морфема, строится, как правило, на материале литературного языка. То же самое можно сказать о проблемах лингвистики текста, так называемых сверхфразовых образованиях, синтаксических единицах, более значительных, чем предложение. (Вообще современные теории предложения и слова целиком и полностью основываются на данных письменно-литературного стандарта.) Такой подход не кажется нам бесспорным и, главное, достаточным для всестороннего изучения таких сложных и многоаспектных явлений, как предложение, слово и морфема. Функциональный статус основных языковых единиц, в частности, слова и морфемы, их эволюция и взаимоотношения между собой, их связи с другими элементами языка зависят от многих факторов. Не все эти факторы, как увидим ниже, учитываются при решении рассматриваемой проблемы.

О поэтическом языке в последнее время пишут много. Однако этот вопрос, за редким исключением, рассматривается на материале письменной (литературной) поэзии. Между тем поведение слова и морфемы далеко не всегда тождественно, например, в кодифицированном письменно-литературном языке и языке устной поэзии. Письменно-литературная форма «... является сдерживающим средством стихийного развития языка» [1]. Для языка устной поэзии характерно именно развитие без сдерживающих факторов письменности, что в значительной степени и определяет его специфику. Еще более своеобразной функция слова и его значимых частей становится в языке жанров устно-поэтического творчества, существующих только в музыкальной форме. В этом случае на слово и морфему оказывает воздействие не только особое ритмико-синтаксическое строение текста, но и другой важнейший компонент языка устной поэзии — напев.

Вопрос о характере связи слова и напева в произведениях устно-поэтического творчества является отнюдь не только лингвистическим [2]. В данной статье рассматривается один из аспектов этой проблемы — изменчивость функционального статуса слова и морфемы, их структурные преобразования в языке устной поэзии на материале разных жанров адыгского (черкесского) фольклора, в том числе древнего героического нартского эпоса, характеризующегося чрезвычайно богатыми и глубокими традициями, разнообразными приемами и средствами языка, стиля, поэтики и композиции. При этом рассматриваемые явления в значительной мере,

по-видимому, носят универсальный характер, поскольку в языке устной поэзии действуют закономерности, характерные для языков разных типов. Прежде всего речь идет о специфических чертах трансформации слова и морфемы в единицы фонетического уровня, а не об обычной утрате ими своей функции в результате морфологических и фонетических процессов в ходе исторического развития языка. В языке устной поэзии переход двуплановой языковой единицы в единицу одноплановую не обязательно сопровождается морфологическими и фонетическими модификациями ее строения. Слово сохраняет свое морфологическое строение (членимость на морфемы, если оно производно морфологически), морфема и слово фонетически остаются устойчивыми, хотя их функциональный статус меняется, становясь единицами другого уровня, лишаясь значения двуплановых единиц.

Общепринято мнение, что основным элементом устно-поэтического творчества является слово. Однако не вызывает сомнения и то, что значение слова неодинаково в разных жанрах и разных разновидностях одного и того же жанра устно-поэтического творчества. В древнем обрядовом гимне (песне в честь богов, героев и др.) слово — основа произведения: оно может иметь не только магическое, метонимическое или метафорическое значение, но и исходную и однозначную функцию. В этом отношении древний обрядовый гимн не составляет исключения. Несколько иначе обстоит дело с другими жанрами устной поэзии. Произведения многих жанров существуют в певческой форме или исполняются под аккомпанемент музыкальных инструментов. Так, основное ядро древнего нартского эпоса адыгских (черкесских) народов поется, что оказывает влияние на слово и его морфологически значимые элементы. Поются и произведения многих других жанров. Если основные произведения устной поэзии поются, то в значительной степени снимается противопоставление поэзия — песня, ибо они оказываются во многом тождественными. Именно так и обстоит дело с устной поэзией многих народов Кавказа (и не только Кавказа).

Слово в фольклорном произведении может существовать, разумеется, без напева, поскольку прозаические формы устно-поэтического творчества (сказка, легенда и др.) имеют широкое распространение у разных народов. Но почему-то считается, что напев, в отличие от слова, не обладает подобной независимостью, т. е. существование напева ставится в зависимость от семантически полнозначного слова. Многие авторы разделяют мнение, согласно которому «напев без слов обычно не существует» [3]. Положение о соотношении слова и напева в народной песне иногда формулируется в очень категоричной форме: «Народные песни представляют собой нераздельно-целостное, внутренне связанное единение музыкального напева и текста: ни напев песни, отдельно взятый от текста, ни текст ее сам по себе в народе не существует» [4]. В подавляющем большинстве случаев это положение, по-видимому, не вызывает возражений. Но важно не только наиболее часто встречающееся явление, но и отклонения от него, исключения из общего правила. А исключения нередко многочисленны и представляют значительный интерес с разных точек зрения. Во всяком случае, нет оснований объявить очевидное, часто повторяемое явление универсальным, всеохватывающим, распространив его на все жанры устно-поэтического творчества. В арсенале фольклорного творчества разных народов немало произведений, не включающих слов, семантически осмысленных. Причем произведения этого рода функционально многообразны. Сюда могут быть отнесены, например, древнейшие обрядовые, трудовые и другие песни. Ср. трудовые и обрядовые песни: у кабардинцев *мэкъуауэ уэрэд* «древняя песня косарей» [5, с. 43], у шапсугов *нысэкъыкIэшь уэрэд* «песня вывода невесты» [5, с. 130], у черкесов *шъауэйышэн уэрэд* «песня сопровождающих жениха» [5, с. 160] и др. Произведения этого рода функционально четко обозначены и дифференцированы. Кроме того — и это важно — за ними закреплено общее название *уэрэд* «песня». Иными словами, для песни, в том числе обрядовой, необязательно соединение семантически полнозначного слова и напева, вопреки утверж-

дению многих исследователей. На материале обрядовой поэзии разных народов подтверждается положение: «Устойчивый текст существует лишь в той мере, в какой устойчив сам обряд» [6]. В народных песнях, несущих разные и существенные функциональные нагрузки, далеко не всегда слово выполняет инвариантную функцию. Вместе с тем песни рассматриваемого типа, хотя и не включают семантически значимые слова, обладают давними традициями. Будучи связаны с конкретными трудовыми процессами и с семейными обрядами и другими сторонами жизни, эти песни восходят к древней художественной культуре народа.

По своему строению народные песни рассматриваемого типа многообразны. Они могут быть построены на повторе внутри первого стиха песенного рефрена, лишенного лексического значения. Этот же стих с незначительными фонетическими изменениями конечного гласного повторяется дважды, что и составляет весь «текст» древней трудовой песни косарей [5, с. 43]. Другие песни отличаются более сложным и разнообразным строением стиха, хотя не включают ни одного семантически значимого слова, не утратившего своего значения. По-видимому, отдельные компоненты песни никогда не имели своего лексического значения, т. е. они были лишь фонетически организованными отрезками, достаточными для ритмико-мелодического построения стиха.

Однако, судя по всему, в некоторых песнях этого типа отдельные элементы, представляющие лишь фонетический отрезок в их синхронном состоянии, исторически восходят к самостоятельным словам. Так, одна из шапсугских календарных песен (она исполнялась во время прополки кукурузы) завершается стихом, образованным из повтора элемента *мэж* (*Мэж, мэж, мэж*) [5, с. 37]. Его резкое фонетическое отличие от традиционных песенных рефренов свидетельствует о том, что *мэж* возводится к полнозначному слову. Однако не менее вероятно и то, что хронологически рассматриваемая песня относится к более древнему периоду, чем время проникновения и распространения этой культуры среди народов Кавказа. Во всяком случае, составные элементы этой песни, в частности *мэж*, восходят к более ранним эпохам. В поздней календарной поэзии, созданной в период знакомства шапсугов с кукурузой, элемент *мэж*, если он не являлся частью древней обрядовой песни, не утратил бы своей внешней и внутренней формы. Как это наблюдается в отношении и других жанров устной поэзии, древнюю календарную обрядовую песню шапсуги приурочили к новому трудовому процессу, видоизменив тем самым ее первоначальное конкретное значение, хотя сохранилась функция обряда.

В устной поэзии соотношение слова и напева неодинаково. Широкое распространение имеют произведения устного народного творчества, в которых незначителен удельный вес семантически цельного словесного текста. В них традиционные элементы рефрена, лишенные лексического значения, занимают основное место, составляя базу для звуковой организации рифмы, общего ритмического рисунка древней песни, ее стиха и строфы в целом. Не касаясь истории развития календарно-обрядовой поэзии, восходящей к ранним эпохам развития человечества, напомним, что в древней песне, как известно, звучание, движение, жесты и пантомима несли огромную функциональную нагрузку [7]. Реликты этого древнейшего явления отмечаются в дошедших до нас со значительными модификациями календарно-обрядовых песнях, в которых слово либо вовсе отсутствует, либо характеризуется очень небольшой функциональной нагрузкой. Так, в песнях этого типа строфа из четырех и более строк (стихов) строятся без лексически полнозначных слов или на минимальном количестве слов (иногда на одной словоформе). Ср., например, строение строфы из семистрофной обрядовой песни моздокских кабардинцев: *Уэрайдэ, уой, уойт!Уейт маржэ, уой, уой/Уой динысашэти/Уо уорайдэ* [5, с. 136]. Строфа построена на одной словоформе: *динысашэти* «наша свадьба». Другие строфы этой песни имеют такое же строение, т. е. песня строится на звучании рефрена. Устная поэзия дает многочисленные примеры, иллюстрирующие аналогичное соотношение лексически значимого и незначимого текста. Приведенные примеры (их количество легко можно уве-

личить) не согласуются с распространенным мнением, что произведение устно-поэтического творчества не существует без полнозначных слов.

Примеры показывают, что фольклорные произведения могут существовать (и существуют) без лексически полнозначных слов, причем лексически нерелевантные произведения несут значительную нагрузку в функциональном плане.

Однако не только в этом состоит своеобразие языка устной поэзии. Наибольший интерес с общелингвистической точки зрения представляет преобразование лексических и морфологических единиц в единицы фонетические в окружении лексически полнозначных слов, т. е. в произведении с устойчивым текстом. В языке устной поэзии очень часто (а не спорадически) слово лишается своего лексического значения и становится единицей лишь звукового плана. Следует сказать, что утрата словом своей основной (содержательной) функции в языке устной поэзии не ограничивается определенными жанровыми рамками, хотя она имеет далеко не одинаковое распространение во всех жанрах. Во всяком случае, преобразование лексических единиц в единицы фонетические отмечается в эпических, исторических, календарно-обрядовых и других произведениях.

Утрата словом своего лексического значения, как правило, связана с фонетическими и морфологическими изменениями. В этом отношении существенное своеобразие проявляет язык устной поэзии. В языке народной песни многообразны случаи использования лексических единиц как звуковых комплексов, т. е. без внутреннего лексического содержания. При этом, как отмечалось выше, слово остается устойчивым фонетически и морфологически: сохраняется как внешнее (звуковое) строение, так и членимость на морфемы (если оно морфологически членимо). Приведем несколько примеров.

В широко распространенной адыгской народной песне об Адиюх каждый стих завершается энифорическим выражением *ар си Іэдийху* «моя Адиюх», где указательное местоимение 3-го лица ед. числа *ар* «тот» (*а* — корень, *р* — формант им. падежа) лексически не осознается как местоимение, а синтаксически не согласуется ни с одним из членов предложения, иными словами лексически и грамматически оказывается пустым. Ср.: *Йыгэзумэ дышъынэсым ар си Іэдийыху/Йыльэс пІалъэ къызыботыр, ар си Іэдийыху*... [8, с. 67] «Когда пришел наш срок, моя Адиюх/Даешь ты мне еще годичный срок, моя Адиюх...». Подобное употребление указательного местоимения *ар* возможно лишь в народной песне, где оно становится фонетическим отрезком, ритмически повторяющимся в каждом стихе в определенной позиции. Ср. также употребление другого местоимения *мыр* «этот» в иной синтаксической позиции, но в аналогичной функции. *Мыр дигуыпэ пІшІантІэри/Уей жи ар уыдзыпІцІэ дахэмэ.../Мыр ди Бахъсэн псыжъри/Уей жи, ра къызэдокъуалъэмэ* [8, с. 74] «Наш передний двор/Красивой зеленью покрыт.../Наша старая река Баксан/Вся она кипит...». В этом отрывке местоимение *мыр* «этот» хотя и занимает позицию стилистической фигуры речи — анафоры, грамматически и лексически выпадает из текста. Местоимение *мыр* «этот», как, впрочем, местоимение *ар* «тот» (*ар уыдзыпІцІэ дахэмэ*) и глагольная основа *жи* «говорить» (*уей жи*) в этом же отрывке, является фонетическим отрезком, элементом звуковой организации песни, лишенным своего лексического содержания и грамматических связей. Имея в виду несколько иное (но в чем-то типологически сходное) явление, В. В. Виноградов писал, что в подобных случаях «реальное значение слова поглощается функцией эмоционального усиления» [9]. Вообще для поэтического языка не только в устной, но и в письменной форме его реализации характерны существенные отступления от грамматических норм, в частности, норм согласования [10, с. 267]. Но в языке устной поэзии речь идет не только о нарушениях обычных норм согласования, о так называемом анаколуфе — согласовании по смыслу [10], а о более кардинальных преобразованиях — утрате словом своего значения, его трансформации в звуковой отрезок.

Фонетической единицей, несущей лишь функции звуковой инструментовки произведения, становятся слова, относящиеся к разным частям

речи. В этом отношении очень показательна старинная народная песня кабардинцев и черкесов *Сэрмахуэ* «Сармахо». Само название представляет собой десемантизированный песенный рефрен, сквозной фонетический повтор, хотя и состоит из двух слов. Ср.: *Уей, сэрмахуэ, пшъыуыкI къытIфIашъи./Уой, сэрмахуэ, пшъыр зыуыкIари, / Уей, сэрмахуэ, къамэ Iэпшъэхути* [8, с. 66]. «Уей, сармахо, нас обвинили, в убийстве князя,/ Уей, сармахо, убийца князя, /Уей, сармахо, с белой ручкой кинжала...». По такому принципу построена вся песня (она состоит из 20 стихов). Фонетический отрезок *сэрмахуэ*, представленный в каждом стихе, по своему строению прозрачен: состоит из *сэр* «я» и *махуэ* «день, свет, счастье». Не говоря уже об утрате компонентами *сэрмахуэ* своего лексического значения, само сочетание синтаксически выпадает из существующих моделей словосочетаний: местоимение *сэр* в этой форме не сочетается с именами существительными. Ср.: *сэр шъхъэкIэ* «для меня», *сэр дыдэм* «я сам» и др. Все сочетание *сэрмахуэ* преобразовано в фонетическую единицу, служащую элементом симметрического звукового построения народной песни.

В качестве десемантизированного звукового повтора, несущего определенные художественно-выразительные функции, используются многие слова. В народной песне очень часто в одной и той же синтаксической позиции слово регулярно повторяется в каждом стихе, что и приводит к утрате им своего лексического значения, хотя его фонетическое строение не меняется в отличие от обычных песенных рефренов. Ср. небольшой отрывок из народной песни: *Зы дзыгъуэжъи, уей лажъэ, къеубыд./КIэуэ питыр, уей лажъэ, къыпегъэшъ./Нэуэ йысыр, уей лажъэ, къыхуыреш1...»* [11] «Старую крысу, о ляжа, он ловит./Ее хвост, о ляжа, он отрезает./Ее глаза, о ляжа, он выбивает...». В середине каждого стиха этой старинной народной песни (она состоит из 36 стихов) повторяется *лажъэ* в сочетании с рефреном *уей*. Во всех разновидностях языка, за исключением языка устной поэзии, *лажъэ* имеет значение «беда, горе; вина, изъян, дефект». В разбираемой же народной песне (и многих других) слово *лажъэ*, утратив свое лексическое значение, стало фонетическим отрезком, окрашенным яркой эмоциональностью, что характерно для средств звуковой инструментовки произведения устного творчества.

Заслуживает внимания тот факт, что процесс перехода лексических единиц в единицы фонетические охватывает не только исконные слова, но и заимствованные. Это свидетельствует о том, что в языке устной поэзии утрата словом своего значения, преобразование его в звуковой комплекс определяется не столько исторической давностью бытования того или иного произведения, сколько самой спецификой жанров народного творчества. Именно с закономерностями строения произведений устного поэтического творчества, с их функциональными особенностями, связан, казалось бы, парадоксальный фактор: устойчивость фонетического и морфологического облика слова при полной утрате его лексического значения. В то время как для других форм существования языка фактор времени является одним из решающих для развития слова, эволюции и преобразований его составных элементов (ср. процессы опрощения, десемантизации и др.), в языке устной поэзии утрата словом своего значения, его трансформация в единицу другого языкового (фонетического) уровня далеко не всегда определяется временными параметрами.

Слово *дунай* (адыг.), *дуней* (каб.) «свет, мир» относится к заимствованиям (араб. *дунйā* «свет, мир»). В письменно-литературном языке, диалектах, разговорно-бытовой речи это слово употребляется в том значении, в каком оно функционирует и в языке-источнике. В языке устной поэзии рассматриваемое заимствование, как и многие исконные слова, восходящие к более ранним хронологическим эпохам, очень часто используется как звуковой комплекс, лишенный своего лексического значения. В функции звуковой инструментовки *дунай/дуней* широко применяется в самых различных песенных жанрах — эпических песнях о нартах, героико-исторических, свадебных и других песнях. Ср. из «Песни о старых нартах»: *Дзэр зезышэурэ, ой дуней, Тотрэш ябгэ./А зэманымэ, ой дуней, дидзэгъэшынэт* [12] «Предводитель войска, ой дуней, яростный Тотреш./В это время,

ой дуней, он — гроза врагов!». Элемент *дуней* выступает в качестве сквозного звукового повтора (повторяется в середине каждого стиха). Пример из другого песенного жанра: *Тауқъаным сышъпымылъмэ*, дуней,/Сигуыри Бешътом йыIуашъхьэт,/Таукъаным пылъын езгъажъэри *дуней*,/*Хуыгу хьэдзэм*, *сигуыр хуэкIуашъ*... [8, с. 131] «Когда я не знала Таукана, дуней,/Выше (горы) Бештау было мое сердце,/Когда я полюбила Таукана, дуней,/Как зернышко просяное стало мое сердце...». В народной песне, откуда взят этот отрывок, элемент *дуней* служит эпифорическим звуковым повтором (повторяется через каждый стих в конце строки), лишенным смыслового воздействия. В другой народной песне (состоит из 16 строф) каждая строфа завершается стихом, построенным по модели *Уей дуней*, *зывгъэпсэхуынумэ*, *сэрмахуэ*, / *СывихъуымакIуэт* [8, с. 81] «Уей дуней, если вам нужен покой, сармахо,/ Я вас охраняю», где звуковым повтором выступает в начале строки *дуней* (в сочетании с рефреном *уей*), а в середине строки вышеприведенное *сэрмахуэ*.

Примеры, иллюстрирующие преобразования лексических единиц в единицы фонетические в языке устной поэзии, довольно разнообразны и многочисленны. Но и приведенного материала достаточно для утверждения, что утрата словом своего значения, его преобразование в единицу фонетического уровня в языке устной поэзии обусловлено прежде всего синкретизмом жанров устно-поэтического творчества — сочетанием слова и напева. В тех же случаях, когда произведение устной поэзии (обрядовые и другие песни) обходится вообще без слова, роль последнего выполняет напев (нередко в соединении, по выражению И. Г. Гердера, «с живым движением»).

Заметим, что закономерные процессы преобразования лексической единицы в звуковой комплекс, необходимый для инструментовки стиха и произведения устной поэзии в целом, характерны для тех поэтов, творчество которых своими истоками неразрывно связано с фольклорным искусством. Так, в поэзии Б. Пачева, создававшего свои произведения на устно-поэтической основе, широко отмечается рассматриваемое явление — переход семантически полнозначных слов в звуковые комплексы, используемые как повторы в разных позициях. Например: *Сигуым йыслъхьахэр*,/*Уой*, *лажъэ*, *сианэжъым къешIэ*,/*Борей хъблэжъмэ*,/*Уой*, *дуней*, *шIалэр дэмыс мыгъуэ* [8, с. 87]. «То, что я задумал,/Уой ляжа, узнала моя старая мать,/В старом квартале Борей,/Уой дуней, не оказалось юноши...». Подобные примеры часто встречаются в поэтических произведениях, стоящих на стыке устной поэзии и письменной литературы. Это и понятно. Творчество таких поэтов в значительной степени является продолжением традиций устной поэзии.

Как отмечалось выше, в языке народной песни музыкальная сторона оказывает влияние не только на лексические единицы, но и на морфологические. В народной песне использование морфологических элементов обусловлено конкретной функциональной направленностью произведения, своеобразием его поэтического стиля, строением стиха, ритмико-синтаксическим рисунком и т. д. Выбор морфологически значимых частей слова для построения стиха чаще всего определяется общей метрической композицией произведения. Отсюда морфологический материал нередко играет второстепенную роль с точки зрения соотношения смысла и рифмы. Это можно показать на многих примерах. Очень показательны и, может быть, уникальны, например, формы выражения категории грамматического числа.

Прежде всего обращает на себя внимание эпическая форма мн. числа. При этом примечательно, что употребление мн. числа отмечается в отношении имен существительных, характеризующихся формой singularia tantum в литературном языке, диалектах, разговорно-бытовой речи и других типах речи. Так, имена основных героев нартского эпоса *Сэтэнай* (Сатанай), *Саусырыкъуэ* (Саусруко) и др. имеют только форму ед. числа во всех разновидностях реализации языка, за исключением устной, в частности, эпической поэзии. В нартском эпосе очень часто личные имена основных героев употребляются в форме мн. числа вместо ожидаемой фор-

мы ед. числа. Ср., например: *Къэбарэу къэпхыгъэр къысаIу,— еIуэшъ/ Сэтэнаехэр екIуалI* [13, с. 27] «Новости, что ты принес, мне расскажи — говорит и/Сатанай к нему подходит». *ЧIыгуым ар къызытефэм/Саусырыкъуэхэр ечъалI* [13, с. 32]. «На землю когда он упал,/Саусруко к нему подскочил».

Как видно, имена героини и героя эпоса оформлены аффиксом мн. числа *-хэ*: *Сэтэнаехэр* (вм. *Сэтэнаер*), *Саусырыкъуэхэр* (вм. *Саусырыкъуэр*).

Некоторые авторы полагают, что употребление личных имен героического эпоса с аффиксом мн. числа связано с их возвеличиванием, гротескным изображением их роли и подвигов в нартском обществе. Однако такое мнение не подтверждается анализом материала языка эпической поэзии. Эпическая форма мн. числа личных имен весьма специфична, поскольку в языке эта лексическая группа по своей семантике вообще не нуждается в числовом противопоставлении, т. е. относится к словам, имеющим только форму ед. числа. Но то, что невозможно и необычно для других форм существования языка, вполне вписывается в нормы языка устной поэзии, в частности нартского эпоса.

Прежде всего отметим, что эпическая форма мн. числа личных имен не имеет отношения к возвеличиванию героев, хотя культ и возвеличивание основных героев в нартском эпосе (как и в любом героическом эпосе) — явление закономерное, т. е. обусловлено характером самого жанра. Дело заключается в том, что эпическая форма мн. числа не несет морфологической функции, не выражает мн. числа, а употребляется в значении ед. числа. Об этом свидетельствует не только свободное чередование эпической формы мн. числа с обычной, «нормативной» формой ед. числа (в языке эпической поэзии они сосуществуют, выражая одно и то же числовое значение), но и употребление других личных имен персонажей, причем совершенно второстепенных, малоизвестных в эпосе о нартах, во мн. числе. Например: *Нарт елъфэр зэхэтэу / Аргуанэхэр къынэсыри* [13, с. 23] «К собравшемуся племени нартов/Аргуана подъехал...». В эпической песне, откуда взяты эти строки, имя малоизвестного персонажа Аргуанэ оформлено аффиксом мн. числа (*Аргуанэхэр* вм. *Аргуанэр*), в то время как имена известных героев эпоса в этой песне употреблены в ед. числе.

Кроме того,— и это очень важно,— форма мн. числа в значении ед. числа характерна также для существительных нарицательных, что подтверждает лексическую и грамматическую иррелевантность эпической формы мн. числа. Ср.: *Пчы — мэIуышъуэхэр зиджанэ, / Ашъуэхэр зиджэнэ куэкIыри, / ПызыкъуытыкIырэр зипчышъхьа, / ЫшъхьэхэрI, абырамыжъуэба...* [13, с. 27] «Пика и щит — чья рубаха, / Кольчуга — подол чьей рубахи, / Все разрушающее — чье копье, / Абракамень [1] — чья голова...». Имена существительные *пчы-мэIуышъуэхэр* букв. «пики-щиты», *ашъуэхэр* букв. «кольчуги», *ышъхьэхэр* букв. «головы» оформлены аффиксом мн. числа *-хэ* (*р* — окончание им. падежа), хотя певец употребляет их в значении ед. числа. Даже слово *ышъхьэхэр* включает аффикс мн. числа *-хэ*, что, казалось бы, не согласуется с содержанием текста эпического сказания [речь идет не о «головах», а голове героя эпоса, сравниваемой с тяжестью огромного (эпического) камня]. Характерно, что в большинстве других вариантов этого сказания приведенные имена существительные представлены в ед. числе. Более того, в одном и том же варианте сказания может быть снято формальное числовое противопоставление в том смысле, что одно и то же слово в значении ед. числа употребляется то в форме мн. числа, то в форме ед. числа. Ср.: *Ашъуэхэр зышъыплъэмэ машIуэр къыпIкIэнэна, р'Аашъэмэз. / МашIуэхэр къыскIанэмэ псыуанэм сыхэхъаныба, (уэр) синан. / Сагъындакъыр зыдаплъхьамэ пIкIыпкъэр зэпикIыныба, р'Аашъэмэз. / СкIыпкъыхэр зэпикIымэ пкъэуэр кIэгъэIэнэба, (уэр) синан!* [13, с. 127] «Кольчугу если наденешь, огонь тебя охватит, Ашамаз. / Огонь большой если меня охватит, в воду глубокую войду, моя нан./ Сагайдак если наденешь, поясницу тебе переломит, Ашамез. / Поясницу

[1] Абракамень — название огромного камня (встречается только в языке устной поэзии).

если переломит, подпорку поставлю, моя нан!». В первом стихе существительное *машIуэр* «огонь» употребляется в форме ед. числа, а во втором стихе оно в значении ед. числа оформлено аффиксом мн. числа *-хэ* (*машIуэхэр*). То же самое наблюдается в отношении существительного *кIыпкъ* «пояснича»: в третьем стихе оно в ед. числе (*пIкIыпкъэр* «твоя пояснича»), в четвертом — во мн. числе (певец употребляет его в значении ед. числа).

Не только имена существительные, но и определительные словосочетания оформляются аффиксом мн. числа, хотя они по своему значению могут быть употреблены только в значении ед. числа. Так, «личное имя + качественное прилагательное» семантически соотносятся лишь с реальной единичностью, иначе говоря, в подобных определительных сочетаниях не выражается противопоставленность по числу. Однако в языке устной поэзии возможно употребление определительных сочетаний рассматриваемого типа в форме мн. числа. Ср.: *А Iакуандэ дахэхэри/Ра-э, тхъэ къэрегъаIыха* [14] «Акуанде красавице/Пусть бог смерть пошлет». Качественное прилагательное *дахэ* «красивая; красавица» в сочетании с личным именем одной из популярных героинь нартского эпоса *Iакуандэ* представлено в форме мн. числа (*Iакуандэ дахэхэр*), хотя формальное выражение числа с помощью специального форматива -хэ не может быть соотнесено с реальной множественностью.

Итак, существительные и определительные сочетания, лексическое значение которых явно препятствует морфологическому выражению количественных отношений, в языке устной поэзии могут употребляться в форме мн. числа. Эпическая форма мн. числа свойственна только языку произведений, предназначенных для певческого исполнения. Как отмечалось выше, для произведений этого рода характерна утрата словом своего значения, переход его в звуковой комплекс (без изменений фонетического и морфологического строения). То же самое наблюдается в отношении морфем, в частности, морфемы мн. числа.

Рассматриваемое явление находит типологические параллели в народной поэзии других народов. Так, в славянских языках некоторые формы прилагательного творительного усиления возможны лишь в народной песне. Анализируя подобные формы сербскохорватской песенной поэзии, Н. И. Толстой отмечает, что «... собиратели, обращавшие внимание больше всего на эпические и лирические жанры сербскохорватского песенного фольклора, оставляли в стороне подобные ... образцы народной поэзии. Но именно они дают многое для понимания поэтической структуры фольклора, его стилистических средств и форм — для *грамматики поэтики* и в описательном, и в сравнительном плане» [15]. Думается, что творительный усиления в славянских народных песнях ориентирован прежде всего на звуковую симметрию и усиление ее эмоциональной функции. Эпическая форма мн. числа не связана с возвеличиванием героя, не несет грамматической функции, свойственной морфеме числа. Морфема числа в вышеприведенных (и других) примерах утрачивает свое значение, т. е. становится грамматически пустым, незначащим (в плане содержания) элементом. Однако следует подчеркнуть, что утрата грамматической формой своего значения в языке эпической поэзии не нарушает структуру и содержание произведения. Напротив, утрата формой своего значения вызвана структурой произведения, его жанровой спецификой. Утратившая свое конкретное грамматическое значение форма (в данном случае форма мн. числа) становится элементом плана выражения, как это свойственно звуку, фонеме, но не морфеме — единице двупланового уровня. Отсюда становится возможным употребление существительных, морфологически не выражающих отношений единичность — множественность (например, личные имена и др.) в форме мн. числа. Эпическая форма мн. числа используется как элемент звуковой инструментовки произведения.

Утрата морфемой числа своего значения не обусловлена ее синтаксической позицией. Иначе обстоит дело с морфологическими единицами, выполняющими роль ритмически повторяющегося звукового повтора. В позиционном отношении звуковой повтор, восходящий к морфологическим единицам, как правило, маркирован, поскольку используется для созда-

ния стиховых окончаний, имеющих организующую (рифмообразующую) функцию в народных песнях. Морфологические элементы, используемые для стиховых окончаний, т. е. упорядочения рифмы, ее инструментовки, в устной поэзии характеризуются ярко выраженными дистрибуционными особенностями. Это находит отражение и в языке обрядовых песен, построенных на повторе стихового окончания. При этом морфологический повтор сплошь и рядом сопровождается синтаксическим повтором, что является древнейшим типом рифмовой техники. В этой связи отметим, что сама рифма как явление, несущее, по выражению В. М. Жирмунского, организующую функцию в метрической композиции стихотворения, своим происхождением обязана звуковому параллелизму: «Рифма, основанная на морфологическом (и синтаксическом) параллелизме, по-видимому, древнейший тип, свидетельствующий о происхождении рифмы из параллелизма» [16]. Вообще морфологический параллелизм, создающий суффиксальную рифму, скорее всего осознается как звуковой повтор. Во всяком случае, единицы более высокого уровня языка как материал для инструментовки рифмы нередко утрачивают свое категориальное значение, что видно на примере многих произведений, в том числе эпических, обрядовых песен.

Так, суф. *-и* многозначен, хотя этимологически все его функции восходят к союзному значению. В языке устной поэзии, особенно в семейно-обрядовых песнях, суф. *-и* употребителен как стиховое окончание, выполняющее ярко выраженную рифмообразующую функцию. При этом морфологическое значение суф. *-и* очень сильно затемняется или утрачивается, становясь по существу звуковой рифмой. Например: (*Ра*) *бэдэдэ хъакIэри къыдахьи,/Непэ уимышъытхъуыхэр тэ къикIи./ Непэ уимышъытхъуыхэр тэ къикIи. / УыкъызтекIы уянэми тхьар ети!* «(Ра) много гостей понаехало, / Сегодня ты всех похвал достойна. / Сегодня ты всех похвал достойна, / Тебя родившую мать бог да наградит» [5, с. 146].

В этой строфе — она взята из темиргоевской песни *Нысэплъ уэрэд* (песня свекрови при величании невесты) — суффиксальная рифма последовательно повторяется в каждом стихе, сочетаясь с повтором синтаксическим (второй стих повторяется один раз). Не говоря уже о необычной позиции суф. *-и* (им завершается предложение, что невозможно для других типов речи), смысловое воздействие, связанное с этимологическим значением этого суффикса, утрачивается в песне, т. е. морфологический элемент *-и* используется не в целях морфологических, а для рифмового созвучия, для объединения всей строфы звуковым подобием. В рассматриваемой функции суф. *-(р)и* характерен для языка самых различных песенных жанров, хотя в обрядовых песнях частотность его употребления наиболее высока. Ср. следующее двустишие из кабардинской врачевальной песни: *Хъэтыкъуейхэр (сиуэрайдэ) жылэмашIэт (уэр) жылэфIэти, / Шум йыфIыпIэр (сиуэрайдэ) а зы тIэкIуми къыдокIри.* «Хатукай (сиуарайда) — аул малый (уар), аул хороший, / Лучшие из всадников (сиуарайда) из малого (аула) выходят» [5, с. 117]. — Ср. также из аробной песни: *Къызэрбэчыжъри мышъашъхьэт, / Пшъашъэми йашъхьэри нэзви./ Къуэлэнри [2] гуызавэх, / ПхъэIэшъэр дахми уапаши. / Гъасэ шэгъуэр дижагъуэти, / Мэкъу шэжыгъуэри ушIиаси* «Кызербеч старый — медвежья голова, / Лучшая из девушек — узкоглазая. / Рябуха (мой) беспокойный, Соху выносят — ты головной (в упряжке). / Снопы вывозить тебе не любо, / Сено вывозить тебе любо» [5, с. 50—51]. Нетрудно заметить, что суффиксальная морфема, создающая морфологический параллелизм, не обладает специфически выраженным смысловым воздействием, а представляет собой звуковую рифму.

Имеются грамматические формы, функционирование которых возможно лишь в народной поэзии. Такие грамматические формы, являясь инвариантными признаками языка устно-поэтических произведений, нередко характеризуются не только своими дистрибутивными качествами, но и ярко выраженными организующими функциями в метрической ком-

[2] *Къуэлэн* — букв. «рябой» (здесь кличка вола — Рябуха).

позиции произведения. Так, в адыгейской (бжедугской) свадебной песне *Дахэр къытэшъэра!* «Везем красавицу!» (песню исполняют сопровождающие невесту, когда ее ведут из родительского дома в дом жениха) грамматическая форма на *-ра*, несет эпифорическую функцию, выступая в качестве стихового окончания во всех предложениях, за исключением рефрена. Ср.; (*Ерэдэ*) *дахэр къэтэшъэра.* / (*Арэдэ*) *къэтабэр йыкуышъхьэра.* / (*Арэдэ*) *дариер йышъхьатэра.* / (*Арэдэ*) *мэдпчэныпшъэра.* «(Ерада) красавицу везем. / (Арада) бархатом ее повозка покрыта. / (Арада) она на парчовой подушке. / (Арада) у нее шея косули» [5, с. 131].

Суф. *-ра* в указанной позиции встречается только в устно-поэтической речи. Однако своеобразие суф. *-ра* заключается не только в том, что он употребляется в той (финитной) позиции, в которой его функционирование невозможно в литературном языке или разговорно-бытовой речи. Существенным является тот факт, что данный суффикс как эпифорическое стиховое окончание характеризуется отсутствием (или почти отсутствием) морфологической функции. Это доказывается не только возможностью чередования суф. *-ра* с нулем в той же позиции, но и его сочетаемостью. Суф. *-ра* одинаково присоединяется к глагольным и именным основам, не меняя их морфологического значения. Например: *къэтэшъэра* «мы везем», *йышъхьатэра* «ее подушка», *йыкуышъхьэра* «ее повозка».

Можно сказать, что *-ра* в данном случае не имеет специфически категориального значения, а потому лишено и смыслового воздействия. Этот суффикс (как и суф. *-и*) используется как важное средство инструментовки стиха, хотя этимологически он восходит к общеадыгской категориальной морфеме. Утрата значимой частью слова своей морфологической функции, т. е. переход единиц морфемного уровня в единицы более низкого (фонетического) уровня, и в данном случае, бесспорно, связана со структурой жанра.

Подведем некоторые итоги.

Касаясь причин изменения соотношений между означаемым и означающим, Ф. де Соссюр писал: «Время изменяет все, и нет оснований считать, что язык представляет исключение из этого общего правила» [17]. Разумеется, на развитие языка влияет не только время, но и другие факторы, и не всегда обусловленные изменением во времени. Однако не только Ф. де Соссюр, но и его критики не всегда принимают во внимание все факторы, влияющие на развитие и изменение языка, его конститутивных единиц, их соотношения и функционирования. Между тем, если взять язык во всем многообразии его существования, то имеются факторы, причем существенные, не обнаруживающие прямой зависимости от изменения во времени. Как показывает вышеприведенный материал, один из таких важных факторов развития языка, изменения статуса его основных единиц и соотношения между означаемым и означающим обусловлен функционально-коммуникативным типом языка, разновидностью его существования. Язык устной поэзии, относящийся к разновидностям (формам существования) языка, дает многочисленные и разнообразные примеры трансформации слова и морфемы, коренных изменений соотношения между означающим и означаемым, полной утраты ими своего значения при сохранении их внешнего строения, а для слова — и морфологической членимости. Язык устной поэзии чрезвычайно своеобразен; своеобразно соотношение в нем слова, морфемы и напева, их удельный вес в разных устно-поэтических жанрах. Все это находит отражение в функционировании и развитии в языке устной поэзии слова и его значимых частей. Между тем следует признать, что неповторимый материал языка устной поэзии до сих пор не привлекается (или почти не привлекается) для решения общелингвистических проблем, в том числе теории слова и морфемы, их эволюции и преобразований.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 183.
2. *Виноградова Л. Н.* Всесоюзный симпозиум «Слово и напев в фольклоре».— ИАН, ОЛЯ, 1970, № 4.
3. *Кравцов Н. И.* Славянский фольклор. М., 1976, с. 18.
4. *Лопатин Н. М., Прокунин В. П.* Русские народные лирические песни. М., 1956, с. 37.
5. Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов. Под ред. Гиппиуса Е. В. Т. I. М., 1980.
6. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. с. 238.
7. *Гердер И. Г.* Избранные сочинения. М.— Л., 1959, с. 183.
8. Адыгэ уэрудыжьхэр (Старинные адыгские песни). Налшык, 1979.
9. *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947, с. 383.
10. *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение. Л., 1959.
11. Адыгэ Іуэрыіуатэхэр (Адыгский фольклор). Т. I. Налшык, 1963, с. 135.
12. Нартхэр (Нарты). Т. VII. Мыекъуапэ, 1971, с. 29.
13. Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов. Под ред. Гиппиуса Е. В. Т. II. М., 1981.
14. Нартхэр (Нарты). Т. III. Мыекъуапэ, 1970, с. 76.
15. *Толстой Н. И.* Из поэтики русских и сербохорватских народных песен (Приглагольный творительный, тавтологический).— В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы (Памяти В. В. Виноградова). Л., 1971, с. 353.
16. *Жирмунский В. М.* Теория стиха. М., 1975, с. 292.
17. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977, с. 109.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ДАРБЕЕВА А. А.

О БИЛИНГВИЗМЕ МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ
(К проблеме интерференции)

Билингвизм как социально-значимое явление возникает в результате длительных контактов. Языковые контакты являются одним из важнейших факторов воздействия на судьбы народов и их языков [см. 1, 2]. Рассмотрение данной проблемы предполагает: а) выяснение исторических условий соприкосновения носителей контактирующих языков; б) определение социальных предпосылок развития двуязычия у контактирующих народов; в) изучение явлений интерференции в этих языках. Языковые контакты, двуязычие и интерференция взаимосвязаны друг с другом, взаимозависимы.

Монголоязычные народы находились в контакте с носителями разных языков. Из всех разновидностей контактов монгольских языков с иноструктурными, нашему непосредственному наблюдению доступны русско-монгольские языковые контакты, прежде всего бурятско-русские, калмыцко-русские, частично монгольско-русские.

Изучение контактов языков народов СССР с русским языком занимает центральное место в советской социолингвистике. Это обусловлено спецификой языковой жизни многонационального советского общества, в котором русский язык выполняет основную коммуникативную функцию средства межнационального общения [см. 3—6].

Контакты бурят и калмыков с русскими имеют длительную историю — свыше трех веков, но массовое двуязычие среди монголоязычных народов возникло сравнительно недавно. Зарождение двуязычия и характер его распространения среди бурят и калмыков в принципе сходны, хотя исторические условия соприкосновения их с русскими были разными. Калмыки присоединились к России в 1607—1637 гг. Буряты присоединились к России несколько позже: добайкальские буряты вошли в состав России в первой половине XVII в., а забайкальские — в начале второй половины XVII в. Русские служилые люди пришли к бурятам в 30-х гг. XVII в. Им пришлось приспосабливаться к местным природным и климатическим условиям, к ведению хозяйства в суровой Сибири. Они были вынуждены вступать в необходимый экономический контакт с коренным местным населением, что, естественно, должно было сопровождаться и усвоением языка местных жителей. (Аналогичное положение наблюдалось и в русско-якутских взаимоотношениях — см. [7].) Однако языковое контактирование русских с бурятами начинается не с первых встреч, а с периода массового расселения русских на территории проживания бурят — в Восточной Сибири.

Калмыки пришли в Россию в начале XVII в. Расселяясь компактными группами на сравнительно небольшой части юго-восточной окраины России, они оказались преимущественно в русском окружении.

Современные буряты живут на территории Бурятской АССР, двух национальных округов и за пределами этих округов в составе Иркутской и Читинской областей. По итогам переписи населения 1979 г. всего бурят в СССР 353 тыс. чел. Калмыки населяют территорию Калмыцкой АССР и отдельными компактными группами живут в Астраханской и Ростовской областях. Общая численность их составляет 147 тыс. чел.

Бурятско-русские и калмыцко-русские контакты прошли разные этапы в своем развитии.

Процесс формирования двуязычия в данном монголоязычном регионе можно условно разделить на четыре периода. В основу данной периодизации положен критерий соотношения общественных функций контактирующих языков, которые, объективно характеризуя социальный статус каждого из соприкасающихся языков, предопределяют реальные предпосылки развития двуязычия.

Первый период зарождения двуязычия относится к дореволюционному времени контактов монголоязычных народов с русскими. Для того периода характерна массовая неграмотность,— грамотными были ламы, писари и небольшой процент лиц, получивших светское образование,— поэтому письменный язык бурят и калмыков обслуживал в основном религиозные нужды.

Родной язык бурят и калмыков до революции применялся только в устной форме в процессе бытового общения в своей этнической среде и частично при контактах с русскими, которые активно пользовались языком местного населения. О двуязычии русских, владевших бурятским языком, имеются упоминания в дореволюционных письменных источниках, например: «По-русски однако ж читать и писать и даже говорить умеют немногие буряты, может быть потому что русские, обитающие в их соседстве, от мала до велика все говорят весьма хорошо по-бурятски» [8]. Калмыков, знавших русский язык, очевидно, было больше и в то время, например, дореволюционные свидетели отмечали: «Многие из простых калмыков довольно хорошо объясняются на русском языке, тогда как их властители не понимают оного...» [9].

Таким образом, первый период языкового взаимодействия калмыков и бурят с русскими характеризуется двуязычием русских, массовым одноязычием бурят и калмыков.

Второй, послереволюционный период, охватывающий 20 — 30-е годы XX в., характеризуется коренным изменением общественного строя ранее отсталых в культурно-экономическом, социальном отношениях народов. Ленинская политика КПСС создала условия для свободного развития и равноправия всех народов СССР и их языков. Идея Ленина «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!...» [10] легла в основу национально-языкового строительства в многонациональном советском государстве. Буряты и калмыки получили возможность полной перестройки политического и культурно-экономического уклада жизни. Старомонгольская письменность со сложной вертикальной графикой, которой пользовались буряты свыше двухсот лет, и зая-пандитская письменность у калмыков, бытовавшая у них с 1648 г., были не пригодны для обучения широких слоев населения, так как они были книжно-архаичными по своему содержанию и далекими от живого разговорного языка калмыков и бурят. Буряты и калмыки создали свои национальные литературные языки на собственно бурятской и калмыцкой диалектных основах; для письма была избрана русская графическая система. Начиная с 30-х гг. вновь созданные бурятский литературный язык в Бурятской АССР и калмыцкий литературный язык в Калмыцкой АССР максимально расширили свои общественные функции [11, 12], так же как и другие языки народов СССР [13].

Многое было начато с нуля, ибо большинство функций письменного литературного языка возникло только в советское время, например: издание газет, журналов, художественных (оригинальных и переводных) произведений, учебно-методической и научной литературы, переводов классиков марксизма-ленинизма; ведение делопроизводства, личная переписка и т. д. Ряд социальных функций устной формы литературного языка также впервые получил развитие в советской период в связи с 1) открытием школ, средних и высших учебных заведений, ибо родной язык преподавался во всех типах общеобразовательных школ и специализированных училищ, техникумов, а также в пединституте; 2) созданием на-

ционального театра, 3) введением радиовещания. В этот период все было направлено на поднятие культурного уровня народа через посредство родного языка. Русский язык выполнял параллельные функции во всех сферах общения, культуры, искусства, административно-управленческого аппарата наряду с родным языком бурят и калмыков, обслуживая в основном русских и двуязычную часть коренного населения. Основная масса сельского населения из числа калмыков и бурят не владела русским языком в этот период, по-русски говорили активно городские буряты, калмыки, молодежь, обучившаяся русскому языку в школах, небольшие слои интеллигенции, служащих. Интенсивная подготовка национальных кадров также шла на русском языке в разных городах страны.

Третий период, хронологически охватывающий 40—50-е годы, соотносится с годами Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Это время интенсивного сближения всех наций и народов нашей страны во имя ускорения победы над фашизмом. Особенно в данный период назрела крайняя необходимость в языке межнационального общения, ибо при помощи родного языка нельзя было полностью удовлетворить возросших духовных культурно-экономических потребностей бурят и калмыков, потребностей общения с представителями других народов СССР. Языком межнационального общения стал русский язык. Стремление к овладению русским языком было огромно в народе, ибо он стал языком всей родной социалистической страны, через его посредство буряты и калмыки приобщались к культуре, к жизни остальных народов, населяющих нашу страну.

Особый скачок в развитии и распространении бурятско-русского и калмыцко-русского двуязычия наблюдается именно в военный и послевоенный периоды. Активное обучение русскому языку в школах, вузах, средних специализированных учебных заведениях, рост национальной интеллигенции, работающей в городах и селах республик, повседневное трудовое общение на русском и родном языках способствовали распространению русского языка и среди сельского населения. В этот период в связи с широким распространением двуязычия наблюдается некоторое сокращение общественных функций родного языка в сфере письменной формы: делопроизводство, переписка с учреждениями в пределах своей республики были переведены на русский язык; несколько сократился объем переводной литературы, издание научной литературы на родном языке. Функции русского языка расширились в области науки и техники, искусства, массовой коммуникации.

Четвертый период в развитии бурятско-русского, калмыцко-русского двуязычия относится к 60—80-м годам. Это современный период. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. процент двуязычных бурят составляет 71,9%, калмыков — 84,1% [14]. Практически это означает массовое двуязычие бурят и калмыков. Для четвертого периода характерна стабилизация общественных функций родного языка с учетом запросов их носителей. Так, например, школы были переведены на русский язык обучения с первого класса; сокращена переводная общественно-политическая, философская литература. Таким образом, неустойчивые, постепенно ослабевающие общественные функции родного языка были утрачены и сохранились интенсивно развивающиеся функции в сферах художественной литературы, периодической печати, учебной литературы по родному языку и литературе, в фольклоре и в сфере бытового общения. Функции русского языка значительно расширились, на родном и русском языках сосуществуют театр, искусство, радио, телеведение, общественные мероприятия. Ученые отмечают, что превращение русского языка в средство межнационального общения вызвано как потребностями экономического развития страны, так и интересами самих нерусских народов СССР, стремящихся использовать этот язык для приобщения к достижениям мировой культуры [см. 15]. Русский язык активно используется двуязычными бурятами и калмыками в сфере бытового общения даже в этнически однородной среде в виде смешения родного и русского языков в речевой практике. Явления смешанной речи встречаются почти у всех слоев двуязыч-

ного бурятского и калмыцкого населения, независимо от уровня владения русским языком. Нечто подобное было замечено еще Л. В. Щербой в процессе наблюдения за двуязычным населением, говорившим одновременно на немецком и лужицком языках. Л. В. Щерба полагал, что «два сосуществующих таким образом языка образуют в сущности только один язык с двумя способами выражения» или «смешанный язык с двумя терминами» [16, с. 48]. Отметим, что изучение характера смешения двух языков в речевой практике представляет самостоятельную задачу исследования билингвизма. Наблюдения за подобной речью бурятских билингвов выявили существующее различие в их речи, обусловленное степенью владения русским языком. Лица, слабо знающие русский язык, чаще вставляют в свою речь русские слова или словосочетания в структуру простого нераспространенного предложения типа: *Хүлш болдыр будет* «Ноги твои будут в волдырях»; *Ыгде-та арбоотат, техникум дуудыма* «Где-то работает, окончил техникум» и т. д. В их речи не встречаются явления полного переключения с языка на язык с воспроизведением целых предложений на каждом из них, особенно предложений со сложной структурной организацией. Лица, хорошо владеющие русским языком, легко пользуются кодовым переключением наряду со вставкой слов и словосочетаний одного языка в речь на втором языке без явлений интерференции. У калмыцких билингвов наблюдается аналогичный характер смешанной речи: *Базрин лавкад үнтэ биш кампет бәәну*?— По рублю бәәнэ? «В лавке на базаре есть дешевые конфеты?— Есть по рублю?»; *Принял мана заявкиги. Хәрнь постараемся гинэ* «Принял нашу заявку. Ну вот,— говорит,— постараемся» [17]. Подобные типы смешанной речи стали характерными для многих двуязычных народов СССР, активно пользующихся русским языком [см. 18]. Материалы наших наблюдений показывают интенсивное вкрапление русских слов и фраз в бытовую речь на родном языке даже билингвами старшего поколения с начальным образованием, русская речь которых изобилует интерферентными явлениями. Возможно, в этом проявляется психологический фактор отношения к русскому языку, ибо знание и владение русским языком ими воспринимается как определенный показатель культуры. В условиях массового двуязычия существенно изменилась разговорная речь билингвов на родном языке. В этом плане представляется правомерной постановка вопроса бурятскими лингвистами о создании особого стиля литературной формы бурятского разговорного языка, предусматривающего включение заимствованных слов, словосочетаний и диалектизмов [см. 19].

Массовому двуязычию бурят и калмыков сопутствуют два обязательных компонента в виде звуковой адаптации русизмов в родном языке билингвов и звуковой интерференции в речевой практике на втором языке В связи с этим анализу звуковой интерференции в русской речи должно предшествовать рассмотрение явлений звуковой адаптации русизмов в монгольских языках.

Механизм звуковой адаптации русизмов имеет много общих черт с механизмом звуковой интерференции в русской речи. Поэтому эти два явления (адаптация и интерференция), по существу действующие в сферах разных языков, взаимосвязаны между собой, и по моделям адаптации можно предположить модели интерференции. И в том и другом случае имеет место общий источник — артикуляционная база билингвов, настроенная на воспроизведение звуков родного языка. При звуковой адаптации русизмов происходит закономерное приспособление иноязычных слов к звуковому облику слов родного языка.

В дореволюционный период, когда буряты и калмыки в массе своей не были двуязычными, наблюдалась полная звуковая адаптация русизмов. Например: *буд* (пуд), *апицир* (офицер) в калмыцком; *биршок* (вершок), *хартаабха* (картофель) в бурятском языках.

Звуковая структура данных заимствований полностью подчинена звуковой норме заимствующего языка с соблюдением дистрибуции звуков, гармонии гласных в нем. Изменение вокализма было обусловлено: 1) действием гармонии гласных в монгольских языках; 2) наличием иных за-

конов в дистрибуции гласных и согласных, поэтому наблюдалось выпадение одного из двух сочетающихся гласных разного качества или вставка гласного элемента между двумя согласными для соблюдения звуковой структуры слов в родном языке.

Дифтонги в заимствованных словах передавались двояко: 1) дифтонгами и 2) долгими монофтонгами. В калмыцком нет дифтонгов, поэтому русские дифтонги передавались долгими монофтонгами, например: *сарə* (сарай). Специфичным для механизма перестройки вокализма заимствований на сингармоничный ряд является регулирование вокализма слова по ударному гласному, который в русском языке может быть в разных позициях слова. Между тем в монгольских языках вокализм слова регулируется гласным первого слога.

Состав согласных заимствованных слов подвергался следующим изменениям: 1) согласные, не имеющие фонематического соответствия в заимствующем языке, заменялись согласными, близкими по месту образования. Например, наблюдались замены: *в//б*; *ф//п*, *ц//с*, *ч//ш*, *к//х*; *пеэрмэ* (ферма) в бурятском, *херм* (ферма) в калмыцком, *паапрак* (фабрика) в монгольском языках; 2) в некоторых случаях заменялись согласные, имеющие фонематические соответствия, но их субституция была обусловлена либо вокализмом слова, либо дистрибуцией согласных; например, трансформация анлаутного *п* в словах: *буд* (пуд) в калмыцком и *бирвааз* (перевоз) в монгольских языках обусловлена тем, что в монгольских языках *п* обычно не употребляется в анлауте исконных слов, но встречается в заимствованных и звукоподражательных словах; 3) при стечении двух согласных в анлауте и ауслауте имели место либо выпадение одного из них, либо вставка между ними гласного элемента. Для русизмов в калмыцком и монгольском языках не характерно наращение гласного звука на конце слова; 4) при стечении трех согласных в середине слова либо опускается один из согласных звуков, либо вставляется между ними гласный звук; 5) к словам с анлаутными *л* и *р* приставляется гласный звук: *Аржаан* (Роман), *Илиизе* (Лиза).

Подобный принцип полной звуковой адаптации русских заимствований, включая и иноязычные, проникшие через русский язык, наблюдался как в дореволюционный, так и послереволюционный периоды, вплоть до 30-х годов. По мере усвоения звуковой нормы русского языка в процессе развития двуязычия среди бурят и калмыков изменяется система звуковой адаптации русских заимствований.

К концу второго периода развития двуязычия полная трансформация русизмов стала вытесняться частичной формой их адаптации. Новые заимствования, влившиеся в лексику литературного языка, не адаптируются, как русизмы раннего периода, что нашло отражение и в правилах орфографии русских заимствований.

Согласные, не имеющие фонематического соответствия, не всегда заменялись другими согласными звуками. Согласные, имеющие соответствующие корреляты в родном языке, вообще не заменялись. Реже встречаются наращение гласных и вставка их в русизмах. Кроме того, ранние заимствования типа *патиирэ* ~ *патеэрэ* (квартира) и *алаабхи* (лавка) орфографируются по-старому и по-новому и потому в языке функционируют и новый, и старый варианты слова, например: *алаабхи* ~ *лавка* (лавка) в бурятском языке, *хасг* ~ *казах* (казах) в калмыцком языке и т. д.

В третьем и четвертом периодах бурятско-русского и калмыцко-русского двуязычия неологизмы—русизмы не адаптируются, лишь усекается последний элемент в окончаниях *-ия*,*-ие*,*-ии*. Все слова целиком сохраняют звуковую форму языка-источника. Здесь необходимо отметить существующее различие в написании и в артикуляции этих новых русизмов в письменной и устной формах литературного языка.

Неадаптированные русизмы бытуют преимущественно в сфере письменной формы языка. В устной разговорной речи они по-прежнему адаптируются, но характер адаптации изменился. Тенденция изменения вокализма русизмов по гармонии гласных и субституция согласных, не имеющих фонематического соответствия в родном языке, сохранилась у лиц

старшей и средней возрастных групп. В разговорной речи двуязычной молодежи такой тип адаптации русизмов встречается реже. Неологизмы артикулируются преимущественно так, как они пишутся в русской орфографии. Это объясняется тем, что для двуязычной молодежи, с детства обучающейся русскому языку, артикуляция русизмов в родном языке не представляет трудности.

Изучение русской речи различных слоев двуязычного населения из среды бурят, калмыков и монголов установило определенную закономерность в трансформации звуковой структуры русских слов, суть которой заключается в воспроизведении русских слов по моделям звуковой организации слов в родном языке билингвов.

Для типологической характеристики звуковых изменений структуры русских слов в русской речевой практике монголоязычных билингвов необходимо было предельно полно выявить явления интерференции по разным социальным и национальным сферам их бытования и обобщить эти трансформации по моделям их артикуляции монголоязычными билингвами. Для этого были рассмотрены изменения гласных, согласных и слоговой структуры русских слов.

В области вокализма наблюдаются следующие изменения в структуре русских слов: 1) заднерядные гласные русского языка *а*, *о*, *у*, *ы* артикулируются как переднерядные *э* (*а*), *ө* (*о*), *ү*, *и* монгольских языков: *ш'ӣрф* (шарф), *түрүүс* (трус), *хөпшик* (ковшик), *бик* (бык) и т. д.; 2) веляризация или более задняя артикуляция русских переднерядных гласных *э*, *и*. Гласный *э* в позиции после палатализованных согласных воспроизводится монголоязычными билингвами как открытый *э* после твердых согласных: *тэлэга* вместо *телега*. Гласный *и* артикулируется как заднерядный *ы*, например: *прырода* (природа), *сыла* (сила), *Зына* (Зина).

Изменения состава гласных в структуре русских слов можно объяснить влиянием правил сочетаемости гласных с согласными в структуре слов родного языка, а также действием закона гармонии гласных, регулирующего вокализм слова по первому слогу слова в монгольских языках.

Интерферентные явления в употреблении русских согласных обусловлены двумя причинами: 1) отсутствием некоторых согласных фонем в родном языке билингвов; 2) различием и функциональным несовпадением дифференциальных признаков согласных фонем, имеющихся и в русском, и в монгольских языках. В соответствии с этим характер их трансформации проявляется по-разному. При употреблении согласных, не имеющих фонематических соответствий в одних языках и частично имеющих таковые в других монгольских языках, наблюдается: 1) деспирантизация щелевых *в*, *ф*: *богон* (вагон), *пакел* (факел); 2) дезаффрикатизация аффрикат *ч*, *ц*: *шамдан* (чемодан), *сирк* (цирк); 3) спирантизация смычного *к*: *хино* (кино); 4) веляризация русского *щ*: *шотка* (щетка), *шука* (щука).

В группе согласных, имеющих фонематические соответствия, наблюдается озвончение глухих и оглушение звонких согласных не в тех фонетических позициях, в которых это происходит в русском языке. Оглушение русских *б*, *г*, *д* и озвончение глухих *п*, *к*, *т* происходит и в аплауте слова перед гласными: *пуду* (буду), *тиректор* (директор), *голбаса* (колбаса), *бодушка* (подушка) и т. д. Отметим, что глухость—звонкость не является фонематическим признаком в монгольских языках. Этому признаку соответствует степень напряженности артикулирующих органов: сила, слабость. Для монгольского языка наиболее характерна сильная придыхательность глухих согласных, сопровождаемая ослаблением действия голосовых связок при артикуляции звонких. Эта особенность отражается и при воспроизведении русских глухих и звонких согласных в русской речи билингвов. Палатализация русских твердых согласных и веляризация мягких согласных обусловлена тем, что фонематический признак мягкость—твердость, имеющийся в консонантизме русского и монгольских языков, обладает своей спецификой в каждом из сопоставляемых языков. В частности, русские согласные *з*, *с* имеют мягкие корреляты, а монгольские *з*, *с* не имеют таковых, поэтому слова: *зерно*, *зеркало*, *сера*, *село* и т. п. произносятся монголоязычными билингвами: *зэрно*, *зэркало*,

сэра, *сэло*, т. е. русские мягкие *з*, *с* веляризуются под влиянием артикуляции всегда твердых *з*, *с* родного языка. Наблюдается увулярная артикуляция русского заднеязычного *г* в таких словах, как *город*, *газ* по аналогии с произнесением увулярного *г* в родном языке в словах с заднерядным вокализмом, например, *гар* «рука» и т. д. Увулярная артикуляция русского переднеязычного *н* перед заднеязычными *г*, *к*, *х* в словах типа *ангина*, *банка* обусловлена артикуляционной корреляцией этого звука с заднеязычно-увулярным сонантом *ң* родного языка билингвов в аналогичных позициях, например, *маңгар* «похмелье».

Опущение, вставка, перестановка звуков в структуре русских слов являются следствием уподобления слоговой структуры русских слов структуре слога в родном языке билингвов, а также результатом влияния дистрибуции звуков в последнем.

Характер звуковых изменений русских слов в целом отражает влияние фонетической системы родного языка билингвов, и потому механизм звуковой интерференции в их русской речи коррелирует со звуковой адаптацией русизмов в монгольских языках. Это закономерное явление. Исследователи отмечают, что в процессах интерференции при двуязычии проявляется тенденция к установлению большего соответствия между языковыми единицами и соответствующими единицами мышления [см. 20].

Явления интерференции, наблюдаемые в живой речи билингвов, реализуются в определенных сферах речевой деятельности и имеют социальные параметры своего проявления. Соотнесение лингвистических фактов интерференций с социальными и национальными параметрами их бытования показывает, что степень устойчивости и подвижности, т. е. динамика преодоления интерференций, находится в прямой зависимости от условий возникновения двуязычия (контактного и неконтактного), возраста, профессионально-образовательных признаков билингвов.

Контактное двуязычие бурят и калмыков существенно отличается от неконтактного двуязычия монголов в количественном и качественном выражении интерферентных явлений.

При неконтактном типе двуязычия наблюдаются наиболее разнообразные формы звуковой интерференции в структуре русских слов, которые бытуют в разных социальных слоях билингвов. Преодоление их идет значительно медленнее, чем при контактном двуязычии.

Контактный тип двуязычия имеет свою специфику. Здесь более четко прослеживается различие в объеме и частотности интерференций по таким социальным признакам, как возраст, образование и время приобщения к русскому языку. Например, увулярная артикуляция русского заднеязычного *г* в принципе свойственна пожилым билингвам, усвоившим русский язык во взрослом состоянии, и почти не встречается в русской речи бурятских и калмыцких школьников, студентов и вообще билингвов молодого поколения, которые хорошо владеют русским языком. Их органы артикуляции с детства приучены к произнесению слов как родного, так и русского языков. У них наблюдается обратное явление. Дело в том, что калмыцкая и бурятская молодежь стала произносить увулярный *г* родного языка как заднеязычный *г* под влиянием артикуляции русского заднеязычного *г*, т. е. некоторое опереднение увулярного *г* родного языка стало следствием двуязычия. У монгольских билингвов зафиксирована увулярная артикуляция русск. *г* в сферах разных возрастных и социальных групп. В русской речи бурятских и калмыцких билингвов старшего поколения с начальным образованием почти все разновидности звуковой интерференции устойчиво сохраняются, т. е. носят постоянный характер. Процесс преодоления звуковой интерференции в русской речи проявляется по-разному не только в разных социальных слоях билингвов, но также и по различным формам существования языка. Звуковая интерференция более устойчиво сохраняется в устной русской речи монголоязычных билингвов. Этой формой русского языка пользуется основная масса бурят и калмыков, включая билингвов старшего поколения с начальным образованием, которые умеют читать и писать по-русски, но в быту пользуются лишь устным разговорным русским языком. Следует отметить, что именно

в их русской речи сконцентрированы все возможные явления фонетической интерференции. Для этого контингента билингвов характерна полная и частичная адаптация русских заимствований, но частичная адаптация свойственна и среднему, а также старшему поколению образованных билингвов.

Таким образом, звуковая адаптация русских заимствований в монгольских языках и фонетическая интерференция в русской речи монголоязычных билингвов, представляющие лингвистический фон двуязычия бурят и калмыков, оказывают определенное влияние на фонетическую систему родного языка билингвов. Данный процесс особенно стимулируется потоком новых лексических заимствований из русского языка, пополняющим лексику бурятского и калмыцкого языков. Значительная часть заимствований сохранила звуковую оболочку русского языка, которая не свойственна фонетической системе языка реципиента. И потому этот факт должен рассматриваться в указанных монгольских языках как явление фонетической интерференции, суть которого заключается в том, что русские заимствования сохранили свой звуковой состав и свою звуковую структуру слова. Выводы: 1) с заимствованными словами проникли новые фонемы, не имеющие фонематических соответствий в заимствующем языке, например, *в*, *ф*, *ц*, *ч*, *щ*, *ж* — в бурятском; *в*, *ф*, *щ* — в калмыцком языках; 2) в вокализме заимствованных слов в большинстве своем не соблюдается гармония гласных монгольских языков; 3) наблюдается сочетание рядом двух гласных разного качества; 4) в анлауте употребляются согласные *в*, *ф*, *л*, *р*, *п*, *ж*, которые не свойственны исконным словам, за исключением *ж*. В калмыцком языке этот согласный употребляется в начале слова; 5) наблюдается стечение двух и более согласных в начале и на конце слова, трех и более — в середине слова. Эти новые явления, нарушающие фонетическую структуру слов заимствующего языка, отмечены только в заимствованиях из русского языка. Они не проникли в структуру исконных слов языка реципиента.

Это дает основание полагать, что в фонетической системе бурятского и калмыцкого языков образовалась особая фонетическая подсистема (или микросистема), обслуживающая только русские заимствования и слова, проникшие через русский язык. Отметим, что нулевая форма адаптации русских заимствований встречается преимущественно в письменной форме литературного языка. Специфичным для неадаптированных заимствований является то, что они занимают периферию фонетической системы бурятского и калмыцкого языков, дополняя и обогащая элементы исконной системы новыми строевыми элементами. В этих заимствованиях еще очень явственно ощущается интерферентный характер, тем более, что они приняты не всеми носителями заимствующего языка.

Наблюдение за живым процессом взаимодействия двух иноструктурных языков в речевой практике монголоязычных билингвов обнаружило способность фонетической системы родного языка к изменению под влиянием иноструктурных языков. Наряду с этим современный этап взаимодействия литературных бурятского и калмыцкого языков с русским в целом показал определенную устойчивость исконной фонетической системы монгольских языков.

Сопоставление характера фонетических интерференций в литературных бурятском и калмыцком языках с явлениями фонетической интерференции в бесписьменных островных монгольских языках (дунсянском, баоаньском и монгорском [см. 21—23]) показало много общего в самих проницаемых элементах и различие в степени, в глубине проникновения их в систему языка.

Фонетическая система дунсянского, баоаньского и монгорского языков, находящихся в длительном контакте с китайским, тибетским языками, имеет некоторые отличия от таковой литературных монгольских языков. Эти отличительные моменты затрагивают те же звенья системы, которые были нами отмечены как интерферентные явления в литературных монгольских языках. Приведем некоторые из них, касающиеся главным образом дистрибуции звуков.

В консонантизме дунсянского, баоаньского и монгорского языков обращает на себя внимание необычное начало некоторых общемонгольских слов. В анлауте слов употребляются согласные *л*, *п*, *р*, *ф*, *к*, *ӈ* не только в китаизмах и тибетизмах, но также и в общемонгольских словах, в которых начальный звук слова либо заменяется одним из приведенных выше консонантов, либо опускается.

1. Начальный *н* заменяется согласным *л*. Например, монг. *навч*(*ин*), монгор. *лавч*, дунс. *лачин*, бн.— *ланчон* «лист, листва».

2. Наблюдается замена анлаутного *б* согласным *п*: монг. *буу*, бн. и монгор. *пу* «ружье»; монг. *бич-*, дунс. *пичы-* «писать».

3. В баоаньском и монгорском языках встречается в анлауте заднеязычно-увулярный *ӈ*, который не употребляется в анлауте слов других монгольских языков. При этом в монгорском языке употребление анлаутного *ӈ* происходит в результате: а) опущения начального гласного элемента монгольских слов, например, монг. *эҥэр*, монгор. *ӈге* «борта одежды»; монг. *өҥгө*, монгор. *ӈӱуо* «цвет, окраска»; б) замены анлаутного *у* монгольских слов согласным *ӈ*, например, монг. *угаах-*, монгор. *ӈӱуа-* «мыть, стирать».

4. В баоаньском и монгорском языках употребляется согласный *р* в анлауте монгольских слов посредством опущения гласного элемента в начале слова, например, монг. *ирэх-*, бн. *рэ-*, монгор. *ре-* «приходить»; монг. *өргөн*, монгор. *ргуен* «широкий».

5. Некоторые общемонгольские слова в монгорском и баоаньском языках подверглись звуковому изменению: в результате выпадения гласных в анлауте или в первом слоге слова произошло стечение двух согласных в начале слова, что не свойственно другим монгольским языкам, например: монг. *энд*, монгор. *нде* «здесь»; бур. *үндэгэ*, монгор. *ндіге* «яйцо»; монг, *сахал*, монгор. *сҕал* «борода»; монг. *шавар*, бн. *шбар* «глина».

Для вокализма некоторых островных бесписьменных монгольских языков характерно: 1) сочетание двух гласных разного качества, не свойственное исконно монгольским словам. Сочетание *оу*, *эу*, *уа* в середине и в конце слова чаще встречается в дунсянском языке, например: монг. *дал*, дунс. *далэу* «лопата»; монг. *худаг*, дунс. *ӱдэу* «колодец». Наращение сочетания гласных *эу* к односложному слову с закрытым слогом в первом примере и замена согласного *г* в закрытом конечном слоге двусложного слова сочетанием *эу* во втором примере, очевидно, обусловлены слоговой структурой дунсянского языка, в котором преобладает открытый слог. Конечным элементом закрытых слогов являются сонорные согласные *н* и *ӈ*. В монгорском языке встречается сочетание гласных *уо* в словах: *кугуо*, бур. *хүхэ* «синий»; *нокуор*, монг. *нөхөр* «друг, товарищ»; *олуон*, монг. *олон*, бур. *олоҥ* «много»; *согуо*, монг. *сүх*, бур. *нүхэ* «топор» и т. д.; 2) явление десингармонизации вокализма в структуре отдельных слов монгорского, дунсянского и баоаньского языков, например: монг. *сайхан*, монгор. *сёган* «красивый, красиво»; бур. *табаҥ*, монгор. *тавен* «пять»; монг. *тахиа*, бн. *тэха* «курица»; монг. *ангай-*, дунс. *ангэ-* «раскрывать рот, раскрываться» и т. д.

Судя по характеру изменений фонетической структуры некоторых общемонгольских слов в группе островных бесписьменных монгольских языков, можно отметить в них несколько иную модель звуковой организации слов по сравнению с группой литературно-письменных монгольских языков. Наблюдаемое изменение в дистрибуции согласных и гласных в островных бесписьменных языках произошло, очевидно, под влиянием звуковой структуры языка окружения, ибо китаизмы и тибетизмы вошли в указанные языки с подобной дистрибуцией звуков. Возможно, отмеченные фонетические явления вначале имели место только в структуре заимствованных слов, а затем под их влиянием, в процессе длительного контакта с иносистемными языками трансформировалась и звуковая структура некоторых исконных слов по аналогии со звуковым обликом слов языка окружения. Следует отметить, что фонетико-фонологическая система бесписьменных островных языков в целом сохраняет общемонгольские черты и даже некоторые элементы древнемонгольского языка. В данном случае

нами рассмотрены лишь отдельные явления инновации в дистрибуции звуков, в принципе не свойственные монгольским языкам. Тем не менее обращают на себя внимание звуковые изменения отдельных монгольских слов, которые в какой-то мере напоминают звуковую модель слов контактирующего с ними иноструктурного языка, несмотря на то, что каждый из этих языков обладает своей спецификой. Трансформация общемонгольских слов заключается в следующем: 1) в некоторых монгольских словах заменяется анлаутный звук; 2) в их структуре изменяется сочетаемость гласных и согласных; 3) трансформируется слоговая структура слова. Очевидно, эти звенья фонетической системы наиболее подвержены иноязычному влиянию, так как аналогичная картина наблюдается и при контактах литературных бурятского и калмыцкого языков с русским.

Однако между этими двумя группами языков, т. е. группой бесписьменных островных и группой литературно-письменных монгольских языков, существует различие в результатах иноязычного влияния и в степени проникновения их в фонетическую систему языка-реципиента. В островных бесписьменных языках явления фонетической интерференции свойственны не только заимствованным словам. Эта модель звуковой организации слова распространяется и на отдельные исконные слова, что свидетельствует о постепенном проникновении интерферентных явлений в фонетическую систему языка.

В литературных монгольских языках указанные изменения остались за пределами основной фонетической системы, так как новое в дистрибуции звуков относится исключительно к заимствованным словам современного периода.

Изучение живых процессов взаимодействия разноструктурных языков, исследование интерферентных явлений при двуязычии представляется крайне необходимым и в теоретическом, и в практическом планах. Выявление степени проницаемости элементов системы, их подверженности иноязычному влиянию связано с историей монгольских языков, но вместе с тем прогнозирует возможные изменения их в процессе языковых контактов.

Сопоставление интерферентных явлений в звуковой организации слов в литературно-письменных и бесписьменных монгольских языках, контактирующих с разными иноструктурными языками, показало, что дистрибуция звуков более устойчиво сохраняется в литературных монгольских языках. Типологизация интерференций на фонетическом уровне в русской речи монголоязычных билингвов выявила следующее:

1. Все звуки русского языка подвергаются изменению в русской речи отдельных групп монголоязычных билингвов, независимо от наличия (отсутствия) соответствующих коррелятов в монгольских языках. Это объясняется существующим различием в фонетических правилах дистрибуции звуков монгольских и русского языков.

2. Различаются две разновидности фонетической интерференции: интерференция, встречающаяся только в устной форме русской речи, и интерференция, бытующая и в устной, и в письменной формах русской речи.

3. Степень устойчивости фонетических интерференций зависит от возраста, образования, профессии билингвов и времени их приобщения к русскому языку. Молодежь быстрее преодолевает интерферентные явления. У билингвов старшего поколения с начальным образованием, овладевших русской речью в более зрелом возрасте, интерферентные явления носят постоянный характер.

4. Преодоление фонетических интерференций в русской речи двуязычными бурятами и калмыками, выработанная способность их артикуляционной базы к воспроизведению звуков русского языка иногда оказывает влияние на артикуляцию звуков родного языка. Такие явления, очевидно, представляют собой обычное следствие двуязычия. Л. В. Щерба отмечал, что систематическое употребление второго языка может содействовать распаду оттенков фонем в первом языке [16, с. 38]. Влияние второго языка может содействовать спонтанному развитию первого, активизируя внутренние импульсы языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* О проблеме социальной обусловленности языка.— В кн.: Язык и общество. М., 1968.
2. *Филин Ф. П.* Современное общественное развитие и проблема двуязычия.— В кн.: Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972.
3. *Дешериев Ю. Д.* Введение.— В кн.: Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976.
4. Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР. М., 1981.
5. Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976.
6. *Исаев М. И.* Языковое строительство в СССР. М., 1979.
7. *Самсонов Н. Г.* Заимствования из языков аборигенов Якутии в русском языке (Дореволюционный период).— ВЯ, 1981, № 4.
8. Энциклопедический лексикон. Т. VII. СПб., 1836, с. 436.
9. *Нефедьев К.* Калмыки. СПб., 1834, с. 212.
10. *Ленин В. И.* Рабочий класс и национальный вопрос. Полн. собр. соч., т. 23, с. 150.
11. *Дарбеева А. А.* Развитие общественных функций монгольских языков в советскую эпоху. М., 1969, с. 11—12.
12. *Илишкин И. К.* Развитие калмыцкого литературного языка в условиях формирования калмыцко-русского двуязычия. Элиста, 1972.
13. *Дешериев Ю. Д.* Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Развитие общественных функций литературных языков. М., 1976.
14. Население СССР по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1980, с. 25—26.
15. *Федосеев П. Н.* Марксизм в XX в. М., 1979, с. 336.
16. *Щерба Л. В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958.
17. *Сусеева Д. А.* К вопросу о калмыцко-русском двуязычии.— В кн.: Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972, с. 261.
18. Могучий фактор национально-языкового развития. Фрунзе, 1981.
19. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Литературный язык и язык художественной литературы.— В кн.: Язык художественной литературы Бурятии. Улан-Удэ, 1982, с. 4.
20. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение категорий языка и мышления при двуязычии.— В кн.: Проблемы двуязычия и многоязычия, с. 111.
21. *Тодаева Б. Х.* Дунсянский язык. М., 1961, с. 113—114, 127, 132.
22. *Тодаева Б. Х.* Баоаньский язык. М., 1964, с. 135—136, 142, 145, 146.
23. *Тодаева Б. Х.* Монгорский язык. М., 1973, с. 321, 341—343, 353—355.

ПАРАСТАЕВ А. Ф., СОЛНЦЕВ В. М., ЩЕРБАК А. М., КРУГЛОВ Ю. Г.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕМАТИКИ КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ*

На XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев говорил о том, что «...сама наука должна быть постоянным „возмутителем спокойствия", показывая, на каких участках наметились застой и отставание, где современный уровень знаний дает возможность двигаться вперед быстрей, успешней. Надо думать, как превратить эту работу в неотъемлемую часть механизма управления» [1]. Тематика защищенных диссертаций является прямым отражением современного состояния той или иной науки, она показывает как сильные, так и слабые стороны ее развития.

Ниже мы рассмотрим в основном негативные стороны тематики диссертационных исследований, устранение которых, надо надеяться, послужит дальнейшему совершенствованию языкознания как науки. Ведь от правильного выбора темы, от разумной твердости и вместе с тем гибкости, проявляемых в тематическом планировании работы аспирантов и соискателей, зависит как научная, так и практическая ценность диссертаций.

В основе нашего анализа — тематика кандидатских и докторских диссертаций по языкознанию, защищенных советскими соискателями и рассмотренных ВАК СССР с 1 июля 1978 г. по 1 июля 1981 г.

1. Положительно оценивая в целом работу, проделанную специализированными советами, научными учреждениями и высшими учебными заведениями по улучшению качества кандидатских диссертаций, следует вместе с тем отметить, что еще не все сделано для выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров» от 18 октября 1974 г. (№ 825) [2] и что далеко не все специализированные советы действенно заботятся о новизне и актуальности тематики диссертационных исследований, о соответствии ее современным требованиям.

За указанные три года по языкознанию рассмотрено и утверждено 1357 кандидатских диссертаций. Число диссертаций с каждым годом растет. Если в 1978—1979 гг. их было 413, то в 1979—1980 гг.— 433, а в 1980—1981 гг.—511. Среди утвержденных кандидатских диссертаций на первом месте находятся исследования по германским языкам (519), далее идут диссертации по русскому языку (329), по языкам народов СССР (223, около 90 из них — по тюркским языкам) и затем — по романским (130).

Прежде всего обращает на себя внимание неравномерность распределения диссертаций по специальностям. Например, германские языки представлены чрезмерно большим количеством диссертаций, тогда как по западным славянским и по балтийским языкам их общее количество не достигает тридцати. Мало диссертаций по иранским (5), монгольским (3), палеоазиатским (3), семитским (2) и тунгусо-маньчжурским языкам (2).

Неравномерность распределения наблюдается и в пределах языков одной специальности. Так, на первый взгляд более чем благополучно сложилось положение с германскими языками. Но это благополучие кажущееся: при наличии большого количества диссертаций по английскому и немецкому языкам некоторые германские языки либо вообще не отражены

* Редколлегия приглашает заинтересованные организации, а также отдельных лиц присылать свои замечания и предложения по поставленным в статье вопросам.

в тематике диссертационных работ, либо получили минимальное отражение. К ним относятся нидерландский, исландский, датский, шведский, норвежский, а также древние языки: древнеисландский, готский и другие. Абсолютное большинство диссертаций по специальности «романские языки» приходится на долю французского, всего три диссертации посвящены испанскому языку и совсем нет работ по румынскому, португальскому и итальянскому. Среди тюркских языков лидирующее место по количеству занимает узбекский (около 40). По чувашскому, якутскому, ногайскому и долганскому языкам защищено лишь по одной диссертации, по алтайскому, хакасскому, тувинскому, кумыкскому и уйгурскому защит вообще не было. То же самое можно сказать и о других группах языков.

Неравномерность распределения диссертаций по языкам, отчасти объяснимая различиями в размерах и сфере их использования, становится препятствием для сравнительного и сопоставительного изучения, для теоретических обобщений. Удастся ли расширить наши представления о балто-славянских связях, внести ясность в спорные вопросы, касающиеся существования праславянского языка и периода его распада, если принять во внимание, что фонетика и морфология балтийских, западных и южных славянских языков практически перестает быть объектом систематического изучения? Известно, например, какое значение для праславянских реконструкций имеет акцентологическая система сербскохорватского и словенского языков. Между тем количество кандидатских диссертаций, затрагивающих эту тему, равно нулю. По возможности скорее должны быть охвачены тематикой диссертационных исследований языки малых народностей. Изучение подобных языков осуществляется в рамках обычной исследовательской деятельности наших научных учреждений. Наибольший эффект, однако, оно, видимо, даст при подготовке кадров через аспирантуру. Такой путь не только увеличивает возможности получения новых материалов, но и позволяет планировать преемственность научных кадров. Бо́льшего внимания заслуживают языки народов зарубежных стран Азии и Африки, аборигенов Америки и Австралии.

Тревожным является положение с подготовкой и защитой диссертаций по таким профилирующим специальностям теоретической лингвистики, как сравнительно-историческое и типологическое языкознание. 10 диссертаций из общего количества 1357 — явно недостаточное число.

Нельзя также считать нормальным количество диссертаций, защищенных по специальности «общее языкознание» (54), тем более что примерно половина этого количества отнесена к данной специальности без достаточных оснований. Выше мы отмечали неравномерность распределения кандидатских диссертаций: абсолютное большинство их — по русскому, английскому, немецкому и французскому языкам (около 850). Неравномерность была бы менее значительной, если бы на материале названных языков решались не только вопросы конкретных специальностей, но и проблемы общего языкознания.

Слабо представлена в тематике кандидатских диссертаций социолингвистика, являющаяся одним из актуальных направлений в языкознании.

Почти нет работ по культуре речи, по вопросам формирования различных функциональных стилей: делового, научно-технического, публицистического.

Многие диссертации вызывают сомнения в своей научно-теоретической значимости, страдают «беспроблемностью», особенно характерной для сопоставительных работ и для исследований, посвященных изучению языка и стиля писателей.

Положительное значение сопоставительных работ как пособий по изучению иностранных языков не вызывает сомнений. Но несомненно и то, что не всякое пособие — кандидатская диссертация. Практические разработки и рекомендации по изучению иностранных языков русскими, узбеками, казахами, туркменами, таджиками и т. д. могут быть даны в виде небольших приложений к диссертациям определенной языковой специальности, как это сделано, например, в диссертации Б. Х. Ризаева, выполненной в Ленинградском отделении Ин-та языкознания АН СССР. Тема

его диссертации — «Грамматическое значение фазы прекращения процесса и аналитические средства его выражения в современном немецком языке». Приложение же посвящено описанию средств выражения фазы прекращения процесса в современном узбекском языке. Диссертация Б. Х. Ризаева защищалась по специальности «германские языки».

Сопоставление двух, трех и бóльшего количества языков вполне допустимо, но должно осуществляться лишь в целях решения определенной научной проблемы. И, наконец, подобные диссертации надо защищать по специальности «типологическое языкознание», а не по специальностям сопоставляемых языков. Только таким образом будет создан надежный заслон непрерывно увеличивающемуся потоку теоретически слабых сопоставительных работ.

Довольно много диссертаций защищается на тему «Язык и стиль писателя» («Язык Арчила Багратиони», «Язык и стиль Ш. Дадиани», «Язык и стиль произведений Саида Ахмада», «Язык поэзии Максуда Шейх-заде», «Лексико-стилистические особенности художественной прозы Алишера Навои» и т. д.). Нельзя отрицать актуальность этой темы. Нетерпимость же должна быть проявлена не в отношении самой темы, а к шаблонности ее выполнения, к отсутствию в диссертациях рассматриваемой тематики постановки и решения каких-либо проблем. За редкими исключениями, они написаны по одной-двум схемам: 1) речь литературных персонажей (монолог, диалог; средства индивидуализации: диалектизмы, профессионализмы); изобразительные средства авторской речи; новаторство в использовании общеупотребительных языковых единиц; 2) своеобразие лексических средств (синонимы, антонимы, фразеологические единицы, афоризмы); своеобразие лексико-грамматических средств (особенности употребления существительных, прилагательных, числительных, местоимений и т. д.). Схемы переносятся из одной работы в другую либо в неизменном виде, либо с небольшими модификациями, и новаторство диссертанта сводится лишь к тому, что он распределяет слова, выписанные из одного или из нескольких художественных произведений в соответствии с избранной схемой.

Беспроблемность и однотипность характерны также для многих диссертаций по экспериментальной фонетике. Достоинством в них принято считать строгое соблюдение комплекса методических правил. Что же касается конечных результатов исследования, т. е. фонологической интерпретации звуков, то им, по существу, не придается большого значения. И это не случайно: они часто совпадают с результатами, полученными путем применения традиционных приемов слухового эксперимента. Преимущество инструментального метода перед слуховым — в его большей точности, но, во-первых, эта точность нередко приблизительная, во-вторых, точность — не самоцель, степень ее определяется задачами исследования. Для представителей технических областей науки важны величины, близкие к абсолютным, для фонетистов же главная цель заключается в установлении относительных величин, являющихся порогами восприятия различий между звуками. Примечательно, что изгнание теории из диссертаций, тематика которых связана с экспериментальным изучением звуков и просодических явлений, проводится под флагом борьбы с «бумажной» фонетикой. Фактическим же итогом ее явились заметная утрата собственно научных лингвистических позиций в исследовании фонетики и переход к преимущественно типовому описанию инструментальных данных.

Критически оценивая однотипность и схематизм в выполнении диссертационных работ, мы хотели бы особо подчеркнуть то, что любые формы постановки диссертаций на конвейер находятся в резком противоречии с природой и духом научного поиска. Внедрение шаблонов несомненно ведет к количественному росту диссертаций, но наука от этого только проигрывает.

Серьезным недостатком диссертаций является узость их тематики. Вот несколько примеров: Н. Д. Беляева, «Прилагательные, обозначающие цвет, в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова»; В. В. Карпова, «Иноязычная лексика в художественном тексте (на материале романа А.М. Горь-

кого «Жизнь Клима Самгина»); Л. А. Новикова, «Диминутивы существительных в устно-разговорной диалектной речи (на материале говоров Ярковского района Тюменской области)»; Ж. В. Красножан, «Виноградарская лексика в украинском языке»; Э. Г. Жигачева, «Системная организация общей лексики (на материале английских текстов по водному транспорту)»; У. Джусупакмадов, «Отношение киргизского языка к сибирским тюркским языкам (на материале форм прошедшего времени глагола)» и др. Узость тематики и ограниченность материала — большая помеха для получения исчерпывающей информации об объекте исследования и, в особенности, для решения серьезных научных проблем.

В ряде случаев узость тематики связана с делением единого объекта исследования, характеризуемого тесным взаимодействием и взаимообусловленностью входящих в него элементов, на несколько частей. Мы имеем в виду, в частности, диссертации, посвященные экспериментальному исследованию фонетики малоизученных языков народов Сибири, в которых вокализм отделен от консонантизма, а просодические явления рассматриваются нерегулярно. Назовем некоторые из них: Я. А. Глухий, «Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным»; В. А. Сусеков, «Вокализм энецкого языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале диалекта бай)»; А. К. Столярова, «Консонантизм иганасанского языка (по экспериментальным данным)»; И. Я. Селютина, «Кумандинский консонантизм (экспериментально-фонетическое исследование); Н. П. Бельтюкова, «Консонантизм долганского языка (экспериментальное исследование)». Насколько бы обогатилась наука и увеличилась заинтересованность авторов в дальнейших поисках, если бы темы этих диссертаций были сформулированы примерно так: «Состав звуков и просодических явлений энецкого языка» или: «Экспериментальное исследование звуков и просодических явлений иганасанского языка» и т. д. Ведь хорошо известно, что многие фонетические процессы не только на границе слогов, но и внутри слога обусловлены взаимодействием гласных и согласных, что типы артикуляции тех и других отражают особенности их примыкания друг к другу и что количественные характеристики гласных и согласных регулируются устойчивой мерой слоговой длительности. Не учитывать это обстоятельство — значит с самого начала лишить себя возможности глубинных поисков, максимально полного учета факторов, влияющих на качество и количество звука и тем самым обеднить выводы. Ученый вправе абстрагироваться от целого, изучать одну из его сторон, но отвлечение от целого, обращение к его части должно быть следствием постановки специальных задач и не должно приводить к снижению степени достоверности получаемых результатов.

Изучение тематики кандидатских диссертаций показывает устойчивую приверженность к складывающимся штампам в их наименовании. Самый распространенный из них в настоящее время — обозначение в названии диссертации наряду с материалом метода исследования, например: «Структурно-семантический анализ», «Сравнительно-типологическое исследование» «Опыт сопоставительного изучения», «Лингвогеографическое описание» и т. д. Можно согласиться с тем, что иногда трудно обойтись без дополнительных формулировок темы, но часто они излишни. Возьмем такое дополнительное наименование, как «Лингвогеографическое описание». Экспертиза некоторых диссертаций по лингвогеографической тематике показала, что ничего лингвогеографического в них нет. Приводятся две-три карты с указанием нескольких пунктов распространения какого-либо явления, затем факты описываемого говора сопоставляются с фактами, содержащимися в описаниях других говоров, причем совпадения именуются изоглоссами. Однако понятие изоглоссы продуктивно только в лингвогеографическом смысле. Это значит, что выделять и отбирать совпадения надо не из разных диалектологических работ, а из собранных по единой программе материалов, с учетом фиксируемой на картах абсолютной или относительной непрерывности языковых явлений. В противном случае в число изоглосс могут попасть т и п о л о г и ч е с к и сходные факты. В диссертациях, которые имеются в виду, методы не являются объектом

специального изучения и выдвигаются на первый план необоснованно. Обычно они и не оригинальны: привносятся в диссертации в готовом виде из других работ.

Хотя в тематике кандидатских диссертаций в основном устранено дублирование, все же области исследования иногда перекрещиваются. Вспомогательный глагол *бўл-* был подробно описан в трех диссертациях по узбекскому языку, защищенных в период с 1970 по 1978 г. Кроме того, в 1973 г. он стал объектом специального исследования (А. А. Цалкаламанидзе, «Система значений и функционирование глагола *бўл-* в современном узбекском литературном языке»). В период с 1 июля 1978 г. по 1 июля 1981 г. были защищены еще две сходные по тематическому содержанию диссертации (Т. Алламатов, «Вспомогательные глаголы в узбекских народных говорах» и Б. Садыков, «Функционирование вспомогательного глагола *„бўл“* в качестве связки в современном узбекском литературном языке»). К этому надо добавить, что вспомогательный глагол *бўл-(бол-)* специально исследовался также в близкородственных языках.

Не исключено, что дублирование тем или частичное перекрещивание тематики становятся возможными из-за отсутствия систематической и полной информации. По-видимому, целесообразно подготовить и издать справочник, содержащий сведения о кандидатских и докторских диссертациях по языкознанию, защищенных в Советском Союзе до 1980 г.

Вместе с тем имеет место и вполне осознаваемое дублирование. Чаще всего причина его в том, что при исследовании близкородственных языков диссертанты пользуются сходными материалами, выбирают одинаковые темы и стараются не выходить за пределы традиционной методики. Если, допустим, внимание диссертантов привлекает морфология, то последовательно на материале нескольких родственных языков исчерпывается круг подлежащих решению морфологических проблем, если же в центре внимания оказывается синтаксис, появляются целые серии диссертаций, каждая из которых носит наименование какого-либо синтаксического раздела (ср.: «Прямое дополнение в казахском языке», «Прямое дополнение в узбекском языке», «Прямое дополнение в киргизском языке», «Прямое дополнение в каракалпакском языке», «Косвенное дополнение в киргизском языке» и т. д.). Возникает ситуация, когда определение актуальности и новизны становится беспредметным занятием. Изменить положение можно лишь путем повышения требовательности к авторам диссертационных работ, обязывая их при обосновании выбора темы учитывать степень ее изученности не только в исследуемом языке, но и во всех других близкородственных языках.

Перечисленные недостатки должны быть тщательно проанализированы в специализированных советах. Их устранение, являющееся предметом нашей общей заботы, позволит значительно улучшить тематику кандидатских диссертаций, придать ей такую направленность, которая обязательно ориентировала бы соискателей на поиски нового, на высокий теоретический уровень исследований, на их практическую значимость.

2. С 1 июля 1978 г. по 1 июля 1981 г. Президиум ВАК СССР утвердил 121 докторскую диссертацию по языкознанию как соответствующие основным требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук. В подавляющем большинстве докторских диссертаций решены крупные научные проблемы, возрос их идейно-теоретический уровень, усовершенствовалась методика исследования материала. Значителен вклад диссертационных работ в теорию языкознания и в практическую деятельность языковедов и преподавателей языка. В качестве примера можно привести диссертации Д. И. Алексеева «Аббревиация в русском языке», А. А. Вербицкой «Современное русское литературное произношение (теоретические проблемы и экспериментальные данные)», Л. К. Граудиной «Теоретический и методологический аспекты нормализации языка (грамматика и варианты)», П. Н. Денисова «Основные проблемы теории лексикографии» и Б. Ю. Городецкого «Теоретические основы прикладной семантики». Но это вовсе не означает, что все утвержденные работы равноценны по масштабности и актуальности своей

тематики, все в равной степени отвечают самым высоким требованиям науки.

По специальностям распределение утвержденных докторских диссертаций следующее:

специальность 10.02.01 (русский язык) — 39
специальность 10.02.02 (языки народов СССР) — 19
специальность 10.02.03 (славянские языки) — 8
специальность 10.02.04 (германские языки) — 10
специальность 10.02.05 (романские языки) — 3
специальность 10.02.06 (тюркские языки) — 8
специальность 10.02.07 (финно-угорские языки) — 2
специальность 10.02.08 (иранские языки) — 3
специальность 10.02.09 (кавказские языки) — 1
специальность 10.02.14 (классическая филология) — 3
специальность 10.02.15 (балтийские языки) — 5
специальность 10.02.19 (общее языкознание) — 9
специальность 10.02.20 (сравнительно-историческое и типологическое языкознание) — 4
специальность 10.02.21 (структурная, прикладная и математическая лингвистика) — 3
специальность 10.02.22 (языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии) — 4

Итого — 121

Больше всего диссертаций защищено по специальностям «русский язык» и «языки народов СССР». Фактически к числу диссертаций, посвященных исследованию языков народов СССР, следует также отнести 8 диссертаций, указанных в графе специальности «тюркские языки», 2 — по финно-угорским языкам, 3 — по иранским языкам, 1 — по кавказским языкам и 5 — по балтийским языкам. Таким образом, исследованию языков народов Советского Союза посвящено 38 диссертаций. Эти данные отражают преимущественный интерес к изучению языков нашей страны, что оправдано и в научном, и в практическом отношении.

Довольно много работ защищено по специальности «германские языки» (10) и по специальности «славянские языки» (8), значительно меньше по романским языкам (3) и по специальности «языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии» (4).

Невелико количество общетеоретических исследований. Так, по специальности «общее языкознание» защищено только 9 работ, по сравнительно-историческому и типологическому языкознанию — 4, по структурной, прикладной и математической лингвистике — 3. Из 3 работ, защищенных по специальности «классическая филология», собственно лингвистической является только одна — «Развитие диалектальных фонологических систем народной латыни» (А. В. Широкова), тогда как две другие («Мир греческого рыцарского романа» и «Типология художественного мышления гомеровского эпоса») не имеют отношения к лингвистике.

Следует задуматься над сравнительно небольшим удельным весом общетеоретических исследований. Правда, ряд диссертаций, которые числятся по другим специальностям, в частности, по германским языкам, имеет явно общетеоретическое значение [«Проблемы парадигматического синтаксиса», «Проблемы семантико-грамматических противопоставлений в современном английском языке» (Д. А. Штеллинг)]. К общетеоретическим исследованиям относятся и некоторые работы по специальности «структурная, прикладная и математическая лингвистика». Но если даже расширить число общетеоретических работ за счет диссертаций, выполненных по другим специальностям, то все равно приходится констатировать недостаточный интерес ученых к «большой теории», к решению крупных общелингвистических проблем, определяющих пути и методы исследований в конкретных специальностях. Среди общелингвистических

работ рассматриваемого периода имеются крупные обобщающие работы: «Проблемы теории морфологических моделей» (Т. В. Булыгина-Шмелева), «Проблема функционального базиса речи» (И. Н. Горелов) и др. Однако нет работ по знаковой теории языка, проблемам связи языка и мышления, языка и общества и другим кардинальным вопросам. Думается, нужны исследования по проблемам соотношения грамматического и лексического в языке во всех аспектах, включая вопросы природы грамматического значения и процессов грамматикализации лексических единиц. Необходимы обобщающие работы по проблемам агглютинации (виды и типы агглютинации) и флексии, нужны исследования по теории перевода, по методам и приемам лингвистического анализа. Имеется потребность в критическом осмыслении таких понятий современной лингвистики, как «грамматика падежей», «компонентный анализ» и т. д.

Следует обратить серьезное внимание на необходимость создания фундаментальных исследований по специальностям, по которым мало или вообще не было диссертаций. Например, по монгольским языкам в 1978—1981 гг. не было защищено ни одной докторской диссертации.

В связи с вопросом о распределении работ по лингвистическим специальностям важно коснуться номенклатуры самих специальностей. Во-первых, наряду со специальностью «языки народов СССР» в номенклатуре имеются традиционные специальности, отвечающие сложившимся направлениям языкознания — так называемым частным языкознаниям: тюркское, иранское, балтийское, финно-угорское языкознание и т. д. Но почти все тюркские, балтийские, большинство финно-угорских, значительная часть иранских и т. д. являются языками народов СССР. И возникают труднообъяснимые ситуации, когда, например, одна диссертация по азербайджанскому языку идет по специальности «языки народов СССР» (Ф. М. Агаева, «Синтаксис азербайджанской разговорной речи»), а другая по тому же языку числится по специальности «тюркские языки» (Н. Д. Абдуллаева, «Синтаксическая синонимия в современном азербайджанском языке»).

Во-вторых, возникает вопрос о целесообразности существования наряду со специальностью «языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии» специальности «семитские языки». Ведь почти все семитские языки (сейчас более употребителен термин «афразийские языки») — это составная часть языков народов зарубежных стран Азии и Африки.

Серьезный вопрос — определение критериев отнесения диссертаций к специальности «общее языкознание». Как уже отмечалось выше, некоторые работы, выполненные на основе английского языкового материала, явно имеют общеязыковедческое звучание и значение. Кстати, можно напомнить, что работы такого крупного лингвиста-теоретика, как А. И. Смирницкий, были названы «Синтаксис английского языка», «Морфология английского языка», «Лексикология английского языка». Общая теория чаще всего вырастает из конкретного материала. Поэтому если работа выполнена на основе фактического материала, нет оснований не причислять ее к специальности «общее языкознание». Необходимо, однако, разработать критерии, которые позволяли бы аргументированно, а не «на глазок» относить диссертацию к специальности «общее языкознание». И нельзя, конечно, любую работу с крупными обобщениями, важными для частного языкознания, числить по общему языкознанию.

Несомненно, все типологические исследования имеют прямое отношение к общему языкознанию. Вероятно, именно поэтому диссертация П. М. Алексеева «Квантитативная типология текста» выполнена по специальности «общее языкознание». Согласно же номенклатуре, типологическое языкознание как составная часть входит в специальность 10.02.20 («сравнительно-историческое и типологическое языкознание»).

В последние годы особенно интенсивно развивается социолингвистика. Выделившаяся в отдельную область языкознания, она требует своего особого места и в номенклатуре специальностей.

Все сказанное позволяет поставить вопрос перед Госкомитетом Совета

Министров СССР по науке и технике о целесообразности уточнения номенклатуры специальностей по языкознанию.

Коснемся теперь распределения диссертационных работ по направлениям лингвистики, соответствующим расчленению самого объекта исследования — языка. Бóльшая часть защищенных диссертаций — по лексикологии (21), второе место занимают работы по синтаксису (17). По морфологии защищено 12 диссертаций, по фонетике и фонологии 10, по диалектологии 9, по фразеологии 8 и т. д. Если считать, что работы по фразеологии примыкают к лексикологическим (хотя они должны касаться и синтаксических вопросов), то весь этот цикл составит наибольшую часть (одну четвертую часть) всех защищенных диссертаций. На наш взгляд, это не вполне оправданный крен. Фразеология— важнейший компонент лексического состава каждого языка, и изучать ее, конечно, нужно. Но не фразеология определяет специфику языковой системы. В числе рассматриваемых диссертационных работ имеются исследования по русской, украинской, итальянской, лезгинской, вьетнамской фразеологии. Вряд ли каждый язык при исследовании его фразеологии требует нового освещения фундаментальных принципов общей теории фразеологии. Увлечение фразеологическими исследованиями может повести в сторону от проблемно-теоретического анализа материала.

По ряду же направлений в лингвистике защищается явно мало диссертаций. Мы имеем в виду социолингвистику, этно- и психолингвистические проблемы науки. Вероятно, следовало бы увеличить количество исследований по проблемам морфологии, фонетики и фонологии.

Среди диалектологических работ преобладают диссертации по русской и узбекской диалектологии. Изучение диалектов других народов в широком масштабе ведется слабо. Заслуживают положительной оценки диссертации на темы «пограничного» характера. К их числу относится работа В. П. Григорьева «Поэтика слова». В ней, по существу, обосновывается новая филологическая дисциплина — лингвистическая поэтика. К сожалению, таких работ очень мало.

Особый вопрос — о «крупных» и «мелких» темах исследований, о выработке критериев определения их «диссертабельности». Например, среди докторских диссертаций по вопросам словообразования можно встретить темы о словообразовании как явлении, характерном для языка вообще, о всей системе словообразования какого-либо языка, об аффиксальном словообразовании в каком-либо языке, о словообразовании одной части речи, о словообразовании разряда слов в рамках одной части речи. Как видим, вариации объема тем по словообразованию весьма велики. В связи с этим возникает вопрос: не следует ли выработать стандарт «крупности» темы для докторских диссертаций, тем самым отграничив их тематику от тематики кандидатских диссертаций? Ставя этот вопрос, мы конечно, понимаем, что на одну и ту же тему можно написать и дипломную работу, и кандидатскую, и докторскую. И все же тематика докторских работ должна, вероятно, в явной форме отличаться от тематики кандидатских диссертаций. Речь идет о таких темах, как, например, тема диссертации И. Кугкартаева «Семантика глаголов речи в узбекском языке (компонентный и валентный анализ)». Подобные темы могли бы быть пригодными и для кандидатских диссертаций.

Следует подумать также об оправданности тематики ряда сопоставительных работ, в которых языки сравниваются не по системам в целом, а по какому-либо одному явлению. Это, в основном, кандитатские диссертации, однако встречаются и докторские, например, диссертации Л.-В. Валейки «Образование, структура и семантика именных словосочетаний в литовском языке (в сопоставлении с английским)». Почему в данном случае литовский язык сопоставляется с английским, а не с французским или испанским? В работах подобного типа всегда есть элемент случайности в выборе темы.

Случаев явного дублирования тематики среди защищенных в 1978—1981 гг. докторских диссертаций нет. Однако имеются диссертации на близкие темы. А неразработанных тем в то же время — непочатый край.

Выше уже говорилось о несомненной перспективности «пограничных» тем. Их сильная сторона в том, что они позволяют диссертантам найти новую точку зрения на те или иные проблемы языкознания. Темы не «стыковые», но содержащие новый подход к языку, новый взгляд на его функционирование и его роль в процессе общения людей, также весьма плодотворны. К таковым относится тема диссертации Л. А. Киселевой «Проблемы исследования русского языка как средства воздействия». С этой точки зрения русский язык монографически не изучался.

Среди защищенных работ имеются работы по стилистике, в том числе по изучению стиля большевистской печати, и, в частности, ленинской «Искры». Это исключительно важная тематика, разработка которой имеет не только теоретическое, но и важное практическое, воспитательное значение.

Аттестация кандидатов и докторов наук по языкознанию за последние три года показывает, что серьезное повышение требований к диссертационным исследованиям после перестройки работы ВАК СССР и выработки нового Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий дало уже свои реальные плоды. Повышение требовательности к диссертациям благотворно сказалось и на тематике диссертационных работ, которые в целом отвечают новым требованиям. Но имеется еще много резервов как для улучшения качества квалификационных работ, так и для дальнейшего развития лингвистики как науки.

Об определении тематики диссертационных исследований следует заботиться прежде всего научным учреждениям, кафедрам и ученым советам. Отбор тематики — дело сложное, и здесь не место произволу и волевым решениям. Тема диссертации должна подсказываться всем ходом развития науки, внутренней логикой ее поступательного движения.

Нельзя идти на поводу у отдельных исследователей, готовых всю жизнь заниматься изучением только какого-либо одного вопроса, хотя необходимо учитывать и личные научные интересы ученых. Надо умело направлять внимание и усилия соискателей на решение наиболее важных проблем науки. Успех сопутствует обычно тому, кто увлечен темой, живет ею. Очевидно, верна старая истина, что в определении тематики диссертационных исследований необходимо органическое сочетание интересов развития данной отрасли науки и интересов ученого.

Назрело время для создания Координационного центра по тематике докторских диссертаций. Это дало бы возможность вести учет всех разрабатываемых докторских диссертаций, избегать дублирования, рекомендовать научным и научно-педагогическим учреждениям наиболее перспективные направления, в русле которых целесообразно вести диссертационные исследования. По нашему мнению, такой Координационный центр следует создать при Отделении литературы и языка АН СССР.

Совершенствованию тематики могут помочь регулярные публикации тем кандидатских и докторских диссертаций, утвержденных ВАК СССР, в журналах «Вопросы языкознания» или «Филологические науки».

Аттестация научных и научно-педагогических кадров — дело большой государственной важности, и относиться к нему в нашей повседневной практике надо так, чтобы ответом на постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров» уже в ближайшие годы стало бесспорное и очевидное повышение эффективности языкознания как науки. Одним из важных условий достижения этой цели является улучшение тематики как кандидатских, так и докторских исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.— В кн.: Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 43.
2. Высшая школа. Сб. основных постановлений, приказов и инструкций. Под ред. Войленко Е. И. Ч. 2. М., 1978, с. 51—52.

ВЕРЕЩАГИН Е. М.

У ИСТОКОВ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: МЕНТАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИЕМ ТЕРМИНОТЕОРЧЕСТВА

К 1100-летию кончины Мефодия, первоучителя славянского (19 апреля 1985 г.)

Какой именно текст Кирилл и Мефодий перевели в самом начале своей просветительской деятельности,— надежно известно. Первоначально был переведен Пролог к Евангелию от Иоанна, т. е. Ин 1, 1—18.

Пространное Житие Кирилла [1] так повествует об этом: Кирилл абѣ сложи писмена, и начеть бесѣдоу писать еу(агге)лскоу, еже: «Искони бѣ слово, и слово бѣ от(ъ) б(ог)а и б(ог)ъ бѣ слово» и прочее. Здесь Житие останавливается, однако если продолжить евангельский текст (например, по Зографскому евангелию X—XI вв. [2]), то нельзя не заметить, насколько отлична от обиходно-бытовой семантика лексемы *слово*.

В Прологе провозглашается (1) изначальность и, стало быть, (2) вечность слова: искони бѣ слово. Затем подчеркивается (3) его божественное происхождение и, более того, (4) тождество божеству: слово бѣ от(ъ) б(ог)а, и б(ог)ъ бѣ слово. Излагается (5) мысль о креационной функции слова: вьсе тѣмь бъıша. ı бежнего ничьтоже не бысть. еже бысть. Слово приравнено (6) жизни: въ томь животъ бѣ. Вершиной Иоанновой концепции слова, согласно мнению специалистов, является учение о (7) материализации духа, которое в христианской догматике преломилось как (8) воплощение второй ипостаси Троицы.— ı слово плъть бысть. ı вьселиса въ ны. ı видѣхомъ славѫ его. Если присоединиться к взгляду на семантику слова как на совокупность относительно цельных и самостоятельных семантических долей (см. [6]), то в Прологе нашли свое выражение 8 семантических долей слова *слово*.

В греческом исходном тексте лексеме *слово* соответствует знаменитый ключевой философский термин λόγος. Пролог в концентрированном виде (поэтому намеками, но вполне внятно для посвященных) воспроизводит сложное, детально развитое и чреватое важными мировоззренческими импликациями «мудрствование» (=философию, φιλο-σοφία) о духовных началах жизни. Философия — это наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как бытие (природа и общество), так и человеческое познание [7; см. также 8], и термин λόγος занимает в этой эллинистической науке центральное место. По А. Ф. Лосеву, λόγος — «непереводимый и один из самых оригинальных и популярных терминов античной и средневековой философии» [9].

Итак, в Прологе речь отнюдь не идет о слове в обиходно-бытовом смысле, т. е. об обычной единице обычного языка. Λόγος не есть обиходно-повседневное выражение, а восходящий к нему одноименный философский термин.

---

[1] Несколько замечаний об источниках. Пользуемся критическим изданием греческого Нового Завета [1]. Житие цитируется по изданию Б. Ангелова и Х. Кодова [2] с учетом изданий П. А. Лаврова [3], чехословацкого коллектива [4] и русского перевода Б. Н. Флори [5]. Славянский текст воспроизводится с несущественными (для лексикологических разысканий) упрощениями: некоторые дублетные буквы передаются единообразно; надстрочные буквы без специальной оговорки вносим в строку; дополняемые буквы заключаем в круглые скобки.

[2] Цитируем по известному изданию И. В. Ягича.

Когда первоучители отождествили греческий термин λόγος и славянскую лексему *слово*, состоялся молчаливый, но тем не менее вполне очевидный перенос на славянскую обиходную лексему греческой философской семантики. Перед нами акт терминотворчества: скорее всего, мы наблюдаем (вне духовных границ язычества) возникновение первого философского термина на славянской почве.

Пролог включает в себя и другие философские (онтологические, гносеологические, этические и эстетические) термины: ἀλήθεια, ἄνθρωπος, ἀρχή, γίγνομαι, γινώσκω, δόξα, ζωή, ἐξηγέομαι, ἐξουσία, ἴδιος, κόσμος, μαρτυρέω, μονογενής, νόμος, πιστεύω, πίστις, πλήρωμα, σάρξ, σοφία, φῶς, φωτίζω, χάρις. Ср. соответствия этим терминам: *истина*, *человѣкъ*, *быти*, (*по*)*знати*, *слава*, *животъ*, *исповѣдети*, *власть*, *свои*, *миръ*, *съвѣдетельствовати*, *иноѧдъ*, *законъ*, *вѣровати* (*вѣра*), *испльненїе* (*пльньта*), *плъть*, *тьма*, *свѣтъ*, *просвѣштати*, *благодѣть*. Некоторые из перечисленных славянских лексем прочно закрепились в философском словарном запасе как первого литературного языка славян, так и новых литературных славянских языков (в частности, русского).

Таким образом, текст, который пришлось перевести Кириллу и Мефодию в самом начале подготовки к Великоморавской миссии, оказался не каким-либо, а именно философским. Да и в дальнейшем первоучители славянские занимались переводами философских по преимуществу произведений: ветхо- и новозаветные книги, определения вселенских соборов, патристические трактаты, гомилетические и агиографические творения, литургическая поэзия — все типы и жанры греческой словесности, над которыми они потрудились, были насыщены философско-теологическими терминами. Создание (адекватной греческой) славянской терминологической номенклатуры стало задачей солунских братьев в первый момент их переводческой деятельности, и эта задача оставалась для них актуальной на всем протяжении просветительских трудов.

Братья были как нельзя лучше подготовлены к делу, за которое принялись. Не случайно Кириллу источники единодушно присвоили атрибут Философа: философия была его специальностью, поскольку в качестве хартофилакса он принял сан учителя и учил философии «своих и чужеземцев». Ему принадлежит известное определение философии как науки [10]. Его современник Анастасий Библиотекарь, сам высокоученый человек, называет Кирилла чудным (дивным) философом, разумнейшим мужем. Он, надо полагать, был автором самостоятельных философско-теологических трактатов и диалогов (например, в защиту иконопочитания). Что же касается Мефодия, то специальный анализ произведений, переведенных им после кончины брата (мы исследовали перевод Мефодием Слова о сошествии во ад, гомилии, надписанной именем Епифания Кипрского), показывает, что и ему свойственна высокая образованность и что характерная для него одного практика славянского терминотворчества не отличается качественно от совместной терминологии с Кириллом (см. [11]).

Кирилл и Мефодий заложили костяк славянского философского языка: они «являются создателями первой философской терминологии на славяно-болгарском языке, включающей такие общие понятия и категории, как естество, свойство, сущность, природа, вселенная, закон, бытие, небытие, бог, божество, идея, существо, понятие, мудрость, воображение, диалектика, философия и многие другие» [12]. Между тем, хотя нет недостатка в работах, посвященных общей оценке философской позиции и особенно оригинального философско-теологического творчества великой двоицы, конкретные разыскания, которые были бы нацелены на факты (выявление приемов терминотворчества; древнейшая терминологическая номенклатура), все еще заставляют себя ждать.

В настоящей статье предпринята попытка осмыслить и описать всего лишь один прием, к которому, как кажется, время от времени обращались Кирилл и Мефодий (а также их прямые и отдаленные ученики), создавая славянские термины в качестве эквивалентов греческим. Прежде чем перейти, однако, к непосредственному предмету рассмотрения, требуется, во-первых, кратко суммировать то понимание термина и терминотворчества,

к которому мы примыкаем, и, во-вторых, столь же кратко охарактеризовать уже установленные приемы создания терминов.

В определении термина непременно присутствует указание на о с о б у ю (по сравнению с обычным словом) природу так названной лексической единицы. Термин — это принадлежность специального (научного, технического, ремесленного, промыслового и т. д.) языка, средство номинации специальных (свойственных науке, технике, ремеслу, промыслу и т. д.) понятий или предметов.

Поскольку термин принадлежит не всеобщему, а групповому языку, его семантика относительно податлива сознательным, целенаправленным, регулирующим модификациям. Группа может «договориться» вкладывать в тот или иной термин известное содержание. Конечно, группа лиц, объединенных общим родом занятий или совокупностью взглядов, может создавать новые слова (путем деривации, словосложения) или заимствовать терминологию из другого языка. При этом не исключается, что группа внутри себя согласится по-особому толковать какое-либо слово или словосочетание всеобщего языка.

Если же слово обиходно-естественного языка стало термином, оно непременно меняет свою семантику. Действительно, это вытекает хотя бы из того, что термины называют понятия или предметы, отсутствующие в общеязыковом сознании, произведенные как раз в рамках группы специалистов. Перемены в семантике бывают различными (от малоощутимых сдвигов до противоположности смыслов), но все же в типичном случае термин сохраняет смысловые связи с одноименным словом.

Кроме того, надо отметить ведущую роль индивида в терминотворчестве. Если (вслед за Соссюром) всеобщий язык можно по отношению к отдельному члену языковой общности уподобить явлению природы,— следовательно, слова и в плане внешней формы, и в плане содержания «принудительны» для каждого,— то специальный язык уподобляется явлению культуры, и термины (в обоих планах) могут формироваться и изменяться по воле индивида. Группа выделяет из своей среды лидеров (признанных ученых, основателей школ, авторитетных изобретателей, военачальников, мастеров и т. д.), а эти последние вносят свой ощутимый вклад в терминологический багаж группы. Следовательно, если словотворчество, как правило, коллективно, то терминотворчество может быть и личным.

Наконец, подчеркнем эзотеричность группы по сравнению с незамкнутой языковой общностью: член этой общности может стать членом группы не просто с ее согласия, а только овладев (через сознательное обучение) соответствующим специальным языком.

Такова сумма сведений о термине. Как и любая другая, сумма эта схематична, прямолинейна, но не искажает и не упрощает сложного явления. Мы не можем аргументировать данных тезисов (см., впрочем, [6, с. 159—169]), иначе бы сместились акценты и пропорции статьи.

Итак, отождествив греч. λογος и слав. *слово*, Кирилл и Мефодий осуществили индивидуальный акт терминотворчества. Они перевели славянское обиходное, вполне повседневное слово *слово* в разряд терминов, перенеся на него (благодаря эзотерическим контекстам Пролога) особый комплекс сведений и ассоциаций («приписанных» семантических долей, как мы видели, оказалось 8) [3].

Пусть примененный здесь прием,— он состоит в перенесении лексической единицы из всеобщего языка в групповой,— называется т р а н с п о з и ц и е й. В музыковедении транспозицией называют перенос звуков музыкального произведения на определенный интервал вверх или вниз, причем само произведение одновременно и изменяется (в тональности), и сохраняется (в мелодике). При транспозиции в терминотворчестве слово, ставшее термином, также имеет внешне противоречивые характеристики: его семантика, конечно, модифицируется, но в то же время не порывает с исходной.

---

[3] Конечно, ограниченный контекст Пролога не исчерпывает широкого семантического пространства этого центрального философского термина. Кроме [9], см. еще [13—16].

Прием транспозиции в славянском философско-теологическом терминотворчестве нашел широчайшее применение. Исконные славянские слова *агнѧ/агньць*, *благо*, *блаженъ*, *ближнии*, *вечерѧ*, *вещь*, *вина*, *власть*, *доухъ*, *доуша*, *житиѥ*, *законъ*, *любы*, *миръ*, *нравъ*, *плъть*, *родъ*, *сила*, *съвѣть*, *съмыслъ*, *число*, *чѧсть* (список легко продолжается и продолжается) путем транспозиции стали равны греческим терминам ἀμνός, τὸ ἀγαθόν, μακάριος, ὁ ἐγγύς, δεῖπνον, πρᾶγμα, αἰτία, ἐξουσία, πνεῦμα, ψυχή, βίος, νόμος, ἀγάπη/φιλία, ὄσμος, τρόπος, σάρξ, γένος, δύναμις, βουλή, διάνοια, ἀριθμός, μερίς. Перечисленные термины выписаны из переводов Евангелия, Апостола и Псалтыри, так что они, несомненно, являются кирилло-мефодиевскими. Всем им была уготована долгая жизнь, вплоть до наших дней.

Второй прием терминотворчества — з а и м с т в о в а н и е, перенос (путем фонетико-морфологической адаптации) греческого термина в его внешней форме на славянскую почву. В Прологе среди заимствований встречаются только имена собственные, однако в других евангельских текстах немало и нарицательных имен, выступающих как философские, в том числе этико-эстетические, термины. Например, *авва*, *аминь*, *ангелъ*, (*архи*)*ерей*, *вельзѣвулъ*, *геена* (*геона*), *евангелиѥ*, *ехидна*, *легеонъ*, *лепта*, *мамона*, *осана*, *параклитъ*, *пасха*, *равви*, *сканъдалъ*, *скиния*, *сотона*, *талантъ*, *фарисеи*, *упокритъ* [4] и др.

Третий прием — к а л ь к и р о в а н и е, т. е. построение славянских номинативных словосочетаний или слов — непременно производных или многокоренных, т. е. непростых, — по моделям соответствующих греческих терминов.

Примеры терминологических словосочетаний: *ветъхыи завѣтъ* при греч. παλαιὰ διαθήκη, *ветъхыи человѣкъ* при παλαιὸς ἄνθρωπος или *нищии доухъмь* при πτωχοὶ τῷ πνεύματι.

Морфологическая калька *ино-чѧдъ* при греч. μονο-γενής встретилась уже в первоначально переведенном Прологе, и число подобных калек значительно в евангелиях и особенно в патристических переводах. Ср.: *безаконiѥ*, *бездъна*, *благоволити*, *благовѣстити*, *благотворити*, *домоустроити*, *жестосрѣдiѥ*, *законоучитель*, *засъвѣдѣтельствовати*, *зълодѣи*, *зълословити*, *зълотворити*, *искоренити*, *кънижьникъ*, *лихоимьствiѥ*, *лъжесъвѣдѣниѥ*, *маловѣръ*, *невѣрьнъ*, *невѣрьство*, *неповиньнъ*, *неразоумiивъ*, *нержькотворенъ*, *нечистота*, *просвѣтити*, *прѣображенiѥ*, *самовидьць*, *съгрѣшати*, *съложенiѥ*, *человѣкоубiица*, *ѩзычьникъ* и т. д. Большинство имен существительных с абстрактным — преимущественно философско-теологическим значением — по образованию представляют собой кальки (морфологические переснимки); см. [18—20].

Таким образом, в терминотворчестве Кирилла и Мефодия обнаруживаются три приема — транспозиция, заимствование и калькирование. Все они были, и не раз, предметом научного описания [5]; мы бегло остановились на них исключительно с целями систематизации. Переходим сейчас к последнему, четвертому приему терминотворчества, к так называемой м е н т а л и з а ц и и. Хотя в литературе вопроса встречаются соображения, близкие к нашей точке зрения, все же данный прием, насколько мы знаем, специально еще не был описан. Следовательно, нам придется не просто показать роль этого приема в литературном наследстве Кирилла и Мефодия, но и рассмотреть его как всеобщее явление, т. е. с общелингвистических позиций. Поэтому далее анализ конкретного материала переплетается с изложением общетеоретических положений.

Еще одно предварительное замечание. Имея в виду предстоящий юбилей Мефодия, мы посчитали своевременным построить свои разыскания на тексте, вышедшем из-под пера не обоих братьев, а одного архиепископа Великоморавского. Стало быть, надлежало выбрать текст, возникший между 869 и 885 гг. Мы остановились на хорошо известном специалистам

---

[4] Примечательно, что некоторые заимствованные термины, попадая в двуязычную группу образованных людей, сохраняли в своем составе греческие звукотипы (в том числе и слово *упокритъ*). См. об этом [17, с. 124—157].

[5] Ср., например, наш анализ заимствованного глагола *кръстити* [21] и глагола-кальки *оглашати* [22].

Слове о сошествии Иисуса Христа во ад, гомилии, которая обычно надписывается именем Епифания Кипрского (в дальнейшем сокращенно обозначаем ее ЕГ, т. е. Епифаниева гомилия). ЕГ, как убедительно доказала Э. Благова [23—25], была переведена в 882—885 гг., в Великой Моравии, а ее переводчиком является именно Мефодий [6].

ЕГ очень богата образами, смелыми, неожиданными, красочными и при всей их художественности несущими важное философское содержание. В частности, в ней дважды представлен гносеологически ценный образ немеркнущего, «невечернего» света: (24) г(оспод)ъ [. . .] съ сѫштими въ тъмѣ не мръчѧı свѣтъ; (48) како свѣтъ немрачьнъıи въ темьныѧ и въ сѣни съмръ-тьныѧ приходитъ. Среди разночтений Вайан указывает два однокоренных прилагательных (*не смрьчеи се: безъмрачны*) и одно отсубстантивное прилагательное другого корня (в Златоусте русской редакции по изданию Порфирьева: *невечернıи*). Это же прилагательное употреблено дважды в славянском тексте ЕГ, который содержится в недавно обнаруженном Германовом сборнике [7]: съ сѫщими въ тъмѣ невечернıи свѣтъ, свѣть неве чернии.

В ЕГ явственно представлены следы так называемой апофатической философско-теологической спекуляции, достигшей своей вершины, как известно, в писаниях Псевдо-Дионисия Ареопагита, но в своих основах присутствующей в патристических трудах, начиная со II в. [8, т. I, с. 89—90; 7, с. 22—23]. Апофатическая гносеология покоится на признании полной непознаваемости некоторых сущностей, поэтому разработанные в рамках данной школы атрибуты часто носят негативный, отрицательный характер. Вот и сейчас перед нами именно отрицательный атрибут: *немрачьныи*, невечернии.

Кроме того, апофатическая гносеология нередко прибегает к рассуждениям с признанием доказательной силы аналогии,— рассуждение ведется, собственно, не применительно к сущности, которая априорно познана быть не может, а по отношению к некоторому аналогу, образу или символу этой сущности. Так, ареопагитическое учение о деификации не просто иллюстрируется образом движения от тьмы к свету и от света к тьме, но непосредственно покоится на представлении об убывающем или прибавляющемся свете. Образ — аналог света имеет место уже в Новом Завете (ср. Ин 8, 12), однако ареопагитики делают его центральным для своей системы.

Когда греческое терминологическое словосочетание ἀνέσπερον φῶς,— а как раз оно и представлено в греческом тексте ЕГ,— переводится славянским словосочетанием *невечернии свѣтъ*, терминотворчество проходит благодаря приему калькирования. Однако старшим переводом, несомненно, является *немръчѧı/немрачьныи светъ*, и если здесь и можно говорить о морфологической кальке (применительно к первому члену двусловного термина), то исключительно с точки зрения деривационной модели, в то время как выбор лексической основы *-мрък-* в качестве соответствия греч. ἑσπέρα представляется неожиданным, странным, немотивированным.

На самом деле, отождествление *вечеръ* — ἑσπέρα является в славянской письменности регулярным, поскольку и славянское, и греческое сло-

---

[6] ЕГ образцовым образом издана А. Вайаном [26]. Греческий текст снабжен важнейшими разночтениями, а славянский опубликован на основе 6 источников — Клоцова сборника, Супрасльской рукописи, Гомилиара Михановича, а также златоустов XIII—XVI вв. болгарского, сербского и русского изводов. Издание Вайана составное: начальная часть ЕГ (с. 22—34) дается по Клоцову сборнику (насколько гомилия дошла до нас в этом древнейшем славянском собрании гомилий), а конечная (с. 34—83) — по Супрасльской рукописи; отсюда непоследовательность ортограмм. В дальнейшем, ссылаясь на публикацию Вайана, перед цитатой в круглых скобках указываем соответствующие страницы.

[7] Внимание исследователей к Германову сборнику (собранию гомилий, аналогичному Клоцову сборнику и Супрасльской рукописи) в конце 50-х гг. привлек И. Юфу [27]. Сборник датирован 1359 г., однако путем отождествления упомянутого в памятнике митрополита Германа с патриархом Германом-Гавриилом (главой болгарской церкви времени царя Самуила), а в первую очередь на основании языковых признаков Д. Иванова-Мирчева отнесла протограф сборника к X в. [28]. Текст ЕГ по варианту Германова сборника издан ею совместно с Ж. Икономовой [29].

ва, согласно толкованиям, означают одно и то же — «часть суток перед наступлением ночи, следующую после окончания дня». Это с одной стороны. С другой же стороны, мракъ, практически никогда не являясь переводом ἑσπέρα, регулярно соответствует греч. σκότος. Производные глаголы *(по)мрѣкнѫти* и *помрачитисѧ* и σκοτίζω, σκοτίζομαι также находятся в отношении взаимного соответствия. Это соответствие объясняется семантическим тождеством как имени, так и глаголов: *мракъ* и σκότος — это «отсутствие света, тьма».

Итак, почему же древнейшим — восходящим к Мефодию — переводом ключевого терминологического словосочетания ἀνέσπερον φῶς стало семантически неожиданное славянское выражение *немрачьныи свѣтъ*? Чтобы получить ответ, предложим читателю тот взгляд на семантику слова и номинативного словосочетания, который развивается автором этих строк совместно с В. Г. Костомаровым [6].

С нашей точки зрения, лексическая семантика не исчерпывается лексическим понятием. В словарях можно найти, например, что *вечер* — это «время суток перед наступлением ночи» (Ожегов) или «пора между концом дня и началом ночи, время около заката солнца» (Даль); здесь дана понятийная характеристика семантики слова *вечер*, т. е. перечислены те признаки, благодаря которым объект может быть назван. Чтобы время суток назвать *вечером*, достаточно установить, что *день* закончился, а *ночь* еще не началась. Никакой иной информации для адекватного названия этого временного отрывка не требуется.

Однако в сознании носителей языка со словом сопрягается не только понятийная информация. Если продолжить процедуру анализа лексической семантики с помощью техники семантических долей, то можно заметить, что вечер — это (1) пора завершения работы. Так, знаменитый предначинательный псалом (цитируем по Синайской псалтыри в издании С. Н. Северьянова) вечер считает пределом дневных трудов: изꙗде чл(овѣ)къ на дѣло свое и на дѣланьѣ своѣ до вечера (103, 23). Отсюда вечер — это (2) время, когда хозяин рассчитывается за поденную работу с наемниками. В евангельской притче о работниках виноградника (цитируем по Мариинскому евангелию в издании И. В. Ягича) говорится: вечероу же бы(въ)шю. гл(агол)а г(оспод)ь винограда [. . .] призови дѣлателѧ. і даждь имъ мъздѫ. наченъ отъ послѣдьнихъ до пръвыихъ (Мф 20, 8). Кроме того, вечером (3) вся семья, все обитатели дома собираются вместе. Ср. Ин 20,19: сѫщти же поздѣ вь тъ день [. . .] и двѣремъ затвореномъ. ідеже бѣахѫ оученицы его събрани. Далее, вечер по традиции (4) время для приема пищи; ср. Мф 26, 20—21: вечероу же бывъшоу. възлеже съ обѣма на десѧте оученикома. и ѣдѫщемъимъ рече. Подобную ситуацию см. Мф 14,15. Далее, вечером человек должен позаботиться об устройстве (5) на ночлег, о крыше над головой. Так, путника вечером удерживают от продолжения пути: нѫждаашете и гл(агол)ѫшта. облѧзи съ нама ѣко при вечерѣ есть. и прѣклонилъ сѧ есть юже день. і вьниде съ нима облешть (Лк 24, 29). Именно вечером (6) наблюдают состояние неба, чтобы высказать прогноз о том, какая будет погода. Например, Мф 16,2: вечеръ сѫштоу гл(агоги)те. ведро чрьмъноуетъ сѧ небо. Можно и дальше перечислять информацию, сопрягаемую со словом *вечеръ*,— так, Лк 12,38 сообщает о (7) «вечерней страже», о начале охраны города,— однако сейчас мы заинтересованы только в демонстрации принципа выявления непонятийных сведений, стоящих за словом, поэтому удовлетворимся семью семантическими долями. Эти семантические доли вполне реальны, они на самом деле присутствуют в массовом сознании носителей языка, однако они, конечно же, не входят в лексическое понятие, которое, по определению, является только средством номинации.

Итак, в семантику слова, наряду с понятийными, входят еще и непонятийные семантические доли. Совокупность непонятийных сведений в их полноте была нами — В. Г. Костомаровым и автором данной статьи — названа л е к с и ч е с к и м ф о н о м [6, с. 25 и сл.]. Следовательно, семантика слова, по нашим взглядам, разделяется на лексическое понятие (благодаря минимальному числу семантических долей, входящих в объем

понятия, люди узнают, классифицируют предметы и явления и называют их) и на лексический фон (этот последний определяет место слова в лексической системе, его сочетаемость, деривационные связи, ассоциативные реакции). Так, мы считаем, что развитие значений слов, как правило, определяется семантическими долями не понятия, а фона: скажем, проявление у слова *вечеръ* значения «общественное увеселение» [8] обусловлено тем, что в его лексическом фоне есть доля (1) — время, свободное после завершения работы.

Вновь обратимся к терминологическому словосочетанию *немрачьныи свѣтъ*. В фоне слова *вечеръ* имеется, наряду с семью указанными, еще одна семантическая доля: вечером (8) меркнет, уменьшается освещенность. Собственно, едва ли можно говорить, что вечер прямо связан со тьмой (как ночь), поскольку после захода солнца еще бывает светло, но все же время вечерних сумерек (т. е. неполной темноты) наступает.

Отсюда и греческое выражение φῶς ἑσπερινόν — вечерний свет, сумерки, та степень освещенности, которая наступает после захода солнца. Это выражение обладает устойчивостью употребления: мы его находим, в частности, в древнейшем гимне христианской вечерни Φῶς ἱλαρόν — Свѣте тихии, который, вопреки встречающемуся написанию именем Софрония Иерусалимского (ок. 560—638), на самом деле восходит к концу III в. (и, возможно, принадлежит Афиногену Мученику, умершему в 311 г. [9]). Некоторые экзегеты понимают словосочетание φῶς ἑσπερινόν этого гимна как упоминание о лампадах, зажигаемых вечером; однако гораздо вероятнее истолкование слов в прямом смысле — «свет вечерний», т. е. постепенно уменьшающийся, меркнущий и обреченный на окончательное исчезновение (в пользу такого понимания убедительно свидетельствует контекст гимна [10]). Как бы то ни было, даже если согласиться и с первой интерпретацией, φῶς ἑσπερινόν явственно выражает в своем лексическом фоне семантическую долю «сокращение света».

Апофатическая спекулятивная мысль прибавила отрицание к ἑσπερινὸν φῶς; так путем сокращения средств деривации возник ключевой философско-теологический термин ἀνέσπερον φως. Если вспомнить центральное место суждений о сокращении света по мере иерархического отдаления от божества, характерное для ареопагитик, то, конечно, смысл данного термина заключается не в том, чтобы отнести свет к вечеру как к отрезку суток, а в том, чтобы подчеркнуть несокращающуюся природу света-славы. Вторичный славянский перевод-калька *невечернии свѣтъ*, конечно, косвенно выражает этот смысл, но лишь косвенно. Первичный перевод *немрачьныи свѣтъ*, напротив, выражает этот смысл прямо, непосредственно, недвусмысленно и во всей полноте!

Следовательно, переводчик о с м ы с л и л, осознал наличие в фоновой семантике слова ἑσπέρα семантической доли σκότος и при создании славянского термина перевел не само греческое слово, а семантическую долю из фона этого слова. Перед нами тот прием терминотворчества, который нельзя отнести ни к транспозиции, ни к заимствованиям, ни к калькам. Речь идет о самостоятельном и отдельном приеме создания философских терминов.

Сущность приема осмысления, или м е н т а л и з а ц и и, заключается в следующем. Если переводчик, прибегающий к трем известным приемам, работает исключительно на уровне лексических понятий, то ментализация — это переход с понятийного на более сложный и разветвленный фоновый уровень, перевод не исходного слова-термина, а какой-либо семантической доли из его смыслового объема. Приемы транспозиции, заимствования и калькирования встречаются весьма часто, они в какой-то мере напоминают механическую работу; эти три приема, по нашему мнению, свойственны т е х н и к е терминотворчества. Иное дело — менталли-

[8] Это значение фиксируется [30] на материале Златоструя XII в.

[9] См. подробнее [31]. Аргументом в пользу значительной древности гимна служит упоминание о нем Василием Великим (Кесарийским) (ок. 330—379) в Книге о св. Духе.

[10] В славянском переводе читается: ... пришедше на западъ солнца, видѣвше свѣть вечернiи... .

зация. Чтобы образовать новый славянский термин путем выбора славянского слова, которое на первый взгляд даже и не относится к греческому источнику, требуется собственный взгляд на общий смысл переводимого, учет контекста и образованность. Требуется также смелость, поскольку при транспозиции, заимствовании или кальке всегда и каждому очевиден мотив, основание перевода, а при ментализации постижение мотива — неочевидного, скрытого и сложного — доступно не всегда и отнюдь не каждому. Каждый случай ментализации особый: прием ментализации никак не назовешь массовым, он не сопряжен с большими количествами идентичного материала.

За каждым приемом ментализации при терминотворчестве стоит творческое усилие, нетривиальное решение, внесение переводчиком в новый термин (в его смысловой объем) частицы собственной личности. Короче говоря, ментализация объективирует не технику, а искусство терминотворчества.

Итак, каждый случай ментализации индивидуален, поэтому каждый из них следует комментировать отдельно. Однако в границах журнальной статьи такое невозможно, поэтому далее (на материале той же ЕГ) приведем еще несколько примеров с минимальными разъяснениями.

При переводе οἰκονομία вместо ожидаемой и привычной кальки-словосложения наблюдаем (24) *съмотренье*. Τὰ ἔθνη вместо обычного соответствия *ꙗзыци* переводится как *поганьсцї*: (26) еврѣисциι коупъно же ι поганьсциι; ιже отъ поганъ. Интересна терминотворческая конкретизация исходного текста; в источнике читается πῶς ἡ παλαιὰ πεπαλαίωται, πῶς ἡ καινὴ βεβαιοῦται, а в переводе добавлено (по смыслу закономерное) уточняющее слово *законъ* — како ветьхы законъ обетъша, како новы извѣштаетъ сѧ. Настойчивая работа ума видна при выборе соответствий для сложнейших философских терминов μορφή, εἰκών и τύπος: (76) въскрьсни, зраче (μορφή,) мои, бывъι и по образоу (κατ'εἰκόνα) моѥмоу; (76) тебе ради господь сы приѧхъ образъ (τὴν μορφήν) твои раба; (78) да тебѣ развраштеныи зракъ (τὴν μορφήν) исправьѭ въ прьвыи образъ (εἰκόνα) възбранихъ ти дрѣва животънааго образа (τοῦ τυπικοῦ). Ср., далее, осмысленный перевод греческих омонимов разными славянскими средствами, причем в первом случае греческое слово выступает как ареопагитический термин, а во втором используется в общеязыковом значении; славянский переводчик правильно распознает это соотношение: (64) такожде владычьствиꙗ съ областиѭ (αἱ ἐξουσίαι μετ' ἐξουσίας) съкроушите сѧ. В заключение несколько разрозненных случаев: (42) нозѣ по законоу мрьтвыимъ (νεκροπρεπῶς) вѧжеши; (44) приѥмьѭштоуоумоу [. . .] пѣсни (τῷ αἰνουμένῳ); (50) оумьрыи прѣжде всѣхъ (ὁ πρωτόθνητος); (60) пособи(ꙗ) въ брани творѧштѧ (συμμάχους) и т. д. Таким образом, приведенный (далеко не полный) фактический материал показывает, что прием ментализации в терминотворчестве использовался довольно часто, будучи, конечно, несравнимым по частотности употребления с другими тремя приемами. Эта отнюдь не единичная встречаемость приема ментализации в ЕГ позволяет заключить, что ее переводчик, т. е. Мефодий, первоучитель славянский, прибегал к данному приему регулярно, причем термины, возникавшие в результате опоры на осмысление, всегда способствовали большей доступности, разборчивости, понятности переведенного текста.

Не следует, однако, думать, что Мефодий является единоличным изобретателем рассматриваемого приема. Ментализация как средство создания новых философских славянских терминов встречается уже в Евангелии, широко употребляется в Апостоле, так что представляет собой совместное достояние обоих братьев.

Так, в Евангелии, книге, которую Кирилл и Мефодий, согласно источникам, перевели первой и над которой они трудились вдвоем, дважды (Мф 6, 11 и Лк 11,3) представлен сложный греческий термин для обозначения философской категории необходимости — ἐπιούσιος. Этот термин — составной (от ἐπί и οὐσία), так что для его перенесения на славянскую почву вполне возможным является путь калькирования. Этот путь, кстати, и реализован: прилагательное *насѫштьнъ* представляет собой последо-

вательный перевод («переснимок») элементов греческого слова. Ср.: хлѣбъ нашъ насѫщтьны. даи намъ на вьсѣкъ день (Лк 11,3, Мариинское евангелие). Однако в том же источнике встречается прием осмысления: хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне. даждъ намъ дънесь (Мф 6,11). Конечно, трудно судить о том, принадлежат ли самим первоучителям обе попытки терминотворчества, однако настойчивого стремления к осмыслению, а значит, и к прояснению греческого ключевого слова нельзя не заметить. Например, Лк 11,3 в Зографском евангелии читается: *хлѣбъ надьневьны*, а в Саввиной книге: *хлѣбъ д'невьны*. Историю варьирующихся переводов термина ἐπιούσιος исследовал И. В. Ягич [32; см. также 33].

Аналогичный прием ментализации наблюдаем применительно к важному эсхатологическому термину παρουσία, занимающему центральное место в мессианских представлениях. В Евангелии этот термин встречается четыре раза. В трех случаях при переводе использован прием транспозиции: παρουσία переводится как *пришьствиѥ* или *пришьствиѥ* (Мф 24, 3, 27, 39). В одном случае встречаем прием ментализации: ѣкоже бо во дьни ноевы. тако бѫдетъ и въ дьни (ἡ παρουσία) с (ы)на чл(о)в(ѣ)чскааго (Мф 24, 37).

Весьма интересно понаблюдать за способами перевода естественнонаучного термина τὸ ἄρσεν. Он в Евангелии встречается трижды, всякий раз переводится иначе, причем с тенденцией к росту осмысления. Мр 10,6 представляет собой случай транспозиции: отъ начала създанию. мѫжа (ἄρσεν) и женѫ сътворилъ ѣ естъ б(ог)ъ. В Мф 19,4 наблюдается ментализация, так сказать, первой степени,— одно греческое слово переводится двумя славянскими, уточняющими друг друга: Іскони мѫжескъ полъ (ἄρσεν) и женескъ. сътворилъ естъ. Наконец, Лк 2, 23 дает ментализацию второй степени: вьсѣкъ младенецъ мѫжъска полоу (πᾶν ἄρσεν).

Заслуживают внимания также этические термины, возникшие в результате осмысления исходной греческой терминологии (например, *творити напасти*, *творити обидѫ*, *напастьствовати* при греч. ἐπηρεάζω, Мф 5, 44, Лк 6,27, *не въ лъжѫ клѧтисѧ* при οὐκ ἐπιορκέω, Мф 5, 33; *не лъжѫ послоушати*, *не лъжи съвѣдѣтель быти* при οὐ ψευδομαρτυρέω, Мф 19, 18, Лк 18, 20), а также эстетическая терминология. Фактический материал, таким образом, можно значительно увеличить. Следовательно, прием ментализации в терминотворчестве Кирилла и Мефодия довольно употребителен.

Представляется, что регулярная опора на осмысление славяно-болгарскими первоучителями является следствием их общефилософской позиции. Отвечая на вопрос логофета, что ѥсть философа, Кирилл сказал: б(о)жимъ и чл(овѣ)чьскым' вещемь разоумъ, т. е. на первое место в системе философии поставил не механическое накопление знаний, а понимание «вещей» (явлений). Что именно так правильно истолковывать слово *разоумъ*, видно из определения философии Григорием Назианзином (Богословом): ἐπιστήμη θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Как ясно видно, на этом определении великого каппадокийца (Кирилл считал Григория образцом для себя) построен приведенный выше ответ. Ἐπιστήμη в патристической традиции стоит в одном ряду с другими гносеологическими понятиями (γνῶσις, νοῦς, σοφία и т. д.), но по сравнению с ними делает больший акцент на понимании, познании сути, постижении неочевидного, выявлении сокровенного за видимой оболочкой, обнаружении утаенного смысла,— стало быть, на осмыслении [34].

Остается повторить, что прием ментализации в терминотворчестве—это подлинное творчество. Этот прием приводит, казалось бы, к удалению от переводимого текста, однако это удаление исключительно внешнее, формальное, потому что достигается более глубокое, внутреннее, смысловое соответствие.

Ментализация в терминотворчестве — характерная, отличительная черта кирилло-мефодиевских переводов. В последующие эпохи ее роль сокращается: возрастает удельный вес транспозиции и особенно калькирования (даже старые термины, созданные благодаря осмыслению, замещаются кальками), что ведет к распространению буквализма и невразумительности. Впрочем, это уже другая тема.

ЛИТЕРАТУРА

1. The Greek New Testament. By Aland K., Black M., Martini C. M., Metzger B. M., Wikgren A. Stuttgart, 1975.
2. *Климент Охридски.* Събрани съчинения. Т. III. Пространни жития на Кирил и Методий. Подготовили за печат Ангелов Б. Ст. и Кодов Хр. София, 1973.
3. *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.
4. Magnae Moraviae Fontes Historici. II. Textus biographici, hagiographici, liturgici. Curaverunt Bartoňková D., Havlík L., Ludvíkovský J., Masařík Z., Večerka R. Brno, 1967.
5. Сказания о начале славянской письменности. Вступительная статья, перевод и комментарии Флори Б. Н. М., 1981.
6. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Лингвострановедческая теория слова. М., 1980, с. 15 и сл.
7. Философский словарь. Под ред. Фролова И. Т. М., 1980, с. 390.
8. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 332.
9. *Лосев А. Ф.* Логос.— Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964, с. 246.
10. *Ševčenko I.* The definition of philosophy in the Life of saint Constantin.— In: For Roman Jacobson. The Hague, 1956.
11. *Верещагин Е. М.* Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: становление терминологической лексики.— В кн.: Великая Моравия и ее международное и культурное значение (в печати).
12. Краткая история болгарской философской мысли. М., 1977, с. 26—27.
13. *Трубецкой С. Н.* Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование. М., 1906.
14. *Муретов М. Д.* Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. М., 1885.
15. *Aall A.* Geschichte der Logosidee in der griechischen Philosophie. Bd. I—II. Leipzig, 1896—1899.
16. *Kolber W.* Die Logoslehre von Heraklit bis Origen. Stuttgart, 1958.
17. *Верещагин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972.
18. *Molnár N.* The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts.— Studia Slavica, 1964, v. 10, № 1—2.
19. *Zett R.* Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita im Serbokroatischen. Die altserbische Periode. Köln — Wien, 1970.
20. *Trost K.* Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und- praxis des späteren Kirchenslavischen. Die Abstrakta in der Hexaemeronübersetzung des Zagreber Zbornik von 1469. München, 1978.
21. *Верещагин Е. М.* К интерпретации одного темного места в переводческом наследии Иоанна Экзарха Болгарского.— Советское славяноведение, 1981, № 5.
22. *Верещагин Е. М.* К дальнейшему изучению переводческого искусства Иоанна Экзарха Болгарского: Доклад на международном симпозиуме (Шумен,] НРБ, сентябрь 1979 г.) (в печати).
23. *Bláhová E.* Staroslověnský překlad Epifaniovy homilie.— Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury, 1966, v. 10.
24. *Bláhová E.* Nejstarší staroslověnské homilie (Syntax a lexikon). Praha, 1973.
25. *Bláhová E.* К otázce otъ ѣskychъ kъnigъ.— Slavia, 1969, v. 38, № 4.
26. *Vaillant A.* L'homélie d'Épiphane sur l'ensevelissement du Christ.— Radovi Staroslovenskog Instituta, 1958, knj. 3.
27. *Iufu I.* Sbornicul lui Gherman (1359).— Ortodoxia, 1960, XII, s. 2.
28. *Иванова-Мирчева Д.* «Германов сборник» — български писмен паметник от X в. в препис от 1359 г.— БЕ, 1965, № 4—5.
29. *Иванова-Мирчева Д., Икономова Ж.* Хомилията на Епифаний за слизането в ада (неизвестен старобългарски превод). София, 1975.
30. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 2. М., 1975, с. 129.
31. *Pitra J.* Hymnographie de l'église grecque. Roma, 1867.
32. *Jagić V.* Entstehungsgeschichte der kirshenslavischen Sprache. Berlin, 1913, S. 367.
33. *Мурьянов М. Ф.* Семантическая эволюция словосочетания *насущны хлеб.*— ВЯ, 1980, № 1.
34. A Patristic Greek Lexicon. Ed. by Lampe G. W. H. Oxford, 1976, p. 534—535.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

ХЛЕБНИКОВА И. Б., КОЛОДЬКО В. И.

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО *b* В ГЕРМАНСКОЕ *p*

В сравнительной грамматике и.-е. и германских языков достаточно широко обсуждалась проблема и.-е. билабиального звонкого смычного (взрывного) *b*. Большинство компаративистов констатируют существование *b* в и.-е., считая его, однако, редким звуком. Бытует также мнение о дефектности билабиального ряда звонких. Так, А. Мартине предполагает наличие пустой клетки в системе билабиальных [1]. Сомнения в отношении существования *b* в ряду звонких смычных возникали у многих лингвистов, особенно в нашей стране [2, с. 19; 3, с. 15; 4, с. 40; 5, с. 113; 6; 7].

Отсутствуют и этимологические соответствия слов на начальное *b*, которые проходили бы по большинству групп и.-е. языков.

Именно дефектность билабиального ряда послужила стимулом для поиска иных качественных характеристик рядов согласных, постулируемых первым законом передвижения Я. Гримма. Были сделаны попытки новой интерпретации дифференциальных признаков серий звонких и глухих согласных (с придыханием и без него), а также и.-е. спирантов в их соотношении с германскими согласными [1].

Спорность статуса и.-е. *b* явилась причиной возникновения сомнений в отношении источников слов на *p* в английском и, следовательно, источников германского *p* (при этом имеется в виду, что редкость или отсутствие *b* в и.-е. должны были препятствовать осуществлению перехода $b > p$ согласно первому передвижению согласных).

Ниже будут рассмотрены вопросы, касающиеся не только происхождения слов на *p* в английском языке и самого *p* в древнеанглийском (и в других германских языках), но и некоторых аспектов, связанных с индоевропейско-германской корреляцией $b > p$ и с количественным распределением смычных согласных в и.-е.

Зависимость германского *p* [2] от и.-е. *b* вынуждает нас сконцентрировать внимание на звуковых аспектах индоевропейско-германских корреляций и прежде всего рассмотреть проблему и.-е. *b*. Причем необходимо иметь в виду, что, независимо от различных интерпретаций качественных характеристик и.-е. *b* и германского *p*, в словарях и.-е. языков соответствующие словарные разделы начинаются на эти буквы.

Приведем некоторые данные, показывающие спорность существования *b* в и.-е. Для этой цели нами было предпринято обследование этимологического состава слов на «б» в русском языке по словарям М. Фасмера и Н. М. Шанского [10, 11]. Как известно, русское *б* может иметь двоякое происхождение: из и.-е. *b* и *bh*. Если отбросить слова, связанные с *bh*, а также заимствования, остается несколько слов, для которых приводятся параллели с начальным *b* в древнеиндийском, а также в балтийских языках. Однако и здесь граница между *b* и *bh* остается нечеткой. Обратимся к фактическому материалу: 1) происхождение *б* в русском *бёрдо* «часть ткацкого станка», др.-инд. *bard-hakah* «резец», гот. *baúrd* «доска» вызывает сомнение, т. к. германское *b* соответствует и.-е. *bh*, а не *b*; 2) др.-инд. соответствие славянскому *блюсти — bōdhati* «пробуждается» также

[1] Эта проблема освещается в работах Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. В. Иванова [8, 9], в связи с чем она не будет подробно обсуждаться в настоящей статье.

[2] Для наших целей не имеет значения терминологическая дифференциация звука буквы и фонемы.

сомнительно в связи с действием закона Грассмана — диссимиляцией придыхательных. Это означает, что *bōdhati* может отражать более древнюю форму **bhōdhati*, не говоря уже о готском соответствии *ana-biudan* «приказывать». Приводится также соответствие в литов. *bausti* «наказывать»; 3) с аналогичным др.-инд. корнем связывается и общеслав. *будить* (др.-инд. *bōdhāyati* «будит», литов. (*pasi*)*baudyti* «поднимать»); 4) более «чистым» в отношении соответствий представляется предлог *без*(*безо*), этимология которого соотносится с др.-инд. *bahís* «вне», литов. *bè*, лтш. *bez* «вне»; 5) и.-е. соответствия звукоподражательного характера вряд ли могут служить доказательством регулярных звуковых корреспонденций. Ср. междометие *бум*!, литов. *bámbti* «ворчать, гудеть», др.-греч. βόμβος «жужжание», нем. *bums* «бух!, бряк!», др.-инд. *bambharas* «пчела» (здесь тоже может действовать закон Грассмана); 6) наконец, приводимые в качестве иллюстрации сдвига $b > p$ русск. *болото*, др.-инд. *jam-bāla* «болото, тина», литов. *balā* «болотистая местность», др.-англ. *pōl* «лужа, болото» (совр. англ. *pool*), др.-греч. βαλτος «топь, болото», алб. *baltë* «трясина» имеют лишь кажущуюся надежность; в словарях Вальде — Покорного [12] и Фасмера [10] происхождение слова со значением «болото» связывается с обозначением цвета «белый». В качестве обоснования подобной связи приводятся: русск. *болото*, литов. *bāltas* «белый», лтш. *balts* «белый». Албанские и балто-славянские формы возводятся к реконструируемой и.-е. основе **bhelH* «белый». В приводимом Н. М. Шанским гот. *bala* «бледность» *b* также соответствует *bh*, а не *b*.

О дефектности билабиального звонкого в и.-е. свидетельствует также еще один пример, обычно приводимый для иллюстрации передвижения $b > p$ в начале слова. Это др.-греч. βαῖτη «юбка из козлиной шкуры», гот. *paida*, др.-англ. *pād* «пальто, юбка». Однако история этого слова вызывает сомнение у ряда лингвистов. Так, А. Мейе [13, с. 141], А. И. Смирницкий [14, с. 193], А. Стредбек [16, с. 92], Х. Кун [15] высказывают предположение о заимствованном характере греческого слова, в связи с чем первоначальный звук в анлауте остается неясным.

Приведенные данные дают возможность сделать вывод об отсутствии начального *b* в и.-е. языках, ибо этот последний в приведенных выше словах в ряде случаев трудно отличим от *bh* или же подвергается действию различных фонетических процессов. Этот звук в «чистом виде» обнаруживается только как звукоподражательный. Такой вывод находит подкрепление и в данных, приводимых в этимологическом словаре А. Эрну и А. Мейе [17]. При характеристике состава лексики на *b* отмечается, что многие слова с начальным *b* в латинском либо носят звукоподражательный характер, либо возникли из просторечия, либо являются заимствованиями. Кроме того, отмечаются фонетические процессы, которые дали начальное *b* в латинском, как, например, переход **dw* в *b*: *bonus* < **dwenos*. Начальное *b* в латинском могло также появиться в результате ассимиляции под влиянием *b* в инлауте, как в слове *bībō* «пью» (из и.-е. корня* *po-* «пить», ср. др.-инд. *pibati* «он пьет»). Подобным же образом объясняет начальное *b* в латинском и французском языках А. Мартине [1, с. 177, 178].

Возможность возникновения начального звука под влиянием срединного создает предпосылки для проверки характера и.-е. *b* в неначальном положении, тем более, что в соответствующей литературе приводится всего два-три примера перехода и.-е. *b* в германское *p* в середине слова, например: русск. *слабый*, др.-англ. *slæpan* (совр. англ. *sleep*) «спать», литов. *slābnas*, лтш. *slābs* «слабый»; лат. *labia*, др.-англ. *lippa* (совр. англ. *lip*) «губа».

Материалом для нашего исследования явился древнеанглийский этимологический словарь Хольтхаузена [18], который вообще служит основным источником приводимых здесь этимологий в соответствии с общей задачей статьи.

Количество слов с *p* в инлауте (или в конце слова, где при словоизменении изучаемый звук оказывается в середине), имеющих соответствия в других и.-е. языках, превысило все показатели, которые когда-либо приводились в сравнительных грамматиках и.-е. или германских языков.

Здесь уместно упомянуть, что с наибольшей определенностью, по сравнению с другими компаративистами, в отношении существования и.-е. *b* в середине слова высказывался О. Семереньи, отметивший, что в середине слова этот звук обладает достаточной частотностью [19, с. 161].

Сплошная выборка слов с *p* в инлауте по словарю Хольтхаузена выявила около 140 слов (включая производные), к которым приводятся параллели из различных и.-е. языков (эти слова проверялись нами и по другим этимологическим словарям). Примерно такое же количество слов обнаружено с *p* после *s*, т. е. с «непередвинутым» индоевропейским *p*. Столь значительное количество слов с *p*, не только имеющих и.-е. соответствия, но и широко распространенных во всех германских языках, позволяет постулировать существование *b* в общеиндоевропейском в срединной (или конечной) позиции, где, видимо, взрыв смягчался и для артикуляции этого звука требовалось меньше усилий, чем для начального *b*[3]. Вряд ли можно считать, что в подобном положении мог выступать звонкий придыхательный *bh* или что этот звук более позднего происхождения и не принадлежит общеиндоевропейскому состоянию. Дело в том, что соответствия относятся как к западному, так и к восточному ареалу и.-е. диалектов. Предположение о том, что глухой *p* в германских языках является результатом комбинаторного оглушения *b* < *bh* [8, с. 22], видимо, может быть релевантным для двух — трех слов, а не для значительного количества единиц, в которых *p* коррелирует с и.-е. *b* в инлауте.

Приведем некоторые примеры данного явления. Отметим при этом, что большинство единиц, содержащих *p* в неначальном положении, сохранилось в современном английском языке, что в известной степени свидетельствует о стабильности этого звука на древних этапах его существования. Поскольку слова с *p* в неначальном положении в нашем исследовании извлекались из древнеанглийского этимологического словаря, естественно, что исходным в приводимых соответствиях будет древнеанглийский язык. Ряд слов имеет значительное количество производных, другие зарегистрированы только в одной части речи.

Кроме упомянутых выше *slæpan* и *lippa*, срединное положение *p* зафиксировано, например, в следующих лексемах: др.-англ. *æppel*, *appel* «яблоко, шар» (совр. англ. *apple*). Наряду с соответствиями в германских языках (которые характерны для всех приводимых здесь слов) *æppel* коррелирует с литов. *õbuolas*, лтш. *ābuõls*, русск. *яблоко*; производные в др.-англ. *apuldor* «яблоня», *appled* «крученый (в форме яблока)»; др.-англ. *scearp* «острый» (совр. англ. *sharp*) с производными *scearpe* «надрез», *scearpian* «ранить, врезать» и связанные с этим корнем *scrapian*, *screpan* «царапать» (совр. англ. *scrape*), *scripel* «скребок», *scrippa* «острие, скала, вершина». К этому же корню с его производными приводятся следующие параллели из балто-славянских языков: ст.-слав. *oskreba* «царапай», русск. *скребу*, лтш. *skrabt* «царапает», *skrabs* «острый», литов. *at-skrabai* «отбросы», а также лат. *scrobis* «яма»; к др.-англ. *hearpa* «арфа» (совр. англ. *harp*) приводятся параллели: русск. *коробить*, лат. *corbis* «корзина», др.-греч. κραμβός «сморщенный» [сходство значений здесь, видимо, обусловлено двумя причинами: формой арфы, сделанной из согнутого дерева, и игрой согнутыми пальцами, ср. еще др.-англ. *hrimpan* «морщить» (совр. англ. диал. *ramp* «изгиб»), литов. *kremblys* «гриб», др.-греч. κραμβός «сморщенный»]; др.-англ. *clyppan* «обнимать, обхватывать» (совр. англ. *clip* «обхватывать; скреплять; срезать»), литов. *glóbti* «обнимать», лтш. *glabti*, *glebt* «поддерживать; защищать», ст.-слав. *razglobiti* «прессонать»; др.-англ. *stempan* «трамбовать» (совр. англ. *stamp*), др.-греч. στεμβειν «топтать ногами; раскачиваться; грубо обращаться»; др.-англ. *stapol* «столб, ствол» (совр. англ. *staple*), русск. *стебель*; др.-англ. *wipian* «вытирать, очищать» (совр. англ. *wipe*) связываются с лат. *vibrāre* «махать», литов. *vyburti* «обмахиваться» от и.-е. основы **weib-* со значением «колебания в разные стороны»;

---

[3] Мы не будем здесь подробно обсуждать возможные модификации срединного *b* по сравнению с начальным.

др.-англ. *lapian* «пить, лакать» (совр. англ. *lap*) связывается с лат. *lambĕre* «лизать», русск. *лобызать* [неясность характера греческого *p* обосновывается предположением о звукоподражательном происхождении и.-е. основы **lab-/*lap(h)-*]; др.-англ. *saep* «сок» (совр. англ. *sap*), др.-инд. *sabar* «сок, нектар, молоко».

Древнеанглийские слова с *p* в инлауте, не сохранившиеся в современном английском языке, также имеют этимологические параллели, указывающие на регулярность корреляции и.-е. *b* и германского *p* в неначальном положении, как, например, др.-англ. *hrop* «крик, мольба», *hræpan* «кричать, звать», литов. *skrebėti* «мстить», др.-греч. κρεμβαλα «кастаньеты»; др.-англ. *nīpan* «темнеть, мрачнеть», *ge-nip* «темнота», литов. *nìbra-s* «черный жук»; др.-англ. *hnipian* «наклоняться», литов. *knìbti* «сломиться»; др.-англ. *cnoppa* «пучок», литов. *gniaubti* «обхватывать».

Как видно из приведенных этимологий, наиболее четкие соответствия наблюдаются в балто-славянском ареале. Они в точности передают те же понятия, что и германские слова. Семантические связи со словами из латинского и греческого не всегда отличаются точным совпадением содержания слов, их связь бывает опосредованной через обобщенное понятие определенного вида действия или предмета.

Несмотря на то, что не все бесспорно в приводимых параллелях и, как это характерно для многих этимологий, существует разнобой в трактовке отдельных слов разными словарями, все же можно с достаточной уверенностью говорить об осуществлении регулярной корреляции $b > p$ по закону первого передвижения согласных в неначальном положении.

Таким образом, одним из источников германского *p* является «передвинутое» и.-е. *b* в инлауте. Другим источником германского *p* стало «непередвинутое» исконное *p* после *s* в таких словах, как др.-англ. *spadu* (совр. англ. *spade*) «лопата», др.-греч. σπαθη «бёрдо (часть ткацкого станка)»; др.-англ. *spearca* (совр. англ. *spark*) «искра», лтш. *spirgsti* «пылающие угли»; др.-англ. *specan* (совр. англ. *speak*) «говорить», др.-инд. *sphúrjati* «трещит», лат. *spargere* «рассыпать; брызгать»; др.-англ. *spearwa* (совр. англ. *sparrow*) «воробей», др.-греч. σπέργουλός, σποργτλος «маленькая полевая птичка» и др.

И.-е. соответствия имеют и следующие слова: др.-англ. *spurnan* (совр. англ. *spurn*) «оттолкнуть»; *sprǣdan* (совр. англ. (*spread*) «распространяться»; *specca* (совр. англ. *speck*) «пятно»; *spellian* (совр. англ. *spell*) «рассказывать»; *spere* (совр. англ. *spear*) «копье»; *spinnan* (совр. англ. *spin*) «крутить»; *springan* (совр. англ. *spring*) «прыгать»; *ā-sprūtan* (совр. англ. *sprout*) «расти» и др. Количество этих слов также значительно: их немногим меньше, чем слов в предыдущей группе.

Оба рассмотренные выше источника германского *p* показывают существование этого звука в любой позиции, кроме начала слова.

Однако в этимологическом словаре древнеанглийского языка Хольтхаузена зарегистрировано 198 слов (включая производные) на начальное *p*, из которых лишь 105 — заимствования из латыни, причем в древнеанглийском (и в других древнегерманских языках) имеются слова на *p*, которые не зарегистрированы в готском, где отмечается только два незаимствованных слова на *p*: упомянутое выше *paida* (др.-англ. *pād*) и *puggs* (ср. др.-англ. *pung* «кошелек», помеченное как слово неизвестного происхождения) [20].

Каково же происхождение начального *p* в 93 единицах исконной древнеанглийской лексики, которые к тому же широко представлены и в других германских языках? Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, отметим, что в древнеанглийском словаре Босворта — Толлера из ряда германских согласных *p*, *t*, *k* на *t* зарегистрировано в семь раз больше слов, чем на *p*, а на *k* — в шесть раз больше, что обусловлено распределением частотности *b*, *d*, *g* в и.-е. Частотность согласных в и.-е. имеет непосредственное отношение и к распределению количества заимствований в германских языках по начальным буквам. Так, наличие 105 латинских заимствований на *p* в древнеанглийском (всего в древнеанглийском насчитывается около 500 слов с начальным *p*) говорит, с одной стороны,

о низком статистическом потенциале (или отсутствии) и.-е. *b*, *a*, с другой стороны, о высокой частотности *p* в и.-е.

Этимологический состав 93 древнеанглийских слов на *p*, зарегистрированных в словаре Хольтхаузена, неоднороден. Их можно разбить на ряд подгрупп в зависимости от предполагаемого происхождения, от характера соответствий или их отсутствия. Так, 22 слова приводятся с пометой «неизвестное (неясное) происхождение», хотя среди этих слов большинство имеет соответствия в других германских языках. Видимо, сравнительно большой процент слов (по отношению к другим исконным словам на *p*) с пометой «неизвестное происхождение» (*unbekannte Herkunft*) в словаре Хольтхаузена обусловлен общей неясностью источника германских слов на *p*, причем в этом отношении наблюдается несогласованность подобных помет в разных словарях. Остальная лексика в количестве 71 единицы широко представлена в германских языках, кроме трех слов, зафиксированных только в древнеанглийском. Это: *preg* «острая палка» [совр. англ. диал. (уст.) *pray*]; *pur* «бекас; выпь» (совр. англ. диал. *purr*); *pyttel* «лунь» [совр. англ. диал. (уст.) *puttock*].

Следует отметить, что этимологические параллели в германских языках носят регулярный характер и охватывают в каждом отдельном случае большинство германских языков западного и северного ареалов, из чего следует, что слова на *p* в большинстве своем носят общегерманский характер, хотя, конечно, следует учитывать определенный разнобой в интерпретации этимологий в разных словарях.

Из общего количества древнеанглийских слов лишь для четырех имеются и.-е. соответствия. Это: 1) др.-англ. *pād* и 2) *pōl*, о спорности и.-е. происхождения которых речь шла выше; 3) др.-англ. *plot* «участок поля» (совр. англ. *plot*) связывается со ст.-слав. *platĭ* «заплата, лоскут». Однако общность *p* в славянском и германском свидетельствует либо о заимствовании из старославянского, либо о неясности этимологических связей этого слова (так оно трактуется в [21]; словарь Скита [22] признает его исконно английское происхождение); 4) др.-англ. *prica* «точка, укол, пятно» (совр. англ. *prick*). В словаре Скита это слово трактуется как родственное др.-инд. *prish* «брызгать» и *prishata* «капля; точка». Опять же звуковая общность в германском и древнеиндийском не дает возможности возвести германское *p* к и.-е. *b*. Немецкое соответствие *prickeln* в словарях Дудена [23] и Клюге [24] считается словом неизвестного происхождения.

Таким образом, ни одно древнеанглийское слово не имеет надежных соответствий в других и.-е. языках, что подтверждает тезис об отсутствии начального *b* в и.-е. Остальные лексемы и их производные, кроме упомянутых изолированных древнеанглийских слов, а также за исключением нескольких слов неизвестного происхождения, имеют широкие этимологические связи в пределах германских языков. Часть этих слов сохранилась в современном английском языке (40 единиц), другие исчезли уже в среднеанглийский период. Из слов неизвестного происхождения половина не сохранилась.

Следующие примеры иллюстрируют существование слов с начальным *p*, которое не связано с и.-е. *b*: др.-англ. *pocca* (*pohha*) «карман, мешок» (совр. англ. *pock* «прыщ») имеет соответствия в западной группе германских языков (ср.-н.-нем, *pocke*, *pocha*), а также в северной группе (например, др.-исл. *poki*); др.-англ. *pūca* «дух, домовой, гном» (совр. англ. *puck*), др.-исл. *púki*, норв. *paúk* «карапуз»; др.-англ. *pinca* «острие» связано с др.-англ. *pinn* (совр. англ. *pin*), норв. *pink*; др.-англ. *prēon* «шило, игла; пряжка» (совр. англ. *preen*), нидерл. *priom*, ср.-н.-нем. *prēn(e)*, *prīne*, ср.-в.-нем. *pfrieme* «шило», др.-исл. *prjōnn* «булавка, острие»; др.-англ. *prættig* «хитрый» (совр. англ. *pretty*), ср.-н.-нем. *prattich* «хитрый», нидерл. *prettig* «радостный», др.-исл. *prettr* «хитрый»; др.-англ. *plagian* «играть; танцевать; быстро двигаться» (совр. англ. play), ср.-нидерл. *pleien* «танцевать, радоваться», др.-в.-нем. *pflegan* «иметь обыкновение», от этого же корня др.-в.-нем. существительное *plega* «игра» и прилагательное *plegol* «игривый, веселый»; др.-англ. *pos* «насморк» (в топонимах также «водопад») [совр. англ. *poss*) «бить (белье в воде)»], ср.-в.-нем. *pfūsen*, ср.-н.-нем. *pūs-*

ten, швед. *pusta* «дуть, сопеть»; др.-англ. *pad(d)e* «жаба, лягушка» (совр. англ. диал. *pad*) соотносится со ср.-н.-нем. *padde*, *pedde* «гриб», др.-исл. *padde*, др.-фриз. и ср.-датск. *padde*; др.-англ. *pūte* встречается в слове *æle-pūte* «налим» (совр. англ. *eel-pout*), ср.-нидерл. *puit* «лягушка», *pūteaal* «налим». С этим корнем соотносится швед. *puta* «быть опухшим», норв. *pute* «подушка; толстая женщина»; др.-англ. **picga* (совр. англ. *pig* «свинья»), дат. *pige*, швед. *pige*; др.-англ.*prýda*, *prýte* «гордость», прилагательное *prūd*, *prūt* «гордый, дерзкий, надменный» (совр. англ. *pride*, *proud*), др.-исл. *prūðr* «храбрый» и др.

При рассмотрении этимологии некоторых слов на начальное *p* в словаре Скита отмечается их кельтское происхождение (ср., например, *posca*, *pūca*, *pinca*, *prættig* и др.). Однако фонетические процессы, происходившие в кельтских языках, делают маловероятными заимствования на *p* [25, с. 66]. Если же кельтские слова заимствовались до эпохи, которой обычно датируется первое передвижение согласных, то они должны были бы заимствоваться с начальным *b*, а не с *p*. Что касается кельтского языкового влияния непосредственно на Британских островах, то оно, как известно, в литературном английском языке было незначительным и отразилось, главным образом, в топонимике.

Естественно, возникает вопрос, откуда в древнеанглийском могли появиться слова на *p*, которое теоретически не существовало в германских языках в начальном положении, поскольку в и.-е. не было взрывного билабиального *b* в этой позиции. Представляется, что ответ может быть однозначным: *p* появилось на общегерманской почве на месте пустой клетки, образовавшейся в результате отсутствия возможности регулярного сдвига несуществующего (или очень редкого) начального *b* в и.-е. [26]. Заполнение пустой клетки можно объяснить стремлением к равновесию системы [27, с. 9; 28, 29]. Заполнению этой пустой клетки в древних германских языках, возможно, также способствовало существование *p* как фонетической единицы в ряду глухих смычных в неначальном положении (из и.-е. *b* и «непередвинутого» и.-е. *p* после *s*). Почти полное отсутствие исконных слов на *p* в готском заставляет предположить более позднее возникновение этих слов в германских языках (и, соответственно, *p*).

Все же в связи с «дефектностью» ряда *b* в и.-е. языках статистический потенциал слов на *p* в древнеанглийском (очевидно, и в других германских языках) невелик.

Однако по мере исторического развития английского языка *p* как начальный звук приобретает прогрессирующую частотность исключительно за счет многочисленных заимствований в средне- и новоанглийский период. Так, количество слов на *p* в новоанглийском выросло примерно в 10 раз по сравнению с древнеанглийским (это только по данным словаря Аньянза [21]). Этот факт также непосредственно связан с количественным потенциалом индоевропейских звуковых единиц. Такой большой процент заимствований обусловлен высокой частотностью *p* в и.-е. [30, с. 214].

Еще в древнеанглийском заимствования составляли более 50% всех слов на *p*, отраженных в словаре Хольтхаузена. Подсчет по этому древнеанглийскому словарю показал, что больше всего было заимствований на *p* (105) и *k*(*c*) (140), сумма которых приблизительно соответствует количеству заимствований на все другие буквы, вместе взятые. Эти цифры целиком обусловлены высокой частотностью глухих смычных *p* и *k* в и.-е. Они были самыми распространенными согласными из всех рядов, участвовавших в первом передвижении согласных. В связи с этим интерес представляет замечание авторов «Оксфордского словаря английского языка» о том, что в современном английском языке количество слов на *p*, *s*, *c* в сумме составляет примерно одну треть всех слов, зарегистрированных в этом словаре [31, т. VII, с. 357].

Приведенный анализ показал следующее:

1) Нулевую частотность *b* в начале слова в и.-е. и, как следствие этого, отсутствие надежных и.-е. соответствий слов на *p* в германских языках (в частности, в древнеанглийском).

2) Существование *b* в неначальном положении, что подтверждается до-

статочно иллюстративными и.-е. параллелями к германским (древнеанглийским) словам с *p* в инлауте.

3) Вопреки отсутствию начального *p*, обусловленному передвижением и.-е. *b*, в древнеанглийском оказалось определенное количество слов на *p*, достаточно широко представленных и в других германских языках, что дало возможность постулировать общегерманское происхождение начального *p* (заполнение пустой клетки), главным образом, в западной и северной группах германских языков. Появлению начального *p* могло способствовать и его существование в неначальном положении в качестве рефлекса и.-е. *b*, а также неизмененное исконное и.-е *p* после *s*.

4) Полная зависимость количественного и качественного состава слов на *p* от статистического потенциала и.-е. звуков выразилась в том, что, с одной стороны, количество исконных слов на *p* в древнеанглийском невелико, причем со временем оно уменьшилось почти вдвое, а с другой стороны, происходит прогрессирующий на всех исторических этапах развития английского языка рост количества заимствований именно на *p*, что сделало число английских слов на *p* весьма обширным. Этот факт обусловлен высокой частотностью и.-е. *p*.

5) Приведенные здесь данные по древнеанглийскому языку, несомненно, касаются всех древнегерманских языков, а фонетическая статистика, примененная к другим буквам словаря германских языков, может, очевидно, также дать интересные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мартине А.* Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960, с. 223.
2. *Клычков Г. С.* Индоевропейское *s* и некоторые вопросы ларингальной теории.— В кн.: Процессы развития в языке. М., 1959.
3. *Макаев Э. А.* Система согласных фонем в германских языках.— В кн.: Сравнительная грамматика германских языков. Т. II. М., 1962.
4. *Тронский И. М.* Общеиндоевропейское языковое состояние. (Вопросы реконструкции). Л., 1967.
5. *Широков О. С.* Специфика форм и темпов фонетического развития как критерий генеалогической классификации (Индоевропейский консонантизм на фонетическом и мерисматическом уровне).— В кн.: II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Диалектика развития языка»: Тезисы докладов. М., 1980.
6. *Kuryłowicz J.* Le sens des mutations consonantiques.— Lingua, 1947, v. 1, № 1.
7. *Pedersen H.* Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute. København, 1951.
8. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.* Реконструкция системы смычных общеиндоевропейского языка. Глоттализованные смычные в индоевропейском.— ВЯ, 1980, № 4.
9. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.* Ряды «гуттуральных» в индоевропейском. Проблема языков centum и satem.— ВЯ, 1980, № 5.
10. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1964.
11. *Шанский Н. М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1. Вып. 2. М., 1965.
12. *Walde A.— Pokorny J.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. 2. Berlin — Leipzig, 1927.
13. *Мейе А.* Основные особенности германской группы языков. М., 1952.
14. *Смирницкий А. И.* Древнеанглийский язык. М., 1955.
15. *Kuhn H.* Anlautend *p*- im germanischen.— Zeitschrift für Mundartforschung, 1961, Bd. 28, № 1.
16. *Streadbeck A.* A short introduction to Germanic linguistics. Boulder (Colorado), 1966
17. *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. T. 1. Paris, 1959.
18. *Holthausen F.* Altenglisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1934.
19. *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
20. *Balg G. H.* A comparative glossary of the Gothic language, with especial reference to English and German. Mayville (Wis.), 1887—1889.
21. The Oxford dictionary of English etymology. Ed. by Onions C. T. Oxford, 1966.
22. *Skeat W. W.* A Concise etymological dictionary of the English language. New York, 1963.
23. *Duden K.* Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Drosdowski G., Glebe P. Bd. 7. Mannheim — Wien — Zürich, 1963.
24. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20-te Aufl. Berlin — New York, 1975.

25. *Льюис Г., Педерсен Х.* Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954.
26. Гамкрелидзе Т. В. Отношение маркированности и взаимозависимость смычных и фрикативных фонем в парадигматической системе.— В кн.: Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
27. *Brosnahan L. F.* The sounds of language. Cambridge, 1961.
28. *Кычков Г. С.* Моделирование языка во времени: процесс и система.— BPTJ, 1971, sesz. 29.
29. *Хлебникова И. Б.* О равновесии исторических изменений фонологических и морфологических систем германских языков.— В кн.: Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков. М., 1972.
30. *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. Bd. 1. Heidelberg, 1927.
31. The Oxford English dictionary. V. 7—8. Oxford, 1933.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1982

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

БИТКЕЕВ П. Ц.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В МНР ЗА 60 ЛЕТ

Монгольская народно-революционная партия, руководствуясь учением марксизма-ленинизма о том, что наука при социализме должна стать неотъемлемой частью нового общественного строя, начала сразу же после победы Народной революции в 1921 г. организацию науки в стране, где почти все население было неграмотным и не существовало никакой системы образования. Последовательно проводимые партией и правительством мероприятия по становлению и развитию науки дали свои результаты. Сегодня в Монголии успешно работает Академия наук МНР — крупный научный центр, играющий важную роль в культурном и хозяйственном развитии страны, ряд отраслевых научных подразделений. Ярким свидетельством достижений науки МНР явился космический полет в составе международного экипажа первого монгольского космонавта-исследователя Жугдэрдэмидийна Гуррагчи в марте 1981 г.

Больших успехов добилась и традиционная отрасль науки МНР — монгольское языкознание. Монгольский язык был объектом изучения еще много веков назад. В XIII в. монголы пользовались письмом, восходящим к согдийской основе, и квадратным письмом, еще раньше — в XI в.— киданьским письмом, а по некоторым данным, письменность у монголов была уже в V в., что, естественно, предполагает определенную степень знания о грамматической системе языка. В XIII в. была написана не дошедшая до нас грамматика монгольского языка Чойджи-Одзера под названием «Зурхний тольт» («Сердечная аорта»). Сохранилось немало грамматик в основном учебного характера и более позднего времени, многие из которых написаны на основе упомянутого грамматического сочинения. Ряд работ по монгольскому языку создан европейскими учеными, в первую очередь русскими и советскими востоковедами-монголоведами XIX—XX вв. акад. Я. И. Шмидтом, О. М. Ковалевским, А. А. Бобровниковым, акад. Б. Я. Владимирцовым, Г. Д. Санжеевым, Т. А. Бертагаевым, Б. Х. Тодаевой и др.

Однако всестороннее и систематическое изучение монгольского языка в самой Монголии началось только после установления народной власти. Основы нынешнего Института языка и литературы АН МНР, организатора филологических исследований страны, были заложены созданием Комитета наук в соответствии с Постановлением монгольского правительства от 19 ноября 1921 г.

До второй половины 30-х гг. монгольские языковеды занимались собиранием памятников языка, литературы, фольклора. Однако основные усилия языковедов были направлены, в соответствии с указанием директивных органов, на решение стоящих перед народом практических задач — на ликвидацию неграмотности населения страны. Это — составление в первую очередь различных учебников, учебных пособий и словарей, подготовка педагогических, научных кадров. И все же к 1940 г. грамотным было всего 24,2% населения страны [1, с. 21].

С целью создания письма более совершенного в графико-орфографическом отношении, чем действовавшее тогда, было решено перейти на новую письменность на кириллической основе. Монгольские филологи успешно

справились с этой работой, имевшей общенациональное значение. Новое письмо сохранило ряд важных положений старого монгольского письма, заимствовало некоторые графические особенности русского письма, а самое главное, при переходе на новое письмо письменная форма языка была приближена к устной, благодаря чему процесс овладения письменной формой языка был значительно облегчен. За относительно короткий срок были составлены для учебных заведений страны учебники и учебные пособия в соответствии с новой системой образования и письма.

Вместе с решением актуальных вопросов языкового строительства лингвисты все более переключались на исследование теоретических проблем монгольского языкознания. Существенно важным фактором, способствующим дальнейшему интенсивному развитию филологической науки и его языковедческой отрасли, явилось преобразование Комитета наук в Академию наук МНР и соответственно Кабинета языка и письменности в Институт языка и литературы АН МНР (1961 г.). Этот организационно более высокий уровень стал поворотным моментом в истории развития монгольской науки. Филология в МНР превратилась в многоотраслевую, системную науку, а Институт языка и литературы — в центр, координирующий деятельность всех организаций, имеющих отношение к монгольской филологии.

Институт ведет фронтальное обследование всех уровней монгольского языка в синхроническом и диахроническом аспектах, сравнительное изучение монгольских языков и говоров. Только за последние двадцать лет, прошедших после организации Академии наук МНР, Институт языка и литературы издал более 180 названий работ.

Определенные успехи достигнуты в области изучения фонетики современного монгольского литературного языка и его говоров. Наряду с целым рядом статей, посвященных таким актуальным проблемам, как определение фонематической системы, редукция гласных, соотношение фонологии и графики, нормы орфоэпии, вопросы исторической фонологии, написаны и монографические работы. Это в первую очередь труды акад. АН МНР Ш. Лувсанвандана [2] и Б. Ринчена [3]. Для решения вопросов звуковой стороны языка монголисты используют и современные экспериментальные методы исследования, например, с применением инструментальных методов написаны работы Ж. Цолоо [4], С. Моомоо [5], посвященные фонетике современного монгольского литературного языка. Результаты этих и других исследований способствуют научному решению и ряда практических задач, таких, как совершенствование графических и орфографических норм письменности, вопросов орфоэпии и др.

Учеными МНР проводится всестороннее и углубленное изучение морфологической системы современного монгольского языка, результаты которого изложены в ряде трудов, например, в коллективной монографии «Грамматика современного монгольского языка» [6], «Структура современного монгольского языка» (Слово, аффиксы) акад. АН МНР Ш. Лувсанвандана [7], «Грамматика монгольского письменного языка» акад. АН МНР Б. Ринчена [8], а также в работах, посвященных глаголу [9], наречию [10], структуре монгольского слова [11], союзу [12]. Вместе с тем постоянным объектом исследования монгольских лингвистов остается ряд спорных и вместе с тем актуальных вопросов, таких, как классификация частей речи, категории залогов и видов глагола, отдельные аспекты простого и сложного предложений.

Больших успехов добились языковеды МНР в области лексикографии и лексикологии. И это неслучайно. С установлением народной власти феодальная Монголия избрала социалистический путь развития, минуя капиталистическую стадию. Естественно поэтому, в соответствии с новыми условиями социально-экономического и культурного развития страны возникли новые для населения понятия, переосмысление получили многие старые значения слов. И все это требовало лексического запаса языка, создания новых терминов. Лингвисты страны провели колоссальную работу. Достаточно сказать, что в Институте языка и литературы АН МНР накоплено пять млн. карточек, отражающих лексику современного мон-

гольского языка, современной и старописьменной литературы. И этот большой лексический материал служит исходной базой при создании различных словарей — терминологических, двуязычных и многоязычных толковых, специальных. Так, настольными пособиями для специалистов являются: «Монгольско-русский словарь», изданный под ред. А. Лувсандэндэва [13], толковый словарь, составленный Я. Цэвэлом [14], двухтомный словарь под ред. Ц. Дамдинсурэна и А. Лувсандэндэва [15]. Изданы также казахско-монгольский словарь [16], синонимический словарь [17], обратный словарь [18], орфографический словарь [19] и др. Языковеды Института приступили к составлению энциклопедического словаря и уже завершили его первую часть, которая составила 17 тыс. машинописных страниц. Исключительно важное значение Институт придает составлению терминологических словарей, в основном русско-монгольских. В шестой пятилетке (1976—1980 гг.) составлен монгольско-русский терминологический словарь, содержащий 120 тыс. заглавных слов. Сотрудники Института трудятся над четвертым томом русско-монгольского терминологического словаря. О большом размахе работы в этом направлении свидетельствует общий объем выполненной Институтом продукции. Только за последние 20 лет изданы терминологические словари и бюллетени общим объемом более 630 п.л.

В последние годы усилия монгольских лексикографов сосредоточены на разработке терминологических словарей, связанных с перспективами индустриального развития страны. Так, составлен и подготовлен к изданию словарь по медно-молибденовой промышленности, содержащий 30 тыс. слов.

В диалектологическом отношении монгольский язык представляет собой довольно единообразную картину — более 90% населения МНР являются носителями халхаского говора, который положен в основу современного монгольского литературного языка. Отличительные черты имеют ойратские говоры, расположенные компактно в западной части страны. Обследованы уже почти все монгольские говоры и накоплен по ним большой фактический материал, который обобщен в монографических изданиях, посвященных халхаскому [20], захчинскому [21], дэрбэтскому [22] говорам; в ряде статей описываются особенности даригангского [23], хамниганского [24], убурхангайского [25] и других говоров. Проведенные Институтом диалектологические исследования получили обобщение в большом коллективном труде «Этнолингвистический атлас МНР» [26] В нем показано распространение монгольских диалектов с указанием в основном фонетических особенностей, например, наличия долгих гласных, соответствующих в других говорах дифтонгам, звонкости и глухости инициальных согласных, переходу аффрикат в некоторых говорах в щелевые согласные и др.

Диалектологические исследования позволили классифицировать монгольские говоры уже по лингвистическим признакам, а не территориальным, как ранее. Вместе с тем лингвисты МНР приступили к решению задач по дальнейшему углубленному и всестороннему изучению говоров и определению их отношения к литературному языку. Составляется, в частности, диалектологический словарь монгольских говоров (автор Ж. Цолоо).

Ведется и сравнительное исследование монгольских языков. Подготовлена к изданию коллективная монография «Сравнительная грамматика монгольских языков» (25 а. л.). Для монгольской компаративистики характерно постоянное расширение материалов, привлекаемых из разных монгольских языков. Институт планирует экспедиционное обследование могольского языка Афганистана.

Традиционным направлением является исследование взаимосвязей монгольского языка с другими языками, в первую очередь с алтайскими — тюркскими, тунгусо-маньчжурскими, а также корейским, японским языками. Результаты исследований получили отражение, в частности, в работах «Взаимоотношение монгольского и маньчжурского письменных языков» Г. Мижиддоржа [27], «К вопросу о происхождении корейских и мон-

гольских конников, взаимосвязи языков» Б. Сумьябаатора [28], «Краткая сравнительно-историческая грамматика монгольского и казахского языков» Б. Базылхана [29], а также в ряде статей, в которых рассматриваются заимствования и из монгольского. Довольно детально изучены заимствования (особенно лексические) из санскритского [30], тибетского [31], а также уйгурского и китайского языков.

В последние годы проводятся широкие сопоставительные исследования монгольского языка с европейскими, что объясняется неотложным требованием практики — преподаванием русского и западноевропейских языков в учебных заведениях страны. Следует отметить особую роль русского языка в усвоении монголами мировой культуры, достижений современного научно-технического прогресса. По тематике взаимоотношений монгольского и русского языков были проведены исследования на уровне кандидатских диссертаций, в частности, «Деепричастие и деепричастные конструкции в современном монгольском языке (в сопоставлении с аналогичными фактами русского языка)» А. Шархуу, «Грамматическая характеристика монгольских причастий и их структурно-семантические особенности (в соответствии с причастиями русского языка)» Ц. Цэдэндамба и ряд других работ. Вопросы сопоставительного изучения монгольского и русского языков получили наиболее полное обобщение в монографии С. Галсана [32]. В области изучения монгольского и западноевропейских языков наиболее показательной является работа Чой Лувсанжава [33].

Интерес к истории языка обусловил, в частности, сбор, публикацию и исследование рукописных и ксилографических памятников монгольской письменности и литературы многовековой давности. В книжных хранилищах МНР (в первую очередь в Государственной публичной библиотеке и библиотеке Института языка и литературы АН МНР) имеются десятки тысяч книг на монгольском, тибетском, санскритском, китайском, маньчжурском языках, в том числе «Сокровенное сказание монголов» (1240 г.), монгольские переводы «Ганчжура» (109 томов) и «Данчжура» (226 томов), содержащие основы пяти древнеиндийских наук — философии, медицины, филологии, искусства и точных наук. С целью введения в научный оборот и широкого исследования языка и культурно-исторического содержания многие памятники публикуются в специальной научной серии под общим названием «Corpus Scriptorum Mongolorum». Уже издано более 20 томов, некоторые из них имеют объем до 60 п. л. В числе изданных памятников и рукописи на ойратском «Ясном письме»: «Сказание о Гэсер-хане» (10 глав) [34], «Биография Зая-Пандиты» [35], а также «Море притч» [36] и «Иглоукалывание и прижигание» [37], перевод которых на русский язык осуществлен в отделе монголоведения Калмыцкого НИИ ИФЭ. В 1977 г. вышла в свет книга «Памятники „Ясного письма“» (55 п. л.), куда вошли исторические и художественные произведения XVII и XVIII вв. Подготовлен к изданию ряд памятников, в частности, «Сокровенное сказание монголов» в транслитерации с иероглифического варианта. В перспективе (1981—1990 гг.) предусмотрено издание 10 томов памятников общим объемом 300 п. л.

Активное изучение старописьменных данных позволило монгольским ученым выдвинуть новые теоретические положения по отдельным аспектам исторического развития монгольских языков. Большой интерес представляет научно обоснованная гипотеза чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэва о монгольском языке V в. н. э. То-ба (или табгачский язык), имевшем старое и новое письмо, на которых существовала, судя по данным китайских источников, достаточно богатая и разнообразная литература. В соответствии с этим А. Лувсандэндэв предлагает новую периодизацию истории развития монгольского литературного языка, согласно которой древний период развития монгольского литературного языка относится ко времени до V в. н. э., второй (или средний) период продолжается до середины XVII столетия, следовательно, сюда относится и киданьский язык XI в., а третий период начинается с середины XVII в. и продолжается, подразделяясь еще на этапы, до настоящего времени [38].

Всегда вызывала споры теория об уйгурском происхождении старого

монгольского письма, по которой только в XIII в. монголы переняли у уйгуров письмо. Однако, по мнению отдельных ученых, оно было для такого механически заимствованного письма уж очень стройным и как нельзя лучше соответствовало структуре монгольского языка. Ряд монгольских ученых выдвинул на основе закономерности усвоения культурных традиций, данных исторических условий того времени и анализа монгольского письма положение, согласно которому монголы и уйгуры заимствовали у согдийцев письмо раньше XIII в. независимо друг от друга. Эта точка зрения затронута в ряде работ, но наиболее полно изложена Ц. Шагдарсурэном [39].

В области исторической монголистики усилия лингвистов направлены, естественно, на реконструкцию различных уровней языка. Серьезную дискуссию вызвала трактовка диакритического знака «удан», вписываемого справа от гласной буквы ойратского «Ясного письма», созданного в середине XVII в. Правильное решение этого вопроса имеет принципиально важное значение для определения развития фонетической системы не только ойратского, но и других монгольских языков того времени. Если знак «удан» обозначал, как это было принято считать в монголистике, долготу гласного, то в XVII в. в ойратском и некоторых других монгольских языках долгие гласные уже были. Если же знак «удан» передавал, как считает монгольский ученый Н. Жамьян [40] (его идею поддержали известные монголоведы [41]), гласные буквы $\bar{a}$, $\bar{e}$, то для ойратского и других (по крайней мере, монгольского и бурятского) языков были характерны дифтонги, а подсистема долгих гласных еще не сформировалась. Острые споры по этому вопросу между сторонниками двух противоположных точек зрения [42] побудили к исследованию графической и орфографической систем монгольского квадратного письма в сравнении с тибетской и санскритской письменными системами, более глубокому и детальному изучению лексической и грамматической структуры ранних монгольских языков, что, естественно, способствует дальнейшему развитию исторической монголистики. Следует сказать, что в последние годы появился ряд статей монгольских филологов, посвященный различным аспектам исторической грамматики, языку средневековых памятников. Большим интересом к произведениям старины, истории языка объясняется, по-видимому, и появление различных исследований, пособий, где даются разъяснения по алфавитам, графикам, грамматическим формам монгольских письменностей — квадратного письма [43], старого монгольского, «Ясного письма» [42], соембо [44, 39] и др. [45].

Успехи, достигнутые монгольскими филологами, позволили осуществить организационные мероприятия и провести уже три международных конгресса монголоведов в г. Улан-Баторе в 1959, 1970, 1976 гг. Конгрессы, несомненно, способствовали дальнейшему ускоренному развитию монголоведения как в самой Монголии, так и за рубежом, наглядно иллюстрировали высокий научный и организационный уровень развития и филологической науки, организующим центром которой является Институт языка и литературы АН МНР.

Мобилизации и координации лингвистических работ способствуют и регулярные издания: «Монголын судлал» («Монголоведение»), «Хэл зохиол судлал» («Языкознание и литературоведение»), «Хэл зохиол» («Язык и литература»), «Аман зохиол судлал» («Фольклористика») и др.

Монгольские языковеды решают в новой пятилетке большие и ответственные задачи, свидетельством тому является перспективный план научно-исследовательской работы института.

Изложенное в данной статье — неполное отражение достигнутых языковедами Монголии успехов, способствующих социалистическому строительству в стране, свидетельство того, что МНР стала признанным центром современной монголистики.

ЛИТЕРАТУРА

1. БНМУ-ын улс ардын аж ахуйн хөгжилт. Статистикийн эмхтгэл. (Развитие народного хозяйства МНР. Статистический сборник). Улаанбаатар, 1960, с 21

2. *Лувсанвандан Ш.* Орчин цагийн монгол хэлний зүй. Авиа, авиалбар. (Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и фонология). Улаанбаатар, 1967.
3. *Ринчен Б.* Монгол бичгийн хэлний зүй. Авиа зүй. Дэд дэвтэр. (Грамматика монгольского письменного языка. Фонетика. Вторая книга). Улаанбаатар, 1966.
4. *Цолоо Ж.* Орчин цагийн монгол хэлний авиа зүй. (Фонетика современного монгольского языка). Улаанбаатар, 1976.
5. *Мөөмөө С.* Монгол хэлний авиан зүй. (Фонетика монгольского языка). Улаанбаатар, 1979.
6. Орчин цагийн монгол хэл зүй. Улаанбаатар, 1966.
7. *Лувсанвандан Ш.* Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц. Үг нохцөл хоер нь. Улаанбаатар, 1968.
8. *Ринчен Б.* Монгол бичгийн хэлний зүй. Дөтгөөр дэвтэр. Улаанбаатар, 1967.
9. *Пагва Т.* Вспомогательные или служебные глаголы в современном монгольском литературном языке. Улаанбаатар. 1961.
10. *Бараншир Ш.* Орчин цагийн монгол хэлний дайвар үг. (Наречие в современном монгольском языке). Улаанбаатар, 1970.
11. *Бямбаасан П.* Орчин цагийн монгол хэлний үгийн бүтц. Улаанбаатар, 1975.
12. *Лувсандэндэв А.* «Ба»-гийн учир.— Значение союза «ба» — Шинжлэх Ухааны Академийн мэдээ, 1974, № 1.
13. Монгол-орос толь. М., 1957.
14. *Цэвэл Я.* Монгол хэлний товч тайлбар толь. Улаанбаатар, 1966.
15. *Дамдинсүрэн Ц., Лувсандэндэв А.* Русско-монгольский словарь. Т. I. Улаанбаатар, 1967; Т. II, Улаанбаатар, 1969.
16. *Базылхан Б.* Казах-монгол толь. Улаанбаатар, 1977.
17. *Лувсанвандан С., Сумьябаатар Б.* Монгол хэлний ойролцоо үгийн товч толь. Улаанбаатар, 1966.
18. *Болд Л.* Орчин цагийн монгол хэлний тонгоруу толь. Улаанбаатар, 1976.
19. *Мөөмөө С.* Зөв бичих дүрмийн толь. Улаанбаатар, 1969.
20. *Вандуй Э., Цолоо Ж.* Халхын аялгуу. Улаанбаатар, 1969.
21. *Цолоо Ж.* Захчины аман аялгуу. Улаанбаатар, 1965.
22. *Вандуй Э.* Дөрвөд аман аялгуу. Улаанбаатар, 1965.
23. *Лувсандэндэв А.* Дариганга аялгууны авианы зүйиг судалсан туршлагаас. (Из опыта исследования фонетики даригангского говора).— Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн бүтээл, 1957, № 2.
24. *Ринчен Б.* Монгол Ард Улсын хамниган аялгуу. Улаанбаатар, 1968.
25. *Төмөрүүрэн Д.* Өөрхангайн халх аялгууны зарим онцлогоос.— Монголын судлал, 1967, т. VI.
26. Монгол Ард Улсын үгсаатны судлал хэлний шинжлэлийн атлас. Улаанбаатар. 1979.
27. *Мижиддорж Г.* Монгол маяж бичгийн хэлний харьцаа. Улаанбаатар, 1976.
28. *Сумьябаатар Б.* Солонгос монгол туургатны үгсаа гарал, хэлний холбооны асуудалд. Улаанбаатар, 1975.
29. *Базылхан Б.* Монгол казах хэлний харьцуулсан хэл зүй. Улаанбаатар, 1973.
30. *Хүрэлбаатар Л.* Монгол хэлэнд орсон санскрит үг.— В кн.: Олон улсын монголи эрдэмтний III их хурал. III боть. Улаанбаатар, 1977.
31. *Дамдинсүрэн Ц.* Монголхэлэнд орсон төвд үг.— Монголын судлал.— Т. II. Улаанбаатар, 1961.
32. *Галсан С.* Сопоставительная грамматика русского и монгольского языков. (Фонетика и морфология). Ч. I. Улаанбаатар, 1975.
33. *Лувсанжав Ч.* Сопоставительный анализ морфологической структуры слова в монгольском и английском языках. М., 1971.
34. Тод үсгийн Гэсэр. Улаанбаатар, 1960.
35. Biography of Caya Pandita in oirat Characters. Ulanbator, 1967.
36. Oirat version of Damamūkopāmasūtra. Ulanbator, 1970.
37. Unknown medical tractate in oirat Charalters. Ulanbator, 1968.
38. *Лувсандэндэв А.* Формирование монгольского национального литературного языка.— В кн.: Олон улсын монголч эрдэмтний, III их хурал, II боть. Улаанбаатар, 1977.
39. *Шагдарсүрэн Ц.* Монгол үсэг зүй. (Монгольские письменности). Улаанбаатар, 1980, с. 4—5.
40. *Жамьян Г.* Тод үсгийн зөв бичих дүрэмд урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн тухай асуудалд (К вопросу об обозначении долгих гласных в графике «Ясного письма»).— Монголын судлал. Т. VII. Вып. 1—26. Улаанбаатар, 1970.
41. *Лувсанвандан Ш.* Дөрвөлжин, тод үсгийн зөв бичих дүрэмд монгол хэлний урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн нь. (Обозначение долгих гласных в графиках квадратного письма и «Ясного письма»).— Хэл зохиол судлал. Т. VII, Улаанбаатар, 1970.
42. *Лувсанбалдан Х.* Тод усэг, түүний дурсгалууд («Ясное письмо» и его памятники). Улаанбаатар, 1975.
43. *Ринчен Б.* Монгол бичгийн хэлний зүй. Тэргүүн төвтэр (Грамматика монгольского письменного языка. Первая книга). Улаанбаатар, 1964.
44. *Ринчен Б.* Из нашего культурного наследия. Улаан-батор, 1958.
45. *Сухбаатар Г.* Сяньби. Улаанбаатар, 1971.

РЕЦЕНЗИИ

Березин Ф. М. **История советского языкознания.** Некоторые аспекты общей теории языка. Хрестоматия.— М.: Высшая школа, 1981. 352 с.

Прежде всего необходимо сказать о том, что эта исключительно интересная и ценная книга выходит далеко за рамки скромного названия «Хрестоматия». На самом деле это самостоятельное научное исследование по истории советского языкознания, характеризующееся четкостью методологии, тонкостью и компетентностью суждений, простотой и доходчивостью языка.

«Проблемно-тематический принцип», положенный в основу организации материала, воплотился в разделении книги на пять больших частей: 1) Общетеоретические проблемы; 2) Социолингвистика; 3) Фонетика. Фонология; 4) Лексикология. Фразеология. Лексикография; 5) Грамматика (Морфология. Словообразование. Синтаксис). Каждый из разделов начинается с авторского текста (скромно названного Введением), в котором Ф. М. Березин создал новый тип исследования по истории языкознания: сначала избираются работы, которые внесли важный вклад в соответствующий аспект науки о языке; затем они подвергаются тщательному научному исследованию, после чего создается соответствующий раздел книги. Возникает новый жанр языковедческого исследования, состоящий в неразрывном единстве лингвоисторической фактологии и ее творческого научного осмысления. Материал организован в соответствии с теоретическими проблемами, входящими в тематику разделов. Их анализ, в свою очередь, ограничен работами, включенными в тот или другой раздел книги.

Перечисленным пяти разделам книги предпосылается отдельная глава под названием «Классики марксизма-ленинизма о проблемах языка». Последовательно проводя и здесь свой принцип организации и подачи материала, Ф. М. Березин выделяет те методологические проблемы, которые имеют особенно важное значение теперь, в условиях обострения идеологической борьбы, отнюдь не ограничиваясь обычным хрестоматийным материалом. Чтобы дать более полное представление об этой части работы, позволю себе привести полностью первый абзац этого основополагающего раздела книги. «Уже в первые годы Советской власти встал вопрос о новых методологических основах науки, в том числе и языкознания. В статье „О значении воинствующего материализма“ В. И. Ленин писал: „...Без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, т. е. должен быть диалектическим материалистом“. О необходимости выработки у ученых материалистического мировоззрения, помогающего понять сложную цепь явлений материального и духовного мира, писал Ф. Энгельс: „Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли они, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или же они желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями“. Развивая эту мысль, Ф. Энгельс писал: „...Именно диалектика является для современного естествознания наиболее важной формой мышления, ибо только она представляет аналог и тем самым метод объяснения для происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой“. Эти положения В. И. Ленина и Ф. Энгельса в равной мере относятся не только к представителям естественных наук, но и общественных наук, в том числе и к языковедам, ибо языкознание тоже обнаруживает свою зависимость от философии. Поэтому с первых лет революции советское языкознание начинает перестраиваться на основе материалистического учения о языке, на основе марксизма-ленинизма» (с. 5).

Нельзя не воспроизвести вместе с текстом автора рецензируемой книги и некоторые менее известные цитаты классиков марксизма-ленинизма, которые касаются наиболее острых методологических вопросов современности: «...характер познавательной деятельности человека находит свое выражение в языке, материальный характер которого не подлежит сомнению. У К. Маркса находим следующее замечание о языке: „Даже основной элемент мышления, элемент, в котором выражается жизнь мысли — *язык* — чувственной природы“» (с. 6). «Советские языковеды, исходя из сформулированного К. Марксом

в „Капитале" положения о том, что „свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении", считают, что изучение только отношений может помочь понять механизм функционирования языка, но не сам язык, ибо язык первичен, а существующие в языке отношения вторичны. На это же указывает и Ф. Энгельс: „Уже самый факт, что это есть *отношение*, означает, что в нем есть две стороны, которые *относятся друг к другу*" (с. 9—10). «Энгельс высоко ценит основоположников сравнительно-исторического языкознания,— пишет Ф. М. Березин,— давая в то же время нелестную характеристику представителям старой логической грамматики» (с. 13). А как своевременна цитата о русском языке (приводятся слова В. И. Ленина из книги Бонч-Бруевича): «„Неужели по-русски вы не можете изложить свои мысли так, чтобы они были действительно доступны всем? Русский язык очень богатый. Если вы этого не делаете, то виноваты вы сами, а не тот язык, на котором вы пишете". В. И. Ленин высмеивал псевдоучный „тарабарский" язык и добивался единства глубокого содержания с простым и точным языком» (с. 15—16). В этой связи нельзя не напомнить о резко отрицательном отношении В. И. Ленина к разного рода сокращениям и аббревиатурам, которых все еще так много в нашей литературе.

Выше я остановилась на менее известных высказываниях классиков марксизма-ленинизма, прекрасно подобранных и прокомментированных Ф. М. Березиным. Понятно, что ими богатый материал данного раздела не исчерпывается.

Раздел 1 — Общетеоретические проблемы — включает две работы Л. В. Щербы («О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» и «Очередные проблемы языковедения»), две работы И. И. Мещанинова («Понятийные категории в языке» и «Члены предложения и части речи»), работы Е. Д. Поливанова, А. И. Смирницкого, Т. П. Ломтева и др. В связи с рассмотрением этой части книги мне хотелось бы сразу же внести некоторое уточнение. Оценивая роль Ф. де Соссюра в развитии современного общего языкознания, я начала бы с известного высказывания Е. Д. Поливанова: «...Проработка общелингвистических вопросов в русской науке во многих отношениях далеко опередила то, что делалось на Западе. И в частности, например, относительно пропущенной посмертной книги де Соссюра можно уверенно утверждать, что в ней нет никаких новых положений, которые не были бы нам уже известны из учения Бодуэна де Куртене». В рецензируемой книге это важнейшее положение [в сокращенном варианте, по сравнению с текстом книги Е. Д. Поливанова «За марксистское языкознание» (М., 1931)] приводится лишь на 108 странице. А ведь и Щерба, и Поливанов были учениками Бодуэна де Куртене. «Троякий аспект...» принципиально отличается от триады Ф. де Соссюра, поскольку на первый план выдвигается реальная речевая деятельность, действительные языковые факты. То, что в каждом современном состоянии языка мы находим пережитки прошлого и начатки будущего его развития, что общее языкознание обязательно включает изучение причины языковых изменений, выступает в работе Поливанова как продолжение мыслей Бодуэна.

Существование языка как объективно данной реальности, его существование в речи и через речь, из которой он извлекается как средство общения,— вот те исходные положения, которые позволили А. И. Смирницкому диалектически осмыслить соотношение между этими двумя понятиями. При всех различиях собранных в этом разделе идей и материалов общий вывод не вызывает сомнений: «При решении теоретических проблем советские языковеды руководствуются последовательными диалектико-материалистическими принципами, помогающими правильно понять природу языка и его общественные функции, признать первичность языковой субстанции и вторичность существующих в языке отношений» (с. 39).

Раздел 2 — Социолингвистика — включающий работы М. В. Сергиевского, К. Н. Державина, Б. А. Ларина, Е. Д. Поливанова, В. М. Жирмунского, Ф. П. Филина и И. К. Белодеда, еще раз убедительно показывает, что интерес к языку как социальному явлению особенно обострился в первые годы революции, хотя русское языкознание, начиная с Ломоносова, в лице своих лучших представителей всегда рассматривало язык как общественное явление. Главными направлениями в социолингвистическом исследовании являются выяснение роли социальных факторов в развитии языка и изучение социальной дифференциации языка и развития его общественных функций. Понятно, что последние, как отмечает Ф. П. Филин, «не являются ... чем-то внешним относительно его структуры, системных связей, закономерностей его развития» (с. 123).

Раздел 3 — Фонетика. Фонология — включает работы Е. Д. Поливанова, Н. Ф. Яковлева, Л. В. Щербы, Р. И. Аванесова, П. С. Кузнецова, С. И. Бернштейна и А. А. Реформатского. В разделе подробно раскрывается роль и значение советского языкознания в создании и развитии науки о семиологической релевантности звуков речи, т. е. о том, как и почему именно данные звуковые характеристики позволяют различать ту или иную материальную форму слов и морфем. Я не знаю работы, в которой так кратко и ясно был бы показан путь развития советской фонетики — фонологии: Бодуэн де Куртене и работы Поливанова; идеи Щербы о невозможности изучения фонологических противопоставлений без глубокого проникновения в физическую природу звуков; дальнейшее развитие предложенной Бодуэном де Куртене системы анализа с морфологической точки зрения; использование

«звукового качества, дифференцирующего морфемы языка» для создания и усовершенствования орфографий; установление принципиального различия в функционировании звуковых единиц, выступающих в сильной позиции, с одной стороны, и в слабых, с другой (здесь было бы желательно отметить работы А. И. Смирницкого); разработка учения о роли просодии, особенно для синтаксиса, и др. При этом в центре внимания оказывается основной вывод: разные подходы и аспекты исследований направлялись на один и тот же предмет, который тем полнее раскрывал свои разнообразные свойства, чем более многостороннim было его изучение.

Раздел 4 — Лексикология. Фразеология. Лексикография — включает работы Л. А. Булаховского, А. И. Смирницкого, Р. А. Будагова, О. Н. Трубачева, В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, С. И. Ожегова и Ф. П. Филина. Хотя здесь и выделяются как будто три отдельные языковедческие дисциплины, но они очень тесно связаны как по существу, так и тем, что возникли и продуктивно развивались именно в советском языкознании.

То, что слово представляет собой систему форм и значений и является основной лексико-грамматической единицей, отнюдь не препятствует сохранению им тождества во всех его воспроизведениях, что является необходимым условием самого существования и функционирования языка как средства общения. Понятно, что лексикология принципиально не может ограничиваться лишь изучением данного состояния, откуда неизбежность самых тесных связей с этимологией. Особенно следует отметить в этой связи исследования Р. А. Будагова в области сравнительной и сравнительно-исторической семасиологии.

Возникновение фразеологии как отдельной языковедческой дисциплины, как науки о более или менее устойчивой воспроизводимости в речи сочетаний слов как готовых единиц, было первоначально связано с изучением языка революционной эпохи (работы Г. О. Винокура, Е. Д. Поливанова, Л. А. Булаховского). Заслуга В. В. Виноградова и его школы состоит в разработке теоретических обобщений, которые легли в основу современной обширной программы научных исследований в этой области с привлечением обширнейшего материала разноструктурных языков.

Лексикология и фразеология неотделимы от лексикографической практики. Если однако, дореволюционная лексикография основывалась на «талантливом составительстве», то в советское время все больше и больше внимания отводится научному осмыслению составительских материалов и созданию теории лексикографии как научной дисциплины. Одной из актуальнейших проблем в настоящее время становится вопрос о нормативности и ее соотношении с понятием «современной» лексики; более конкретно — о соотношении понятий «переменной» и «постоянной» лексики, предложенных Ф. П. Филиным. Изучая материалы этого важнейшего раздела, читатель убеждается в неразрывном диалектическом единстве синхронии и диахронии, теории и практики. Неукоснительно соблюдая эти принципы, советские языковеды обеспечивают дальнейшее повышение культуры речи широких масс населения.

Раздел 5 — Грамматика (Морфология. Словообразование. Синтаксис) — включает работы А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, Г. О. Винокура, М. Н. Петерсона, В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого, И. И. Мещанинова, В. Н. Ярцевой. В этой части раскрывается существо тех исканий, которыми характеризовались труды советских языковедов в области изучения диалектики формы и значения в морфологической системе языка. Постепенно в русском языкознании утверждается классификация частей речи, определяющаяся не только формальными признаками слов, но и их лексическими значениями, синтаксическими функциями и способами отражения действительности (модальностью).

С середины 40-х годов словообразование постепенно выделяется как самостоятельная область языковедческого исследования, наука о том, «...как можно делать новые слова» (Л. В. Щерба). Разработанные Г. О. Винокуром принципы словообразовательного анализа составляют основу теоретических исследований и практических пособий по русскому словообразованию. Предложив различать словообразование и словопроизводство, В. В. Виноградов глубоко раскрыл две стороны этого процесса — структурно-грамматическую и семантико-лексикологическую.

Предметом синтаксиса является изучение форм и типов словосочетаний и их функций и способы соединения словосочетаний. Но это только наиболее общее понятие. Еще А. В. Добиаш указывал на то значение, которое имеет здесь интонация. Вопрос о месте и роли интонации в построении речи изучался В. А. Богородицким, А. М. Пешковским, В. В. Виноградовым и другими учеными. Учение об интонации как о ритмико-мелодическом рисунке предложения заняло важное место в изучении модальности как одной из основных категорий синтаксиса. На этой основе В. В. Виноградов отграничил словосочетание от предложения. Словосочетание подобно слову в том смысле, что оно вступает в коммуникативный процесс в предложении, включаясь в систему формоизменения. Поэтому первым шагом является изучение типов словосочетания, что и было выполнено В. В. Виноградовым для русского языка. Синтаксис предложения — это прежде всего отнесение содержания предложения к действительности, т. е. интонация и синтаксическая категория модальности. Важное место в развитии синтаксиса заняло также выделение нового раздела — синтаксической типологии.

Легко себе представить, с какими трудностями столкнулся Ф. М. Березин, создавая в этом новом и очень плодотворном жанре первую работу по истории

советского языкознания, которая ставила бы себе задачей одновременный охват всех аспектов (или сторон) языка. Тем не менее ему удалось действительно показать широкую многоаспектность советского языкознания, что делает его особым направлением в мировой науке о языке. Это издание явится настольной книгой не только для студентов, но и для широких кругов языковедов как у нас, так и за рубежом.

Едва успев выйти, книга стала библиографической редкостью. Поэтому надо настойчиво хлопотать о втором издании и, далее, о переводе на иностранные языки.

Ахманова О. С.

Skalička V. Typologische Studien.— Wiesbaden: Vieweg, 1979. 344 s.

Рецензируемая книга объединяет в немецком переводе пятнадцать типологических исследований известного чешского языковеда, чл.-корр. Чехословацкой Академии наук В. Скаличи, написанных на нескольких языках и опубликованных в промежутке с 1935 по 1966 г. в целом ряде теперь уже нередко малодоступных изданий. Включая статьи, посвященные как собственно теоретической проблематике, так и исследованию конкретных языков, она дает возможность проследить на широком временном отрезке основные вехи в эволюции взглядов ученого. И первое впечатление, остающееся по прочтении книги,— завидное постоянство автора, не прекращавшего своих творческих исканий и во время, характеризовавшееся несомненным упадком типологических исследований в западном языкознании, что в какой-то мере, по-видимому, можно приписать его знакомству с советскими типологическими работами того периода. Представляется естественным, что этот контакт отражается и на концептуальном содержании публикуемых в сборнике работ.

Автор с основанием связывает сравнительно скромные успехи лингвистической типологии, достигнутые ею за полтора столетия своего существования, с отсутствием у нее достаточно твердого теоретического базиса, построению которого и посвящены его многие соображения. Одной из идей, пронизывающих материалы книги В. Скаличи, является идея языкового типа, понимаемого как абстрактное понятие, отличное от совокупности представляющих его на лингвистической карте мира языков, реализующих его только в той или иной степени приближения в составе соответствующего типологического класса. Будучи неудовлетворенным существованием в современной науке множества независимых друг от друга «типологий», нередко ограниченных к тому же тем или иным фрагментом языковой структуры, автор настаивает на созвучной и некоторым другим современным направлениям исследования мысли об отказе от построения типологии на произвольно избранных критериях, лишающих ее какой-либо целеустремленности (с. 312). По помещаемым здесь работам красной нитью проходит неизменная авторская формулировка понятия языкового типа как эмпирически выявляемого комплекса взаимно скоординированных структурных признаков разных уровней, продиктованная пониманием необходимости системного подхода к типологизируемому материалу. Она находит свою реализацию в формально-типологической схематике, разграничивающей пять языковых типов, способных некоторым образом совмещаться в конкретных языках: агглютинативный (тюркские языки, венгерский, армянский и др.), флективный (многие индоевропейские языки, ряд кавказских, суахили и др.), изолирующий (английский, французский, гавайский и др.), полисинтетический (китайский, вьетнамский, эве и др.) и, наконец, инфлективный (семитские языки). Отнесение, например, славянских языков к числу флективных означает, что наряду с преобладанием черт флективности в них имеются также агглютинативный и некоторый изолирующий компоненты (с. 244), в то же время в финно-угорских языках параллельно с доминирующим агглютинативным типом прослеживаются и некоторые иные (с. 259). Специальная статья посвящена размежеванию изолирующего и полисинтетического типов. При очевидном преобладании у автора морфологических характеристик типа он стремится дополнить их и определенными синтаксическими и фонологическими. Предпринимаются у него попытки включения в признаки языкового типа и специфики словообразовательной системы.

Еще в эпоху безраздельного господства в западной лингвистике взглядов на типологию как на сугубо синхронную дисциплину, лишенную исторических оснований, В. Скаличка пропагандировал правомерность построения диахронической типологии. Тем более нельзя не оценить по достоинству его исторического подхода к взаимодействию различных элементов языковой структуры, за которым стоит их естественная иерархия. Действительно, исследовательская практика автора руководствуется принципом, согласно которому лишь при допущении зависимости явлений можно объяснить зависимость изменений (с. 323). Этот принцип проводится по существу уже во включенной в рецензируемый сборник его ранней работе, посвященной истории чешского склонения. Другой свой тезис о возможности коренного преобразования постулируемых им языковых типов исследователь подкрепляет в нескольких работах, где на конкретных фактах прослеживается рост одного типологического

компонента в языке за счет другого (ср. с. 274—278 и др.). Как известно, имеет свой диахронический аспект и обсуждавшаяся автором в другом месте проблема транспозиции [1]. В этом контексте кажется неслучайным и его обращение в некоторых статьях к более широкой проблеме языкового развития.

Хотя творческое наследие автора довольно строго очерчено сферой формально-типологической проблематики (ср., в частности, его высказывание, согласно которому типология стоит далеко от вопросов семантики), в нем все же встречаются отдельные соображения, имеющие более или менее прямое отношение и к активизировавшимся в мировом языкознании содержательно ориентированным типологическим штудиям. В последнем плане интересны принципиальное допущение им возможности установить связь явлений языкового изоморфизма и алломорфизма с внеязыковыми явлениями (с. 324), а также его рассуждения о специфике взаимоотношений единиц падежной парадигмы в языках номинативного строя (с. 74—75). По-видимому, особенно близко В. Скаличка подходит к кругу контенсивно-типологических проблем, когда, констатируя фундаментальную роль содержательно обусловленной именной классификации в структурном механизме языков банту, он подчеркивает, что проблема их типологии отнюдь не решается квалификацией их в качестве агглютинативных (с. 198—199). Беглая характеристика этой стороны исследований автора была бы неполной, если не упомянуть его принадлежности к широкому кругу зарубежных лингвистов, высказывающихся в пользу признания архаичности эргативной системы по сравнению с номинативной [2, с. 487—488].

Наряду с идейным богатством вновь публикуемых работ В. Скаличка весьма привлекательна и их внешняя сторона. Очевидное стремление автора к объективности анализа языкового материала обычно дополняется осторожностью в выводах. Автор справедливо подчеркивает огромную положительную работу, проделанную типологами прошлого. Критика им воззрений своих коллег может служить образцом стиля научной полемики (ср., например, его обзорную статью, посвященную типологическим публикациям 1958—1959 гг.). Наконец, будет не лишним отметить и самокритичные высказывания исследователя.

Было бы, по всей вероятности, анахронизмом дискутировать с автором по поводу положений, высказывавшихся им в разные годы и отмеченных признаками определенной эволюции. Поэтому, если говорить о недостатках рецензируемой книги, то, в первую очередь, следует заметить, что не всегда ясным оказывается принцип отбора включенных в сборник статей. Так, малоинтересными для типолога представляются вошедшие в него статьи о фонологической редукции и о взаимоотношении морфологии и синтаксиса. Между тем, здесь отсутствуют ценные для типологов работы об инкорпорации [3] и о взаимоотношении типологии и компаративистики [4]. Думается, что в предваряющей сборник статье П. Сгалла слишком большое место отводится изложению взглядов самого автора этой статьи на тенденции в развитии типологической мысли. К сожалению, недостаточно выверенными бывают языковые иллюстрации (в частности, это бросается в глаза по приводимому кавказскому материалу).

Выход в свет сборника работ В. Скаличка следует расценивать как несомненно положительное явление. Книга олицетворяет собой тот вклад, который вносит Пражская лингвистическая школа в построение типологической теории. Публикации подобного рода — одна из существенных предпосылок решения, по-видимому, уже назревшей задачи синтеза типологических направлений.

Климов Г. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Skalička V.* Über die Transposition — Slavica pragensia, 1959, 1.
2. *Skalička V.* The structure of languages of the Ancient Orient.— AO, 1950, v. XVIII, № 1—2, p. 487—488.
3. *Skalička V.* Die Inkorporation und ihre Rolle in der Typologie.— Travaux linguistiques de Prague, 1968, v. 3.
4. *Skalička V.* Typologie a komparativistika.— In: Ceske přednášky pro V mezinárodní sjezd slavistů. Praha, 1963.

Гипотеза в современной лингвистике.—М.: Наука, 1980. 384 с.

В рецензируемой коллективной монографии поднимается целый комплекс кардинальных лингвистических проблем. Актуальность исследования определяется его соответствием важным методологическим тенденциям, наблюдающимся в современной науке. Наряду с дальнейшим развитием науковедения, т. е. общефилософского, логико-методологического осмысления научного знания, в наши дни особую роль начинает играть и специально-научное изучение проблем, относящихся к природе научного познания, «внутринаучная рефлексия» (стремление самих ученых методологически осмыслить и оценить свою науку, решение метанаучных вопросов «изнутри», с точки зрения специальных задач, стоящих перед каждой конкретной наукой, с точки зрения специфических особенностей каждой предметной области. Необходимость такого подхода к решению мета-

научных проблем естественна, поскольку специалисты способны обнаружить в конкретных научных областях такие свойства, которые могут не заметить философы, подходящие к отдельным наукам с общеметодологической меркой.

Рецензируемая книга представляет собой попытку осветить ряд известных языковедческих концепций со стороны лежащего в их основе познавательного процесса, а также со стороны их значения для дальнейшего познания языка. При этом в центре внимания авторов стоит роль гипотезы в развитии научных знаний о языке, а проблема гипотезы используется в качестве повода для объединения различных лингвистических учений с целью их методологической оценки (метанаучного анализа).

Содержание книги выходит за пределы ее названия, что создает впечатление несоответствия названия ее содержанию. Вместе с тем вряд ли было бы более удачным какое-либо другое название для книги: только учет познавательной роли гипотезы позволяет охватить в рамках единого металингвистического анализа разнородные языковедческие концепции, избранные лишь в силу индивидуальных научных интересов авторов разных разделов. Может показаться целесообразным название типа «Некоторые проблемы металингвистики», однако его нельзя принять, т к. проблемы металингвистической теории (теории самого металингвистического анализа) в монографии по существу не разрабатываются (кроме вопроса о роли гипотезы в познании языка). Разумеется, книга выиграла бы, если бы в ней, помимо специальной главы о гипотезе, конкретному металингвистическому анализу был предпослан общеметодологический раздел, представляющий целостное изложение основ металингвистической теории. В этом разделе с позиции ленинской теории отражения раскрывалась бы роль чувственных данных, абстрактного мышления, практической деятельности, эксперимента и внеэмпирической проверки в лингвистическом познании, был бы показан диалектический характер познавательного процесса в науке о языке как движения от незнания к знанию, от знания недостоверного к достоверному, от низших форм знания к высшим. В том же разделе мог бы быть осуществлен критический анализ идеалистических и метафизических взглядов в области металингвистики, отрицающих принцип отражения в науке о языке (типа концепции «научных парадигм» Т. Куна), часто преувеличивающих роль одной из сторон познавательного процесса (например, абсолютизирующих самостоятельность теоретического познания в целом, формальное движение мысли в частности) и т. п. Но авторы ограничили свою задачу проведением металингвистического анализа определенных языковедческих концепций и лишь попутно затронули отдельные собственно металингвистические проблемы.

Таким образом, основное содержание книги — это изложение исходящих от авторов методологических оценок ряда известных лингвистических концепций. Из задач, решаемых в монографии, вытекает ее структура. Первая часть, написанная В. И. Постоваловой, посвящена раскрытию понятия гипотезы как формы научного знания, описанию ее логической структуры и видов, роли гипотезы в развитии научного знания, способов ее подтверждения, специфических черт лингвистической гипотезы, анализу различных точек зрения на гипотезу. К сожалению, при этом анализе позиция самого автора не всегда оказывается достаточно ясной, а соображения о специфике лингвистической гипотезы не представляются убедительными, поскольку гипотеза как форма научного знания едина для всех наук: речь может идти лишь о специфике содержания гипотезы, о предпочтении тех или иных видов гипотезы и способов их верификации, которые сами по себе не являются специфическими для языкознания и наблюдаются также и в других научных областях.

Во второй части роль лингвистической гипотезы освещается в связи с рассмотрением основных (наиболее общих) сторон (характеристик) языка. В первом разделе этой части (автор Ю. С. Степанов) проводится металингвистический анализ ряда концепций языка, представляющих его как историческое явление, в связи с чем выясняется вопрос о соотношении исторического закона и гипотезы. Во втором и третьем разделах (авторы соответственно Т. В Булыгина и Ю. К. Лекомцев) с метанаучных позиций [обсуждаются вопросы, связанные с трактовкой языка как особого рода семиотической системы. В разделе Т. В. Булыгиной поднимаются проблемы синхронного описания языковой системы и определяется роль внеэмпирических факторов в этом описании и в оценке его результатов, причем особое место занимает сопоставление закономерностей в природе и правил в языке. В разделе Ю. К. Лекомцева рассматриваются возможность и целесообразность использования формального языка для построения и обоснования гипотез, касающихся системы языка и ее отдельных компонентов. Четвертый раздел, автором которого является Р. М. Фрумкина, преследует цель выяснить роль и специфику гипотезы, а также лингвистического эксперимента в психолингвистике, т. е. при изучении естественных языковых процессов в их связи с мыслительной и иной психической деятельностью людей, с лежащими в их основе физиологическими явлениями.

Задача авторов третьей части состояла в том, чтобы подвергнуть металингвистическому анализу более частные (хотя и принципиально важные) концепции, исходя из рассмотрения ряда актуальных типов лингвистических гипотез. В первом разделе третьей части, подготовленном Е. С. Кубряковой, вскрывается роль и значение динамического подхода к языку, осуществляется сравнение статистических и динамических моделей языка, обосновывается необходимость как тех, так и других. Автор второго раздела, О. Н. Селиверстова, описывает некоторые типы семантических гипотез и пути их верификации, причем

основные типы гипотез выделяются в соответствии с возможностями и условиями их проверяемости. Здесь же устанавливается роль эксперимента в семантических исследованиях. В третьем разделе (автор А. Я. Шайкевич) сопоставляются естественные и искусственные классификации в науке о языке, обсуждается вопрос о возможности количественной таксономии в лингвистике.

Освещая роль гипотезы в лингвистических исследованиях, авторы исходят из понимания гипотезы как необходимой формы приобретения и развития объективно-истинного знания о закономерностях внешнего мира, при этом переход от гипотезы к знанию достоверному квалифицируется не как движение от знания неистинного (субъективного) к знанию истинному (объективному), а как перерастание знания проблематического (недоказанного) в знание доказанное. Анализу различных способов верификации лингвистических гипотез в работе отводится значительное место, хотя путь от знания гипотетического к знанию достоверному не получил достаточно четкого освещения. Одним из ведущих тезисов книги является признание языка объективно существующей семиотической системой, а не абстрактным построением, которое порождается сознанием исследователя в целях удобства.

В первом разделе второй части монографии обосновывается неприемлемость релятивистской концепции Т. Куна, согласно которой научные законы трактуются как «изобретения ума», а не как отражение реально существующих связей между вещами. Однако для подтверждения объективно-истинностного характера научных законов, для доказательства познаваемости объективных закономерных связей, на наш взгляд, недостаточно ссылок на ряд логических концепций — статистико-вероятностную, концепцию актуальной бесконечности и абсолютной осуществимости и концепцию потенциальной бесконечности и потенциальной осуществимости, хотя обращение к этим логическим концепциям само по себе крайне важно. Чтобы подтвердить подлинно объективный характер наших знаний о закономерных связях между вещами, реализуемых, как справедливо подчеркивается в книге, лишь при бесконечном количестве условий, которые мы полностью перечислить не можем (ибо каждое условие в свою очередь определяется иными условиями), необходимо обратиться к критерию практики, выступающему в данном случае в виде принципа практического отсечения излишних условий. Закон не есть мировая связь во всей ее полноте, он лишь частица этой связи, обладающая необходимостью и всеобщностью при определенных условиях. Практика выделяет те условия, из которых непосредственно вытекает интересующая человека закономерная связь, и обеспечивает объективность и абсолютность знания непосредственной зависимости данной связи от данных условий. Поскольку же при этом приходится отвлекаться от всех прочих условий, практически в настоящий момент незначимых, постольку знание данной закономерной связи представляет собой истину относительную, заключающую в себе лишь частицу абсолютного знания.

Разумеется, лингвистов интересуют языковые законы. Поэтому в монографии подвергаются специальному анализу различные точки зрения на природу и специфику языковых закономерностей, которые оказываются столь своеобразными, что естественно поднимается вопрос о правомерности выделения каких-либо закономерных связей в языке. Так, во втором разделе второй части говорится об отличии не языковых закономерностей, а языковых п р а в и л от закономерностей в природе. Действительно, законосмерные связи в природе не допускают каких-либо отступлений, в то время как положения лингвистики, которым обычно приписывается статус формулировок законов, реально могут нарушаться (ср. законы звуковых изменений). В связи с этим те языковеды, которые признают закономерный характер языка, трактуют законы языка как вероятностно-статистические, как отражение регулярности, частой повторяемости фактов с возможными отступлениями, как «фрекнеталии» (по терминологии Б. А. Серебренникова) в отличие от детерминистских законов природы.

Сказанное нуждается в уточнении. Действительно, закономерности изменения и использования материальных единиц и средств языка носят вероятностно-статистический характер и допускают отступления от них в силу исторически условной связи между материальными построениями и воспроизводимым идеальным содержанием, что позволяет произвольно изменять ту или иную связь, подменяя одни материальные единицы другими (общепринятые, типичные нетипичными). Вероятностно-статистические особенности можно обнаружить и в закономерностях употребления единиц, обладающих семантикой, если они оказываются равноценными друг другу с точки зрения отражаемого объективного содержания, о чем свидетельствует, например, бо́льшая частотность использования существительных в одних языках по сравнению с другими, где в отличие от первых традиционно значительно чаще употребляются глаголы или наречия. Что же касается закономерных связей, составляющих сущность семантики определенных языковых единиц, то они, как и законы природы, не могут не быть детерминистскими: без них само существование соответствующих единиц оказывается невозможным. Так, любая коммуникативная единица во всех случаях является предикативной, а наличие у нее признака предикативности выступает как связь всеобщая и необходимая. Наоборот, единицы, представляющие собой компоненты того построения, в рамках которого осуществляется акт предикации (образующие для него строительный материал), должны быть лишены признака предикативности, и если в качестве компонентов такого построения используются предикативные единицы (например, придаточ-

ные части в составе сложноподчиненного предложения, то предикативность частей на уровне всего целостного образования снимается.

Бесспорный научный интерес представляют следующие мысли авторов, развиваемые ими в процессе анализа ряда теорий и гипотез: о структуре и видах гипотез (1-й раздел I части); о соотношении категорий истории языка и его эволюции, о логическом аспекте исторических законов и гипотез в лингвистике (1-й раздел II части); об отличии языковых правил от закономерностей в природе (2-й раздел II части); о структуре лингвистической гипотезы в аспекте формализации (3-й раздел II части); о статусе гипотез в психолингвистике, их доэмпирической и эмпирической проверке, о «ловушках» при металингвистических исследованиях, т. е. приводящих к заблуждению условиях, возникающих при чтении языковедческих работ (4-й раздел II части); о возможности описания языковых фактов в рамках динамических и статических моделей, о сущности и взаимодополнении этих моделей (1-й раздел III части); о трех типах лингвистических гипотез, выделяемых со стороны способов и возможностей их проверки, гипотезах, не проверяемых в рамках самой лингвистики, гипотезах, доказательство которых зависит от общелогических рассуждений, и гипотезах, проверка которых нуждается в новом экспериментальном материале; об условиях вычленения общих и специфических признаков в значениях слов при компонентном анализе (2-й раздел III части); о правомерности количественной таксономии в лингвистике (3-й раздел III части). Обращает на себя внимание справедливая квалификация порождающей грамматики Н. Хомского как абстрактной формальной теории, построенной в виде исчисления и не имеющей отношения к реальным процессам порождения речевых высказываний (4-й раздел II части). То же самое можно было бы сказать и об аппликативной модели языка.

В связи с анализом монографии представляется целесообразным высказать ряд соображений. При бесспорности утверждения о единстве изменчивости и устойчивости в языке неточным является положение о языке как единстве статики и динамики, об объединении в языке черт статики и динамики (с. 229). Это положение абсолютно точно по отношению к любому длящемуся материальному объекту, который в течение продолжительного времени сохраняет неизменными одни стороны при постоянном изменении других сторон. В отличие от материальных объектов, существующих непрерывно, язык и сознание существуют прерывно (в виде множества повторяющихся, т. е. всякий раз возникающих заново и вновь исчезающих образований). Поэтому само существование языка есть динамика (и только динамика), статика же выступает не как иная сторона, неразрывно связанная с динамикой, а как компонент (сторона) самой динамики, и противостоит не динамике, а продуцированию, формированию того, что прежде не появлялось. Таким образом, в динамике наблюдаются две формы движения — репродуцирование (статика) и продуцирование. В связи со сказанным необходимо указать на распространенную (нашедшую отражение и в рецензируемой монографии) иллюзию непрерывного (длящегося) бытия фактов языка. На самом деле в коре головного мозга существует не язык, а лишь его материальные (физиологические) базисные следы, которые, активизируясь, могут воспроизводить одни и те же языковые факты заново. Сама память есть не что иное, как способность многократно воссоздавать вновь одни и те же факты сознания после их угасания. Материальные следы языка, обладающие иной (чисто физической) природой, воплощаются в зафиксированных текстах, вступая в контакт с мозгом человека, они стимулируют воссоздание таких же языковых процессов, которые их в свое время породили, т. е. и в этом случае имеет место повторное репродуцирование языковых образований.

В силу особых отношений между динамикой и статикой в языке наблюдается своеобразное отношение между синхронией и диахронией: синхрония охватывает статику и продуцирование тех образований, которые в дальнейшем не закрепляются и, следовательно, не репродуцируются (прежде всего свободных сочетаний слов); диахрония же включает в себя продуцирование таких образований, которые затем закрепляются, а значит, и репродуцируются, превращаясь в элементы новой статики и вытесняя элементы прежней статики. Между синхронией и диахронией нет непроходимой грани, диахрония «врывается» в синхронию в виде новых закрепленных форм, конкурирующих на ограниченном этапе развития языка со старыми вплоть до их окончательного вытеснения.

На с. 285 рецензируемой книги дается в целом неплохое определение значения языковой единицы. Однако желательно было бы в самой дефиниции не ограничиваться указанием на знаковую информацию как сущность значения, а отметить то, что эта информация представляет собой не что иное, как отображение предмета или явления в сознании, о чем, кстати, говорится несколько дальше.

В работе справедливо критикуется концепция, значительно усложняющая процесс формирования единиц речи, в частности, трактующая употребление того или иного слова как результат деривационного процесса объединения семантических множителей. Обоснованно признается, что отдельные фрагменты (например, слова) могут извлекаться из памяти в готовом виде, холистически (с. 252), что характер построения значения слова (структурной выделимости в нем отдельных компонентов) не обязательно должен осознаваться говорящим (с. 288). Следовало бы пойти дальше и высказаться более решительно, подчеркнув, что структурная противопоставленность компонентов в пределах значения слова относится не к смысловому содержанию, а к смысловой форме, которая ни-

когда не осознается в самом мыслительном и речевом процессе и может быть познана только в метамыслительном и метаречевом процессе, отражаясь в нем в качестве объекта его содержания.

В силу условности терминов можно допустить, как это делается в книге, что в отдельных случаях (если тот или иной автор специально оговаривает, что он называет знаком сочетание материальной единицы языка и отражения факта объективной действительности) чисто терминологическим становится спор о том, называть ли знаком только означающее или сочетание означающего и означаемого, т. е. выражаемой мысли (с. 286). Но в материалистических теориях взаимоотношения языка и мышления следует исключить употребление термина «знак» для наименования всего сочетания означающего и означаемого, т. к. это вызывает нежелательные гносеологические ассоциации. Дело в том, что в идеалистической философии принято использовать термин «знак» («символ», «иероглиф») для обозначения мысли с целью квалификации ее не как отражения предмета, а только как его условной метки, не имеющей ничего общего с содержанием предмета. Поэтому распространение термина «знак» и на означаемое может вести к извращенному пониманию природы последнего (к отрицанию отражательной функции мысли). Необходимо четко разграничивать понятия знака предмета и его отражения (гносеологического образа).

Вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что при дефиниции определяющие понятия находятся на более низкой ступени абстракции, чем определяемые понятия (с. 155—156, 161—162). Всякое определяющее понятие содержит в себе меньше признаков, чем определяемое. Лишь совокупность всех понятий, входящих в определение, по содержанию равна определенному понятию. Определение есть один из случаев логического восхождения от абстрактного к конкретному в мысли. «Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений...» [1].

Вызывает возражение утверждение об очевидности известного тезиса Б. Уорфа, будто люди «расчленяют» мир, организуют его в понятия и распределяют значения соответственно системе моделей языка (с. 204), поскольку фактически весь этот процесс формально-смысловой обработки «картины мира» осуществляется не столько с помощью системы моделей языка, сколько с помощью построений речи. Последние обладают неисчислимо большим количеством комбинаторных возможностей и способны поэтому воспроизвести любое объективное содержание, доступное человеческому сознанию на данном уровне развития.

В книге хорошо раскрыта роль лингвистического эксперимента в семантических исследованиях, при этом особого внимания заслуживает акцентирование зависимости изменений в речевом поведении испытуемых (информантов) не только от изменений в речевом контексте, но и от изменений в объективной обстановке (с. 308—312). Весьма целесообразно было бы поставить вопрос об учете в лингвистическом эксперименте, кроме того, влияния речевых условий (получаемой речевой информации) на практические действия испытуемых (на их материальное поведение). Это пополнило бы экспериментальную практику новыми возможностями [2].

Разумеется, монографию обогатил бы раздел, в котором подробно был бы описан весь путь одной или нескольких лингвистических гипотез от первоначального зарождения до окончательного обоснования и превращения в научную теорию.

Спорным является вопрос об отнесении к числу гипотез многих положений, рассматриваемых в книге, что признается и самими авторами. Это, разумеется, не влияет на решение проблемы о роли гипотезы в языкознании, однако ослабляет впечатление об успехах, достигнутых наукой о языке.

Рецензируемая книга представляет собой описание полезного опыта металингвистического анализа и, нужно полагать, будет способствовать развитию метанаучных исследований в лингвистике.

Чесноков П. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Из рукописного наследства К. Маркса. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов).— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 12, с. 727.
2. *Чесноков П. В.* Соотношение чувственного и рационального (абстрактного) познания при исследовании языка, соотношение дедукции и индукции.— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970, с. 130—131.

Гаджиева Н. З. Тюркоязычные ареалы Кавказа.— М.: Наука, 1979. 264 с.

Работы Н. З. Гаджиевой «Проблемы тюркской ареальной лингвистики» (1975) и «Тюркоязычные ареалы Кавказа» ввели в тюркологический обиход проблематику ареальной лингвистики. Если в первой из них на материале тюркских языков среднеазиатского ареала рассматриваются проблемы формирования языковых данностей на уровне фонетики, морфологии и отчасти синтаксиса первоначально в одном из тюркских языков, с последующим их распространением и на другие языки, воздействия смежного по территории языка, исторических конвергенций и др., причем между ареальной лингвистикой и лингвистической геогра-

фией ставится знак равенства, то во второй точно и четко определены задачи ареальной лингвистики, показано отличие ее не только от диалектологии, но и от лингвогеографии. Автор пишет: «Ареальная лингвистика — это особый аспект лингвистической географии, связанный с изучением пространственного размещения языковых явлений в рамках определенных географических зон, ареалов распространения нескольких языковых зон» (с. 7).

В рецензируемой монографии автором ставится задача дать четкую характеристику изоглоссных явлений тюркских языков Кавказа, выявить их параллели в других тюркоязычных ареалах, охарактеризовать пограничные изоглоссы, с регистрацией явлений языковой аттракции, зон вибраций, изучить в свете ареальной лингвистики проблему образования огузской и кыпчакской групп тюркских языков. С этой целью в работе использованы результаты многочисленных исследований по отдельным диалектам тюркских языков, определены регионы веляризации гласных в связи с нарушением вокальной гармонии гласных; при этом разбросанность данного явления по всему тюркскому ареалу объясняется сложными миграционными процессами. В монографии выдвигается целый ряд важных положений истории тюркских языков кавказского ареала, и прежде всего проблемы образования огузской и кыпчакской групп тюркских языков, с решением которой связывается вопрос о времени появления тюркского этноса в данном регионе. По мнению автора, «данные ареальных исследований свидетельствуют о том, что уже в первых веках н. э. отдельные массы тюркоязычного населения из Предкавказья проникали на территорию современного Азербайджана» (с. 4). Следует отметить, что об этом же говорил акад. Н. Я. Марр еще в 20-х годах нашего столетия: «Вопрос о древности вселения турок (тюрок.— *А. В., Г. В.*) в Азербайджан — один из важнейших в Кавказской этнографии. Намечается возможность еще более раннего появления их в этом крае в переселенческом движении с севера на юг, а не обратно» [1]. Эта идея Н. Я. Марра в последующие десятилетия была развита В. И. Абаевым, М. И. Артамоновым, Л. Н. Гумилевым, С. А. Плетневой, Д. Е. Еремеевым и многими другими. В отличие от названных ученых Н. З. Гаджиева доказывает наличие тюркоязычного этноса на основе языковых данных.

Общеизвестно, что одним из самых спорных вопросов в тюркологии является вопрос о диалектном членении тюркских языков. В разделах «*й ~ дж ~ ж ~ з*» (с. 66—69), «Дзеканье» (с. 69), «Цоканье» (с. 70—71), «*ч* > *ш* и *ш* > *с*» (с. 71—73) автор на основе анализа материалов отдельных тюркских языков Кавказа показывает, что не всегда и не во всех случаях удается определить четкое разграничение в диалектных членениях. Так, например, азербайджанский язык, относящийся к огузской группе, наряду с *й* в андауте сохраняет в реликтовом состоянии и *д, дж, з*, а также чередование *ш ~ с*. Ср.: *јумру ~ думру* «круглый» (слово *тумурцуг* «почка», по-видимому, этимологически также связано с *јумру*), *јол* «дорога» ~ *зол* «полоса», *чыр- ~ ~ јыр(т)-*«рвать», *шилә ~ силә* «оплеуха», *ершин ~ ерсин* «скребок для теста» и т. п. Причину этого явления автор достаточно убедительно объясняет в третьей главе, особенно в разделе «Образование огузских и кыпчакских языков» (с. 204—211), и заключает, что изоглоссные явления, зарегистрированные как реликты древнего состояния тюркских языков, могут быть одновременно миграционными, т. е. они являются результатом исторических миграционных потоков. Автор подчеркивает при этом необходимость учета методического положения о том, что «миграционный характер изоглоссного явления должен подтверждаться историческими сведениями» (с. 211). Стройное и кропотливое исследование тюркоязычного ареала Кавказа и Средней Азии позволяет автору рецензируемой монографии построить ряд гипотез об образовании групп тюркских языков. Среди этих гипотез особого внимания заслуживает следующая: «Огузские и кыпчакские диалектные черты были во всех тюркских языках. Они могли образоваться путем конвергенций, либо путем миграционного рассеивания первоначально смешанных черт. Огузы и кыпчаки, по всей видимости,— названия не по языку, а по племени» (с. 211).

Мнение Н. З. Гаджиевой подтверждается и закавказскими письменными памятниками раннего средневековья. В одной только «Истории Алван» (последняя четверть VII в.), которую М. И. Артамонов называет «первоклассным источником по истории хазар» [2], зафиксированы тюркизмы четырех диалектов языков савиро-хазарского союза, а именно *дж-* (*джабгу* вм. *јабгу* «наместник хагана, вице-хаган»), *д-* [*тидун* вм. *тиун* или *турун* (название военного чина)], *з-* (*зер* вм. *јер* «земля») (см. 3]. Эти данные находят свое отражение и в армянских и грузинских источниках VII—XII вв. [более подробно об этом см. 4].

Весьма удачна, на наш взгляд, глава вторая, в которой четко и ясно изложена характеристика изоглоссных явлений в пограничных районах (с. 132—174).

Данная глава состоит из двух дополняющих друг друга разделов. В первом разделе рассматриваются фономорфологические особенности зоны родственных языков, а во втором — автор, исходя из особенностей кавказского языкового ареала, исследует зоны неродственных языков. Автор анализирует, с одной стороны, ряд инноваций, зафиксированных в тюркских языках Кавказа и усвоенных в процессе интерференции неродственных иранских, иберийско-кавказских и других языков, а с другой, тюркские инновации в кавказских языках. Большое научно-теоретическое значение имеет заключительная часть данной главы, где автор, полемизирующий с М. Бартольд, В. Пизани, Б. А. Серебренниковым, на основе анализа соответствующих данных азер-

байджанского языка приходит к выводу о том, что, хотя по признанию исследователей, в изолированных областях возникает значительно меньшее количество внутренних и внешних импульсов, вызывающих языковые изменения, однако не все формы в них могут быть квалифицированы как ранние и не все они отражают праязыковое состояния. Исходя из этого, автор заключает: «Все дело в том, что приемы ареальных исследований, выявляющие архаизмы, требуют проверки, предусматривающей применение других методов — приемов сравнительно-исторического метода, типологического, филологического (использование письменных памятников)» (с. 173).

В третьей главе в отдельных разделах рассматриваются данные азербайджанского, турецкого, туркменского, узбекского, саларского, якутского и чувашского языков, отражающие древнее и раннее состояние, характеризующееся смешанностью огузских и кыпчакских черт. Подробно останавливается автор и на анализе тех тюркских памятников, которые, по признанию тюркологов, написаны на смешанном кыпчакско-огузском языке.

О близости кыпчакских и огузских языков тюркологи писали и прежде. Н. З. Гаджиева со ссылкой на Т. И. Грунина отмечает, что «...в XI в. языки кыпчакских и огузских племен действительно могли находиться под сильным взаимным влиянием благодаря общности территории, на которой кочевали эти племена на протяжении долгого времени» (с.191); после ссылки на Т. И. Грунина, Ж. Дени и др. она обращается и к письменным памятникам: «Смешение огузо-кыпчакских черт наблюдается и в памятнике Ali's Qissa'i Jūsuf. Исследователь этого памятника К. Броккельман зарегистрировал чередование в личном местоимении 1-го лица ед. числа довольно раннего смычного *б* с его ассимилятивным вариантом *ж*: *bän* и *män*. Он именует это явление колебанием — Schwanken» (с. 195).

Если обратиться к материалам тюркоязычного ареала Кавказа, историю этого смешения можно отнести не к XI в., а к более раннему времени, ибо в тюркизмах письменных памятников Закавказья V—VIII вв. уже представлены слова на *й-, д-, ц-, дж-/ч-, з-, ш-*, и эти фонетические признаки впоследствии дифференцируют кыпчакские и огузские языки.

Поэтому верно мнение Э. В. Севортяна, согласно которому кыпчакское и огузское диалектные объединения в древности наверняка выделились из одной кыпчак-огузской общности [5] и, безусловно, формировались как две группы генетически родственных языков. Поэтому этнонимы «огузы» и «кыпчаки», по-видимому, все же названия не столько по племени, как это предполагает Н. З. Гаджиева (с. 211), сколько по языку, ибо этнически и огузы, и кыпчаки — тюрки, а и они имеют в основном языковые (в древности диалектные) различия.

Говоря о фонеме *э*, автор отмечает, что «...широкая распространенность собственно тюркской (пратюркской) фонемы *э* была дополнена внешним фактором — иранским влиянием» (с. 17), в другом же месте автор считает *э* инновацией и отмечает, что его наличие в азербайджанском языке обусловлено соседством азербайджанцев с иранским населением (с.155). Фактически, это последнее противоречит мнению, высказанному на с. 17, и здесь требуется внесение некоторых коррективов.

Можно было бы поспорить с автором по поводу формы на *-агак//-аган*, которая функционирует не только в диалектах, но и в литературном языке; ср.: *аглаган* «плаксивый», *вураган* «бодливый», *кулэjэн* «смешливый», *гачаган* «бегун» и т. п. Лексикализованные *чалаган (чал-аган)* «коршун», *кэсэjэн* «грызун» и т. п. свидетельствуют о том, что данная форма употреблялась на более раннем этапе исторического развития азербайджанского языка, и, по-видимому, на определенном синхронном срезе она как причастная форма употреблялась параллельно с *-ан*, которое позже вытеснило форму на *-аган*. Следовательно, форма на *-аган* присуща не только диалектам, как это утверждает Н. З. Гаджиева, но и литературному языку, и она отражает ранние кыпчакские черты в азербайджанском языке.

В разделе «Делабиализация» автор приводит такие примеры, как керкукск. диал. *бызав//быза* вм. *бузов* «теленок», *илдыз*, вм. *улдуз* «звезда» (с. 23). Думается, что соображения автора были бы более убедительными, если бы приводились примеры на случаи делабиализации в качестве изоглоссного явления, охватывающего группу диалектов, когда первичные губные претерпевают делабиализацию. В данном же случае в диалектах мы обнаруживаем реликты более древних форм. Ведь и в литературном языке вплоть до начала XX в. мы встречаем *чылав* «узда», *гавын* «дыня», *(j)ылдыз* «звезда», *быза* «теленок» (все эти примеры приведены на с. 23 рецензируемой монографии).

В пограничных с Дагестаном и Грузией районах Азербайджана — в закатальско-кахских говорах автор отмечает со ссылкой на А. Асланова следы цахурского субстрата, проявляющегося в наличии фарингализованных гласных *аъ, оъ, уъ, ыъ* (с. 157—158), причем подобные гласные на с. 163 автором квалифицируются как фарингальные. В связи с этим отметим, что, во-первых, нет подобного субстрата ни в литературном азербайджанском языке, ни в его диалектах, во-вторых же, неправомерно фарингальные гласные отождествлять с фарингализованными. Ибо *еъ, иъ*, отмеченные на с. 163 автором как фарингальные, такие же фарингализованные, как и *аъ, оъ, уъ, ыъ*.

В связи с аналитической формой настоящего времени на *-а + вар* автор пишет: «...существующая в тюркских языках потенциальная возможность использования связочного элемента *бар//вар* в тюркоязычном ареале Кавказа была усилена влиянием кавказских языков. Не случайно, что рассмотренная модель настоящего времени в азербайджанских го-

ворах (*-а вар*) представляет собой кальку с аналогичной модели в кавказских языках» (с. 82). Отметим, что в Диване классика азербайджанской литературы Кады Бурханеддина (XIV в.) нередко встречается эта форма, где вторым компонентом является глагол *вар-* «идти», который выступает в роли вспомогательного глагола. Можно довольствоваться лишь одним примером: *Бән ләбуңдән сора вардум көзуңуң хәстәлиеин* «Я спросил у твоих губ о томности твоих глаз» (букв. «о болезни твоих глаз»).

И в приведенном Н. З. Гаджиевой примере из «Кутадгу билиг» со ссылкой на М. Ш. Ширалиева (*ука бар муны сен* «пойми ты это»), нам кажется, что *бар-* — это вспомогательный глагол. Аналитическая форма «основной глагол на *а-//-у* встречается и в памятниках древнетюркской письменности. Например: *...елиг торуг казγанып уча бармыс* «...власть приобретя, отлетел» (умер) (КТб 16); *тӱрк бодун аты јок болу бармыш ерти* «слава (букв. имя) тюркского народа начала клониться к упадку» (Онгинский памятник, см. ДТС, с. 83).

Следовательно, первоначально в тюркских языках, в том числе и в азербайджанском, была аналитическая конструкция — основной глагол на *-а* (или *-и*) + вспомог. глагол *бар-*. Позже как результат контаминации в северной группе диалектов и говоров под влиянием кавказских языков глагол *бар-//вар-* стал восприниматься как *вар* «есть», в других же диалектах и говорах эта конструкция вышла из употребления. Нам кажется, что Н. З. Гаджиевой следовало особо подчеркнуть это обстоятельство.

В заключение выскажем следующее соображение. Тюркские языки распространены в СССР на весьма обширной территории — от Якутии до Молдавии. С чувством глубокого удовлетворения следует отметить, что у нас исследована большая часть диалектов и говоров всех тюркских языков, в том числе тюркских языков сибирского ареала. Чтение двух серьезных монографических исследований Н. З. Гаджиевой наводит на мысль, что они являются двумя первыми томами лингвистического цикла, и у читателя возникает желание ознакомиться с дальнейшими работами, в особенности с трудом по тюркоязычным ареалам Сибири. Надеемся, что Н. З. Гаджиева возьмется за написание и этого тома с присущей автору работоспособностью и внесет новый значительный вклад в развитие советской тюркологической лингвистики.

Асланов В. И., Гукасян В. Л.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Марр Н. Я.* Племенной состав населения Кавказа. Пг., 1920, с. 31.
2. *Артамонов М. И.* История хазар. Л., 1962, с. 18.
3. *Гукасян В. Л.* Тюркизмы в албанских источниках.— СТ, 1977, № 2.
4. *Гукасян В. Л.* Значение закавказских источников в изучении истории азербайджанского языка дописьменного периода.— СТ, 1978, № 2.
5. *Севортян Э. В.* О содержании термина «общетюркский».— СТ, 1971, № 2, с. 10—11.

Могучий фактор национально-языкового развития. Редкол.: Кулматов К. Н. и др. — Фрунзе: Кыргызстан, 1981. 313 с.

Основой развития и взаимообогащения языков и культур народов СССР в условиях развитого социализма является последовательно претворяемая в жизнь Коммунистической партией и Советским государством ленинская национальная политика, указывающая путь к единственно правильному решению вопросов национально-языкового строительства в нашей стране с позиций свободы и равноправия всех наций и народностей Советского Союза. «Жизнь убеждает,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— что интенсивное экономическое и социальное развитие каждой из наших республик ускоряет процесс их всестороннего сближения. Происходят расцвет и взаимообогащение национальных культур, формирование культуры единого советского народа — новой социальной и интернациональной общности» [1]. Конкретным изучением этой комплексной, междисциплинарной по своему характеру проблемы явились подготовка и издание за последнее время ряда ценных теоретических работ [см. 2—9]

Отражение киргизской социалистической культуры в киргизском литературном языке не может быть успешно прослежено без учета социально-экономических и социокультурных факторов, обусловивших современный уровень киргизской культуры и способствовавших дальнейшему функционированию и обогащению киргизского языка. Всестороннего развития духовной культуры на родном языке достигла Советская Киргизия, как и другие республики нашей страны, в период Советской власти благодаря успехам в области народного образования на родном и русском языках. Советская Киргизия представляет собой «планету ста языков», республику, где единой социалистической семьей живут и трудятся представители почти всех наций и народностей Советского Союза (с. 4).

«В созидательной роли русского языка,— отметил Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Т. У. Усубалиев на состоявшейся во Фрунзе (22—24 сентября 1981 г.) Всесоюзной научно-теоретической конференции „Интернациональное и национальное в образе жизни совет-

ского народа" [10],— киргизский народ, как и другие нации и народности нашей страны, глубоко убедился на собственном опыте. Русский язык открыл киргизам путь к знаниям, науке и технике, к высотам мировой культуры, сблизил киргизский народ со всеми братскими народами нашей Родины, дал возможность овладеть бессмертным учением марксизма-ленинизма... Создание национальной письменности, обогащение лексики, расширение общественных функций, формирование терминологии, особенно общественно-политической и научно-технической, развитие собственных выразительных и художественных средств киргизского и других национальных языков — все эти процессы происходили и происходят под благотворным влиянием русского языка» [11].

Рецензируемая работа, состоящая из предисловия и четырех глав, является результатом творческого сотрудничества ведущих ученых-языковедов АН КиргССР и АН СССР, перед которыми была поставлена задача разработки наиболее актуальных проблем национально-языковой жизни в республике в условиях социализма и закономерностей благотворного воздействия русского языка на киргизский.

Первая глава «Ленинская языковая политика в действии» содержит четыре раздела (далее в тексте приводятся точные названия разделов и их авторов), в которых рассматриваются методологические вопросы межнациональных языковых контактов, роль и значение русского языка как средства межнационального общения, интернационализация культуры советского народа и языковой жизни советского общества в условиях идеологической борьбы на современном этапе.

Методологической основой понимания вопроса об использовании русского языка в качестве средства межнационального общения советских народов (К. Н. Кулматов, Русский язык — важнейшее средство межнационального общения и укрепления дружбы народов СССР) является учение марксизма-ленинизма о роли языка в формировании нации, его социальной сущности и общественных функциях, статусе языков в многонациональных государствах. Предпосылкой процесса превращения русского языка в язык межнационального общения народов СССР явились совместное строительство материально-технической базы социализма, образование и становление советской государственности, создание новой, социалистической по содержанию, национальной по форме культуры.

В преобразовании духовного мира киргизов, их культуры в русле новой общественно-экономической формации на основе марксистско-ленинской идеологии и коммунистической морали выдающуюся роль (А. К. Карыпкулов, Роль русского языка в развитии культуры советского народа) сыграли русский язык, русская классическая и современная культура. Наиболее показательным является тот факт, что на киргизский язык переведено свыше 800 произведений классиков русской и советской литературы; на русском языке издано около 450 сочинений киргизских прозаиков и поэтов, большое количество книг киргизских авторов переведено на языки других народов СССР и зарубежных стран. Например, произведения выдающегося киргизского писателя Ч. Айтматова изданы на 80 языках мира.

Развитие национальных языков народов СССР стало условием реальных достижений в политической, экономической, культурной и других сферах жизни. Это подтверждается многообразием функций и киргизского языка в Советский период. Характерно, что из 25 основных сфер общественно-политической, социальной, хозяйственной, культурной и научной жизни киргизский язык (см. табл. 1, с. 31) активно функционирует в 18 из них. Это убедительно свидетельствует о том, что сегодня в республике киргизский язык, не имевший до революции письменной, литературной формы, представлен национальным языком киргизского народа (составляет более 50% всего населения республики), обрел широкие общественные функции. Достаточно указать, что на киргизском языке ведется обучение в общеобразовательных школах и в учебных заведениях, издаются газеты, журналы, общественно-политическая, художественная и научная литература, осуществляется теле- и радиовещание, выпускаются кинофильмы, действуют театры. Созданы теоретическая грамматика киргизского языка, толковые и орфографические словари. Разработкой актуальных проблем киргизского языкознания, литературоведения и методики их преподавания в учебных заведениях республики заняты более ста докторов и кандидатов наук.

Русский язык в республике имеет широкое распространение как язык межнационального общения: он несет огромную функциональную нагрузку в многонациональных трудовых коллективах, на предприятиях и стройках и в других сферах жизни, где представлен многотысячный интернациональный рабочий класс Киргизии. Процесс интернационализации культуры и становление киргизско-русского двуязычия рассматриваются авторами монографии как реальные стимулы развития и взаимообогащения киргизского языка и культуры.

Конкретным выражением всестороннего расцвета и сближения социалистических наций (С. Т. Табышалиев, Действенный фактор расцвета и сближения советских социалистических наций) является утверждение новой исторической общности людей — советского народа. При анализе процесса распространения русского языка как языка межнационального общения и его роли в сближении наций С. Т. Табышалиев считает необходимым учитывать два момента: 1) распространение русского языка происходит под влиянием объективных потребностей общественного развития, которые, в свою очередь, отражаются в стремлении представителей всех наций и народностей страны изучать русский язык; 2) распространение русского языка есть сознательно регулируемый, управляемый процесс, отражающий

многогранную организаторскую, теоретическую, идейно-воспитательную работу Коммунистической партии, направленную на создание условий, способствующих углублению прогрессивного процесса распространения русского языка, совершенствования его изучения и преподавания.

Одним из важных участков развертывания идеологической борьбы на современном этапе (Ю. Д. Дешериев, Современная идеологическая борьба и развитие языковой жизни советского общества) является языковая жизнь человечества, составной частью которой служит языковая жизнь советского общества, достигшего огромных успехов в последовательном осуществлении ленинской национально-языковой политики. Рассматривая выдающиеся достижения СССР в решении национально-языковых проблем на конкретных фактах, связанных с закономерностями функционирования, развития и взаимодействия языков в советском обществе, Ю. Д. Дешериев отмечает, что советские ученые ведут решительную борьбу против буржуазной идеологии, извращения языковой политики Советского государства. Оценивая роль русского языка как языка межнационального общения в жизни народов нашей страны, Ю. Д. Дешериев приходит к выводу, что несмотря на достигнутые успехи в этой области, «наши идеологические противники, делая вид, что они будто бы пекутся о языках народов СССР, которые якобы подвергаются ассимиляции, на самом деле выступают против приобщения народов СССР к передовой русской и мировой культуре, против культурного обмена между |народами СССР, против взаимообогащения их культур и языков, против того, чтобы все достижения мировой и советской науки, техники, культуры стали достоянием всех советских людей» (с. 67).

Вторая глава «Благотворное влияние русского языка на становление и развитие киргизского языка» содержит одиннадцать разделов: 1. Становление и развитие киргизской национальной письменности (Э. Абдулдаев), 2. Русские лексические заимствования в киргизском языке (Б. Орузбаева, Э. Абдулдаев), 3. Приемы орфографирования русских заимствований (Э. Абдулдаев), 4. Взаимодействие с русским языком — основной фактор становления и развития терминологической системы современного киргизского языка (Б. Орузбаева, Ж. Осмонова), 5. Русский язык — один из основных источников образования фразеологических оборотов и устойчивых выражений (Ж. Осмонова), 6. О влиянии русской фонетической системы на фонетическую систему киргизского языка (Т. К. Ахматов, А. И. Васильев), 7. Грамматический строй современного киргизского языка и сдвиги в системе словообразования (Б. Орузбаева), 8. Развитие структуры простого предложения в современном киргизском литературном языке (А. Иманов), 9. Структурные изменения в сложносочиненных предложениях (В. Д. Скирдов), 10. Синтаксические процессы в сложноподчиненных предложениях (К. К. Сартбаев), 11. Развитие стилей в современном киргизском языке (С. Довлетов).

Лингвистический аспект социально-культурной ситуации в Советской Киргизии характеризуется авторами указанных разделов в контексте интенсивно развивающихся связей русского и киргизского языков. Вследствие этого идет процесс обогащения лексики, фразеологии, многоотраслевой терминологии киргизского языка. Развитие фонетической системы, морфологической структуры, словообразовательных компонентов, синтаксических конструкций, изобразительно-выразительных функций современного киргизского литературного языка происходит под благотворным воздействием контактных связей с русским языком, которые способствуют активизации потенциальных возможностей киргизского языка. В результате расширения и углубления общественных функций, взаимовлияния и взаимообогащения контактирующих языков происходит также развитие стилистической и семантической систем современного литературного киргизского языка.

В третьей главе «Функционирование русского языка в условиях киргизско-русского двуязычия» представлены результаты исследования некоторых особенностей функционирования русского языка в эпоху социализма и его роли в развитии и обогащении художественных культур народов СССР.

Объективной основой распространения русского языка в Киргизии и последующего возникновения киргизско-русского двуязычия (К. С. Чонбашев, Особенности функционирования русского языка в период социализма) являются новые общественно-политические и культурные взаимоотношения между народами Советского Союза. Равноправие функционирования языков — это обеспечение всем национальным языкам равных условий и возможностей для свободного их развития и совершенствования. Наглядным примером успешного претворения в жизнь ленинской национально-языковой политики является взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. К. С. Чонбашев убедительно показывает, что в Советской Киргизии, народ которой в дореволюционном прошлом не имел даже своей письменности[1], только за последние полвека издано около 25 тыс.

[1] Известно, что даже в тяжелые для нашей страны годы разрухи и гражданской войны В. И. Ленин находил возможным оказывать помощь нерусским народам в развитии культуры и их языков, издании газет и литературы на национальных языках. Характерна в этом отношении записка В. И. Ленина, написанная им по поводу просьбы представителей народов Туркестана: «Тов. Воровскому (Государственное издательство) и тов. Милютину (ВСНХ). Киргизские товарищи просят помощи, чтобы добыть словолитню, типографию и бумаги. Очень прошу их принять и оказать им всяческое содействие. 4/VI. 1920. *В. Ульянов (Ленин)*» [12].

книг и брошюр общим тиражом почти 160 млн. экземпляров, в том числе на киргизском языке — свыше 13,5 тыс. книг тиражом более 101,6 млн. экземпляров. На киргизском языке ведется обучение почти в тысяче общеобразовательных школ, киргизский язык и литература преподаются в средних специальных и высших учебных заведениях. На киргизском языке издается более 50 районных, областных и республиканских газет разовым тиражом свыше 500 тыс. экземпляров и восемь журналов годовым тиражом свыше 3 млн. экземпляров. В настоящее время книги издаются общим тиражом свыше 3 млн экземпляров в год, из которых около 50% — на киргизском языке (с. 193).

Основными сферами функционирования русского языка в современной Киргизии (А. О. Орусбаев, Русский язык в некоторых сферах социальной жизни республики) являются следующие: 1) официальная переписка с центральными учреждениями и другими республиками, 2) государственные учреждения, 3) судопроизводство, 4) радиовещание и телевидение, 5) наука и техника, 6) народное образование, 7) техническая документация, 8) делопроизводство и официальная переписка внутри республики, 9) периодическая печать, 10) взаимообщение основной массы населения, 11) культурно-просветительные учреждения и другие. Анализ функционирования русского языка в сфере народного образования, науки и техники, массовой информации и искусства выявляет тенденцию к дальнейшему расширению социальной роли русского языка в республике.

Киргизская художественная культура, как и все другие национальные художественные культуры народов Советского Союза (Е.К. Озмитедь, Роль русского языка в развитии и обогащении художественных культур народов СССР), опирается как на собственные национальные традиции, так и на традиции русской классической культуры, олицетворением которой выступает русский язык. Именно этим обусловливается роль русского языка в развитии и обогащении национальных культур народов нашей страны, включая и киргизскую национальную культуру.

Четвертая глава «Киргизский и русский языки в системе народного образования» содержит три раздела: 1. Вклад русских педагогов в разработку методики киргизского языка (А. Э. Измайлов, А. Турсунов, С. Усеналиев, К. Сартбаев, Б. Омуралиев), 2. Русская литература в национальных школах Киргизии как один из факторов развития языка и культуры киргизского народа (Л. А. Шейман), 3. Проблемы и пути улучшения изучения и преподавания русского языка в республике (Г. С. Зенков). Авторы указанных разделов анализируют в основном методические вопросы преподавания русского языка в республике, значение изучения русской литературы в школе, роль русских педагогов и русской учебно-методической литературы в создании и совершенствовании школьных программ и учебников по киргизскому языку.

Рецензируемая книга представляет собой важный этап исследования поставленных авторами вопросов. Некоторые из них изучались и ранее киргизскими языковедами, историками и философами. Однако ценность этого коллективного труда, как нам представляется, состоит прежде всего в том, что впервые в рамках АН КиргССР киргизскими учеными-языковедами выполнена работа по актуальной проблематике советской социальной лингвистики. Это вносит реальный и конкретный вклад в разработку насущных проблем как киргизского языкознания, так и общего языкознания и социальной лингвистики. Очевидно, что без выполнения таких исследований нельзя постичь в полной мере закономерности функционирования и взаимообогащения языков и культур, делать глубокие теоретические и практические выводы, имеющие общесоциолингвистическое значение для прогнозирования и дальнейшего планирования языкового развития в СССР.

Бахнян К. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.— В кн.: Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 57.
2. Развитие языков и культур народов СССР в их взаимосвязи и взаимодействии. Уфа, 1976.
3. Национальный язык и национальная культура. М., 1978.
4. Взаимообогащение языков и культур народов СССР в условиях развитого социализма. М., 1980.
5. Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур. М., 1980.
6. Русский язык в национальных республиках Советского Союза. М., 1980.
7. *Шермухамедов С.* Русский язык — великое и могучее средство общения советского народа. М., 1980.
8. *Карпенко М. А., Семенов Н. А.* Русский язык в семье единой. Киев, 1980.
9. Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР: Материалы Всесоюз. научн.-теорет. конф. «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР», 23—24 мая 1979 г. г. Ташкент. М., 1981.
10. Социально-лингвистический аспект советского социалистического образа жизни: Тезисы докл. и выступ. на Всесоюз. науч.-теорет. конф. «Интернациональное и национальное в образе жизни советского народа». М., 1981.
11. *Усубалиев Т. У.* Руководящая роль КПСС в укреплении единства интернационального и национального в советском образе жизни. Фрунзе, 1981, с. 61.
12. *Ленин В. И.* Записка В. В. Воровскому и В. П. Милютину.— Полн. собр. соч., т. 51, с. 208.

Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков. Отв. ред. Кононенко В. И.— Киев: Наукова думка, 1981. 336 с.

Функционирование русского языка в близкородственном языковом окружении. Отв. ред. Ижакевич Г. П.— Киев: Наукова думка, 1981. 344 с.

Проблема функционирования русского языка как средства межнационального общения по-разному проявляется в различных национальных регионах страны. Специфические задачи в этой области возникают при разработке указанной проблемы на Украине и в Белоруссии, т. е. в ситуации близкородственного двуязычия, в условиях контактирования русского языка с украинским и белорусским. Этот аспект проблемы является объектом пристального внимания украинских русистов, о чем свидетельствует ряд публикаций последних лет и, в частности, две рецензируемые работы. Их объединение в качестве объекта одной рецензии неслучайно. Оно обусловлено характером материала, рассматриваемого в коллективных монографиях, и структурой последних: книга «Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков» (далее — ПСС) органически дополняет первую главу монографии «Функционирование русского языка в близкородственном языковом окружении» (далее — ФРЯ) — главу, представляющую собой «Сравнительно-сопоставительное описание восточнославянских языков» (таково ее название) и включающую пять разделов: «Фонология», «Лексика», «Словоизменение», «Словообразование» и «Синтаксис». ПСС, таким образом, составляет как бы шестой раздел — «Стилистику» (хотя значительно и превосходит по объему и детализации изложения пять указанных разделов ФРЯ). Вторая (и последняя) глава ФРЯ называется «Русская речь в украинском и белорусском языковом окружении».

Глубокая и всесторонняя разработка проблематики функционирования русского языка как средства межнационального общения народов нашей страны на территории национальных республик в условиях иноязычного окружения,— отмечается во вводном разделе ФРЯ (с. 3),— на современном этапе является одной из важнейших теоретических задач советского языкознания. С точки зрения научно-практической проблема функционирования русского языка в национальных республиках выдвигает задачу исследования процессов взаимодействия языков с целью подготовки практических рекомендаций широкого диапазона — от обучения русскому языку до разработки оптимальных научных методов сравнительно-типологического анализа языков, сопоставительного исследования различных уровней русского и национальных языков и т. д. (ФРЯ, с. 4, 5).

Важным, с нашей точки зрения, является утверждение авторов, что в советское время в условиях «функционально-правового равенства» русского, украинского и белорусского языков активизируются именно творческие элементы их взаимодействия. Это означает, что украинский и белорусский языки под влиянием русского максимально активизируют собственные потенции. Русский язык, таким образом, выполняет «роль своеобразного ускорителя, активного стимулятора, возбудителя...» положительных процессов в близкородственных языках (ФРЯ, с. 13). Примером здесь могут служить отглагольные имена с суффиксом *-я (а)*, обозначающие процесс действия, образование которых в украинском и белорусском языках в значительной мере активизировалось под влиянием русского (ср. укр. *доставка, розплавка, посадка*; белорусск. *дастайка, расплайка, пасадка* и под.).

Факт преобладания на Украине и в Белоруссии двустороннего массового двуязычия ставит на повестку дня проблему культуры речи, как русской, так и национальной. Поэтому особо следует подчеркнуть актуальность ПСС, так как именно выявление стилистической дифференциации на различных уровнях близкородственных языков в значительной степени будет способствовать преодолению интерференции в речи двуязычных говорящих, а значит, и повышению культуры речи.

Сопоставительный анализ стилистических систем восточнославянских языков, по мнению авторов ПСС, должен осуществляться в двух аспектах. Во-первых, с точки зрения сравнительно-сопоставительного исследования стилистических ресурсов каждого из национальных языков и соотношения их языковых и стилистических норм. Во-вторых, с точки зрения специфики взаимодействия функциональных стилей в рамках каждого языка и сопоставления этих стилей в процессе контактирования языков (ПСС, с. 12). Оба эти аспекта приняты во внимание авторами рецензируемых монографий.

Исследуя в первой главе ФРЯ в сравнительно-сопоставительном плане все (за исключением стилистического) структурные уровни трех языков, авторы на фоне общих черт устанавливают специфические явления, определяющие своеобразие каждого из языков. С этой точки зрения наибольшей полнотой отличается раздел «Фонология». Сравнительно-типологическое описание фонологических систем восточнославянских языков осуществляется путем установления сходств и различий, во-первых, в составе фонем и определяющих их дифференциальных признаков, по которым образуются оппозиции этих фонем; во-вторых, в коррелятивных отношениях фонем, характеризующих системы сопоставляемых языков, в-третьих, в характере аллофонов, сходных по дифференциальным признакам фонем (ФРЯ, с. 21).

В разделе «Лексика» отмечается, что синхронное сравнительно-сопоставительное изучение словарного состава близкородственных языков также предусматривает определение как общих, так и специфических компонентов лексических систем (ФРЯ, с. 62). Здесь, например, выделены лексико-семантические и тема-

тические группы, представляющие общий лексический фонд восточнославянских языков, приведены группы слов дифференциальной лексики, рассматривается своеобразие проявления общности и дифференциальных особенностей восточнославянских языков в синонимических и антонимических микроструктурах.

В первой главе ПСС «Лексические средства стилистики» ряд разделов посвящен общим вопросам стилистики. Все положения этих, как и других, разделов подкрепляются богатым фактическим материалом. Особый интерес представляет раздел «Экспрессивно-стилистическое соотношение генетически коррелятивной лексики в русском и украинском языках», ибо в нем рассматриваются ключевые вопросы лексической типологии близкородственных языков, имеющие непосредственное отношение к практике — повышению культуры русской речи в условиях близкородственного двуязычия.

Содержательны разделы, посвященные использованию украинских языковых элементов в русских газетно-журнальных текстах (ПСС, с. 102—115) и характеристике стилистического использования русской и украинской лексики в языке писателей-билингвов (ПСС, с. 115—132). Использование украинской лексики, как убедительно показывают авторы, расширяет стилистические возможности языка русской периодической печати, ибо «богатые и выразительные ресурсы украинского языка при уместном, экономном и правильном их использовании являются ценным средством создания стилистических колоритов и эффекта экспрессии в русском литературном языке, обогащая его стилистическую систему в целом» (ПСС, с. 115). Этот верный в целом вывод должен был бы, по нашему мнению, сопровождаться более резким заострением внимания на необходимости крайне осторожного и обдуманного включения украинизмов (белорусизмов) в русский текст. Ведь надо прямо сказать, что качественные и количественные критерии в этой сфере пока четко не сформулированы, и потому эффект экспрессии легко может превратиться в свою противоположность. Весь опыт изучения литературно-художественного двуязычия свидетельствует об этом. В связи со сказанным обратим внимание на особую сложность и особую остроту вопроса о границе между позитивным и негативным в явлениях трансференции в художественном тексте.

Во второй главе ПСС «Грамматические средства стилистики» охарактеризованы различные словообразовательные разряды в лексике восточнославянских языков. Высокой оценки заслуживает умение авторов показать специфическое в каждом из языков, выявить степень их дифференциации как источника межъязыковой интерференции. Например, отмечается, что словообразовательные типы наименований лиц женского рода в восточнославянских языках в основном совпадают. Однако внешне совпадающие деривационные типы данной категории имен проявляют различную активность, расходятся по стилистической окраске и сфере употребления.

Третья глава ПСС «Стилистика в школе» содержит некоторые практические рекомендации для преподавателей, работающих в условиях украинско-русского двуязычия. Подчеркиваются следующие моменты: обучение навыкам правильной, хорошей речи должно вестись системно, вопросы стилистики и культуры речи следует излагать при изучении каждой грамматической темы; необходимо учитывать специфику и национальную самобытность каждого из языков; важно координировать занятия по стилистике на уроках русского и украинского языков. Нет нужды подчеркивать, что эти методические положения отражают и практически преломляют научные, лингвистические выводы о специфике взаимоотношений близкородственных языков.

Вторая глава ФРЯ, как уже отмечалось, посвящена рассмотрению вопросов функционирования русской речи в украинском и белорусском языковом окружении и построена по «уровневому» принципу.

В разделе «Орфоэпия» затрагивается важный общетеоретический вопрос о статусе локальных разновидностей русского литературного языка, реальность которых бесспорна, и делается верный, по нашему мнению, вывод о том, что существование территориальных вариантов литературного языка отрицается самим его стремлением ко всеобщности и единообразию (*ФРЯ*, с. 200). Отметим, однако, что вопрос этот требует дальнейшей разработки, ибо от его решения в определенной степени зависит теоретическая и практическая работа русистов в национальных республиках.

Еще одной существенной, практически значимой проблемой является вопрос об усилении орфоэпической роли орфографии, вызванном отсутствием русской языковой среды. Значение этого фактора формирования локальных разновидностей русского произношения до сих пор не учитывалось в должной мере.

Основное внимание авторы ФРЯ уделили практическим вопросам орфоэпии, достаточно детально охарактеризовав произношение украинцев и белорусов как в аспекте явлений, совпадающих с русской произносительной нормой, так и в плане вариативности русского нормативного произношения. Проблема акцентологических норм лишь намечена (ФРЯ, с. 224), и одной из причин этого следует считать (по крайней мере по отношению к русско-белорусскому двуязычию) слабую разработку сопоставительной акцентологии восточнославянских языков.

Анализ лексического взаимодействия русского языка с другими восточнославянскими авторы ведут, исходя из положения о максимальной проницаемости данного уровня языковых систем, что позволяет на очень широком материале показать как процессы лексического взаимообогащения языков, так и негативные аспекты интерференции. В функциональном плане в русской речи выделяются три группы «восточнославянизмов»: экспрес-

сивно-эмоциональные лексемы, имеющие нейтральные русские соответствия; экспрессивно нейтральные слова, выполняющие функцию локального колорита; слова, немотивированно включаемые в русскую речь, преимущественно устную. Эта классификация содержит в себе не только теоретический, но и дидактический момент, который, по нашему мнению, должен найти обязательное отражение в соответствующих разделах учебников русского языка для национальных школ и вузов.

В работе сделана удачная попытка дать структурную интерпретацию проникновения украинских элементов в лексико-семантические категории русского языка на основе учета закономерностей «внутриязыкового стилистического функционирования» (ФРЯ, с. 236) этих категорий — синонимов, антонимов, омонимов и паронимов. На материале художественной и публицистической русской прозы, созданной на Украине в послевоенные годы, убедительно показано, что живой процесс лексического взаимодействия близкородственных языков базируется на ряде внутриязыковых закономерностей и потому ортологические рекомендации могут быть весьма строгими и лингвистически обоснованными.

Белорусское лексическое влияние на русскую речь отражено путем фиксации собственно лексических и семантических заимствований. Приводимый в ФРЯ материал убедителен. Замечания вызывают лишь некоторые термины, которые хотя и являются, как можно предполагать, «рабочими», неизбежно подводят читателя к определенной концепции. Так, авторы называют «словообразовательными вариантами» (ФРЯ, с. 261) белорусские слова, лексически равнозначные русским, но отличающиеся от последних словообразовательными средствами (например: *маланка — молния*, *прибыток — прибыль* и под.). Нам представляется, что термина «вариант» здесь следовало бы избегать, ибо в лучшем случае он оправдан лишь под историческим углом зрения. Вместе с тем очевидно, что данный конкретный тип соотношения лексем двух языков представляет особой интерес для задач изучения близкородственного двуязычия.

Вызывает также возражение категоричность вывода о том, что все описанные в разделе «Лексика» случаи включения в русскую речь белорусизмов «находятся за пределами русской литературно-языковой нормы» (ФРЯ, с. 266). Он противоречит части фактов, ряду утверждений самих авторов и теоретическому допущению о возможности функционально оправданных иноязычных элементов в русском тексте.

Наблюдения в области словоизменения подтверждают, как отмечают авторы ФРЯ, общую закономерность — относительную устойчивость морфологии к иноязычному влиянию. Интерференция же в этой сфере характеризуется рядом особенностей, в первую очередь — нестабильностью и избирательностью. Это значит, что морфологическая субституция встречается лишь у отдельных информантов и не во всех однотипных лексемах, причем семантика грамматических категорий варьируется чаще, чем их форма. Особо отмечается многопланового стимулирующее воздействие близкородственных языков на русский, состоящее в том, что под воздействием украинского (белорусского) языка в русской речи активизируются те или иные формы, наличествующие в русской языковой системе, но так или иначе закрепленные и потому ограниченные в употреблении. Чем слабее эта закрепленность, тем больше вероятность появления данной формы в русской речи. Такой характер имеют, например, формы *разыгрують*, *подкармляют*, *спрашують*, *развадують*, представляющие собой активизацию третьего продуктивного класса русского спряжения (в «ущерб» первому) под влиянием украинских форм типа *розігрувати — розіграють*. Эти и подобные наблюдения находятся в общем русле исследования взаимодействия близкородственных языков, позволившего сформулировать принципиально важное положение: «воздействие украинского языка на морфологию русской речи жителей УССР происходит не столько путем внедрения туда украинских средств формообразования, сколько за счет активизации отдельных явлений русского языка» (ФРЯ, с. 277). Это положение целиком относится и к русскому языку в белорусской среде.

В разделе «Словообразование» рассмотренное положение интерпретируется как интерференция явная (заимствование новых элементов из воздействующей языковой системы) и скрытая (активизация или торможение определенных процессов в речи) (ФРЯ, с. 289). Эти же явления обнаруживаются и в словообразовательной интерференции в условиях русско-белорусского двуязычия: говорящие не различают деривационной продуктивности одних и тех же или синонимических аффиксов, что и приводит к «скрытой» интерференции.

Характеристика синтаксиса русской разговорной речи ведется с позиций анализа его соответствия разговорному синтаксису основного ареала распространения русского языка. При этом учитываются три существенных момента, объясняемых характером синтаксических систем близкородственных языков и спецификой их взаимодействия: во-первых, в русской речи присутствуют типизированные синтаксические черты русского языка; во-вторых, общие для взаимодействующих языков конструктивные показатели; в-третьих, трансферированные явления. Как видим, и в области синтаксиса обнаруживается и «явная», и «скрытая» интерференция. При этом синтаксическая система русского языка в регионе двуязычия обогащается некоторыми конструктивными особенностями, которые могут рассматриваться в пределах синонимических рядов как периферийные явления русской синтаксико-стилистической системы (ФРЯ, с. 307—308). В целом же, указывают авторы, синтаксическая интерференция не привносит существенных изменений в норму русской речи, не нарушает закономерностей русского разговорного синтаксиса (ФРЯ, с. 331).

Рецензируемые работы украинских русистов, написанные ими в сотрудничестве с русскими и белорусскими языковедами,— существенный вклад в теорию и практику разработки вопросов близкородственного двуязычия. Они не представляют и не претендуют на то, чтобы представлять собой законченное исследование двух глобальных проблем, обозначенных в названиях книг. Но работы эти по широте конкретной проблематики, по теоретической аспектации близкородственного двуязычия, по методике анализа фактов, в ряде случаев позволившей авторам сказать новое слово, по концентуальной устремленности выводят русистов трех братских республик на главное направление сопоставительно-типологического и функционального изучения восточнославянских языков и являются важным этапом в решении этой актуальной задачи.

Лукашанец А. А., Михневич А. Е.

Теоретические основы классификации языков мира. Отв. ред. Ярцева В. Н.— М.: Наука, 1980. 208 с.

Всякое большое научное мероприятие, связанное с обобщением накопленного конкретного материала, неминуемо вызывает потребность в теоретическом осмыслении методологии и методики соответствующей отрасли знания. Неудивительно поэтому, что коллектив лингвистов, приступающий к написанию энциклопедического многотомника «Языки мира», начинает свою работу не только созданием словника и макетов статей, но и обсуждением принципиальных вопросов, связанных с формой представления материала. Рецензируемая книга уже не первый выпуск теоретических работ, связанных с упомянутым изданием,— ей предшествовали «Принципы описания языков мира» (М., 1976).

Книга открывается разделом «К взаимоотношению генеалогической, типологической и ареальной классификации языков», написанным Г. А. Климовым. Природа и таксономические единицы каждой из них определяются следующим образом: генеалогическая классификация рассматривает дивергенцию родственных языков и оперирует понятием языковой семьи, для типологической классификации соответствующими понятиями служат изоморфизм языков и их типологический класс, для ареальной — конвергенция языков и языковой союз. Необходимым условием раскрытия их взаимоотношения автор считает создание «логической модели лингвистической классификации» (с. 9), что представляется возможным ввиду «далеко идущего методического параллелизма построения» перечисленных конкретных классификаций (с. 11). В связи с этим автор сосредоточивает внимание на обнаруживаемых ими аналогиях общего характера. Наиболее подробному обсуждению подвергнуты вопросы, касающиеся типологической классификации, поскольку сам предмет и задачи типологии вплоть до настоящего времени понимаются лингвистами весьма различно. Преодоление «искусственного» характера типологической классификации и приобщение ее к группе классификаций «естественных» (к которым, по его мнению, принадлежат генеалогическая и ареальная) автор видит в обращении к контенсивно-типологической классификации, основанной «на структурных способах передачи субъектно-объектных отношений действительности в языках мира» (с. 17).

На наш взгляд, весьма существенным для разграничения рассматриваемых здесь классификаций является сам выбор классификационных признаков — тех параметров, на которых эти классификации строятся. Наименее ясны они для ареальной классификации, бросающуюся в глаза фрагментарность которой отмечает и автор раздела. Об этом ярко свидетельствуют результаты изучения индийского (или «южноазиатского») языкового ареала, недавно суммированные профессором Чикагского университета К. Масикой [1]. Оценивая 27 разноуровневых (6 фонологических, 10 морфологических и 11 синтаксических) черт, предлагавшихся в качестве признаков данного ареала, он заключает, что только четыре из них (один фонологический — ретрофлексные согласные; один морфологический — слова-эхо; два синтаксических — энклитические усилительные частицы и конструкция с субъектом в дательном падеже) действительно могут его отграничивать. Девять других, общих для языков ареала, так или иначе выходят за его границы и, следовательно, имеют более широкий характер. Еще девять не покрывают большей части ареала, т. е. обладают узко локальным характером. Наконец, статус последних пяти недостаточно ясен. Таким образом, произвольность выбора и условный характер предлагавшихся здесь критериев ареального членения очевидны.

Еще более поучительны результаты детального анализа, которому К. Масика в пяти центральных главах своей книги подвергает такие признаки, как порядок слов, морфологический каузатив (анализируемый, кстати, по методике А. А. Холодовича), использование деепричастий, сложные глаголы и конструкции с субъектом в дательном падеже (типа «мне хочется»). По названным признакам, исключая последний, индийский ареал смыкается с обширной урало-алтайской областью, простирающейся от Восточной Европы до Кореи и Японии. Связаны они через узкую горловину в районе Гиндукуша, где сино-тибетские языки, с одной стороны, и основной массив иранских,

с другой, противостоят названным ареалам по большинству рассматриваемых признаков. Интересно, что часть этих признаков (порядок слов, каузатив, деепричастия) появляется вновь в Эфиопии — той части Африканского материка, морские связи которой с Индией могли существовать еще в древности. Конструкция же с субъектом в дательном падеже обнаруживается в виде изолированных островов — в русском, грузинском и др.

Исследование К. Масики показывает, что проблема отграничения собственно ареальных (конвергентных) признаков от независимо возникших типологически изоморфных соответствий в значительной мере остается открытой. Созданию приемлемой ареальной классификации языков мира должна предшествовать кропотливая лингвогеографическая работа, которая дала бы достаточно изоглосс, выявляющих репрезентативные конвергентные признаки на фоне не только генетически общих, но и типологически изоморфных. Таким образом, предложенная Г. А. Климовым логически стройная схема соотнесения названных классификаций может рассматриваться в практическом плане главным образом, как своеобразный компас на отдаленную перспективу, т. е. то время, когда наряду со сравнительно-историческими мы будем располагать не только типологическими, но и полноценными ареальными грамматиками.

К вопросу о языковом типе, поднятому Г. А. Климовым, возвращается В. Н. Ярцева, специально рассматривающая его в контексте сопредельных понятий. Решается он здесь в свете проблемы соотношения в языке формы и содержания. Выступая против неоднократно предпринимавшихся попыток подчинения генеалогической классификации типологической и определяя обе как два метода анализа языков, опирающиеся на разные принципы и критерии, В. Н. Ярцева считает неправомерным выделение языкового типа по одним лишь формальным признакам и предлагает при типологическом анализе «учитывать не только формальные языковые приемы, но в первую очередь, существующее в них выделение лексико-грамматических разрядов (частей речи), связи между ними, передачу субъектно-объектных отношений, тип пространственных и временных характеристик действия и тому подобные явления» (с. 31). При этом отмечается существенная роль иерархичности различных семантико-грамматических признаков. В том, что касается выбора структурного уровня языка, наиболее подходящего для выделения и характеристики языковых типов, В. Н. Ярцева отдает предпочтение синтаксису в его связи с морфологией и лексикой (выделением специфических лексико-семантических групп), указывая при этом, что мотивированное решение этого вопроса было бы облегчено, если бы удалось вскрыть механизм взаимовлияния уровней. Соотносительность синтаксических моделей и морфологического типа языков подвергается специальному обсуждению на конкретных примерах. В заключение рассматривается отношение языкового типа, понимаемого автором как «определенная форма организации понятийного содержания языка» (с. 43), к распределению языков по генетическим группам и показывается, что то и другое членение в одних случаях может совпадать (тюркские языки), а в других нет (современные индоевропейские).

Т. В. Гамкрелидзе рассматривает типологию фонологических систем, подходя к ним с позиций маркированности, понимаемой в смысле, отличном от традиционного. Немаркированность здесь противопоставляется маркированности как „обычность", „естественность" определенной единицы системы, наличествующей во всех или в большинстве языковых систем, в противовес фонетически менее обычной и естественной и потому менее распространенной единице, характеризуемой в системе определенными ограничениями» (с. 73). На этом строится симметричная модель оппозиций, где звонкий велярный смычный /g/ оказывается маркированным по отношению к соответствующему глухому /k/ , а звонкий лабиальный /b/ , напротив, немаркированным по отношению к глухому /p/; аналогично, в оппозиции /g/ ~ /b/ маркирован первый, а в оппозиции /k/ ~ /p/ — второй. Такая асимметрия затрудняет восприятие системы (о чем косвенно свидетельствует досадная опечатка в схеме на с. 78, где знаки «маркированный» / «немаркированный» для глухих перепутаны). В то же время предлагаемый подход позволяет установить иерархию ступеней маркированности (аспирированные смычные стоят по ней выше неаспирированных, а глоттализованные — выше аспирированных; щелевые — выше соответствующих смычных и т. п.). Сильным членом оппозиции является немаркированный, чем выше ступень маркированности члена, тем он слабее. Таким образом, маркированным или немаркированным различительный признак оказывается лишь в определенном «контексте», т. е. в сочетании с другими различительными признаками, и, следовательно, маркированность/немаркированность распространяется на весь «пучок признаков».

Предлагаемый метод позволяет выявить «слабые» точки в фонологических системах согласных и гласных и установить иерархическую зависимость по маркированности в рядах и сериях различных фонем. Он объясняет не только сравнительную редкость в языках мира тех или иных классов фонем, но и закономерности нарушения симметрии в заполнении систем. В предложенном здесь смысле понятие маркированности оказывается удобным для построения фонологической типологии, устанавливая основы иерархической классификации фонологических систем.

Любопытно проследить, в какой мере выводимые Т. В. Гамкрелидзе общетеоретические закономерности отвечают структуре типичных индийских фонологических систем и согласуются с доступными нам данными о частотности фонем в

хинди, бенгали, маратхи и гуджарати [2—6]. Основные соотношения классов (серий) фонем отвечают этим закономерностям: назализованные гласные по своей частотности резко уступают чистым, а в маратхи они вообще отсутствуют; аспирированные согласные в два-три и более (до 20) раз менее частотны, чем соответствующие неаспирированные (имеется лишь один случай обратного соотношения — частота /c^h/ в гуджарати в полтора раза превышает частоту /c/). Более заметны отклонения в части, касающейся серий звонких и глухих смычных, которые здесь расширены за счет церебральных (ретрофлексных) и палатальных (реализующихся как аффрикаты) членов, причем церебральные повсюду обладают низшей частотностью (кроме /$ṭ^h$/ в маратхи, занимающего в серии глухих аспирированных второе место сверху). Место палатального члена варьируется в зависимости от языка и серии, тяготея ко второму снизу, но изредка поднимаясь на третье (/j/ и /c/ в бенгали и маратхи, /c^h/ в хинди), второе сверху (/c^h/ в бенгали и гуджарати) и даже на верхнее (/j/ в гуджарати) или опускаясь на нижнее (/c^h/ в маратхи, /c/ в гуджарати). Привлекает внимание смещение неаспирированных палатальных либо на среднюю позицию (в бенгали, маратхи), либо на крайние полюса (гуджарати), причем в последнем случае маркированным оказывается глухой. Что касается основных рядов смычных — лабиальных, дентальных и велярных,— то картина, нарисованная Т. В. Гамкрелидзе (т. е. последовательно нисходящая частотность у звонких и восходящая у глухих), сохраняется целиком только в бенгали. В маратхи эту последовательность имеют только глухие аспирированные, тогда как в остальных сериях наивысшей частотностью обладают дентальные. В хинди ее обнаруживают звонкие аспирированные и глухие неаспирированные, а в двух других сериях впереди также идут дентальные. В гуджарати дентальные обладают большей частотностью, чем лабиальные и велярные, во всех сериях, кроме глухих неаспирированных, причем частотность /t/ ниже не только частотности /k/, но и /p/. В трех последних языках /b/ уступает по частотности не только /t/, но и /g/, т. е. тому члену серии, который обычно признается маркированным. Видимо, это объясняется тем, что во всех трех языках в лабиальном ряду имеется «фрикативный» член /w/v/, нарушающий «равновесие» систем. Характерно, что в серии звонких аспирированных в хинди /b^h/ обладает наивысшей частотностью (но в гуджарати и маратхи более высока частотность /d^h/).

Н. З. Гаджиева рассматривает конкретные вопросы классификации тюркских языков и диалектов. Сравнив и оценив ранее предлагавшиеся классификации, автор обращается к фонетическим и грамматическим признакам языкового типа, понимаемого в этом разделе как совокупность характерных структурных черт, определяющих специфику каждого конкретного языка или диалекта. Указывая на необходимость дальнейшего совершенствования классификации тюркских языков, включая все их диалекты, Н. З. Гаджиева видит одну из важнейших задач на этом пути в разграничении кыпчакизмов и огузизмов, для чего предлагает ряд специальных приемов лингвистического анализа, важнейшее место среди которых должно занять выделение различительных признаков.

К вопросу о различении понятий «язык» и «диалект» в условиях отсутствия письменности обращается Д. И. Эдельман. Отправной точкой исследования здесь служат наиболее принятые ныне в нашем языкознании критерии: а) наличие или отсутствие взаимопонимания между носителями локальных форм речи, б) наличие или отсутствие покрывающей эти формы речи единой нормы в виде письменного языка или койне, в) наличие или отсутствие у носителей этих форм речи этнического единства, существующего в их самосознании и отраженного в едином самоназвании. При этом оказывается, что на практике предложенные критерии по своей значимости выстраиваются в обратном порядке, т. е. наиболее существенными служат социально обусловленные критерии, прежде всего — самосознание носителей, тогда как чисто лингвистический фактор (степень структурной близости, обуславливающей большее или меньшее взаимопонимание) отступает на задний план. В этой связи можно указать на то, что хинди и урду признаются их носителями разными языками, хотя оба они опираются на один и тот же диалект и благодаря структурному единству и общности ядра словаря мало различимы на уровне бытового общения. Как показывает Д. И. Эдельман, особенно важно учитывать иерархическое соотношение социальных и лингвистических критериев в тех весьма сложных случаях, когда исследователь имеет дело с бесписьменными языковыми разновидностями, лишенными единой нормы, так что в качестве средства письменного (а иногда и устного межгруппового) общения им служит какой-то внешний по отношению ко всей группе язык.

Продолжая обсуждение вопроса о соотношении этих понятий, С. Е. Яхонтов высказывает ту точку зрения, что поскольку критерий самосознания носителей не является лингвистическим, а порождаемая им практика описания языков Востока порой приводит к объявлению диалектами одного языка таких форм речи, которые генетически весьма далеки друг от друга (вплоть до относящихся к разным языковым семьям), «лингвистика (особенно социолингвистика) нуждается в собственной шкале для измерения сходства языков, не связанной с противопоставлением „язык — диалект"» (с. 150). Для оценки степени близости родственных языков здесь и предлагается такая шкала, напоминающая глоттохронологические построения Сводеша, но не идентичная им. Выделяется шесть степеней родства — от ближайшего, представленного недавно разошедшимися разновидностями одного языка (типа: голландский и африкаанс)

до самого отдаленного, устанавливаемого только через реконструируемые праязыки. Другая классификация предлагается «для характеристики различий между формами речи, употребляемыми одним народом, т. е. в той области, где обычно используется противопоставление языка и диалекта» (с. 154—155). Здесь рассмотрены восемь случаев: от народа, обладающего единым языком и мало различающимися диалектами, до этнической группы, воспринимаемой извне как один народ, но не имеющей ни общего языка, ни общего самоназвания. Обе схемы в совокупности наглядно демонстрируют различие не только теоретически допустимых, но и практически наблюдаемых подходов к понятию родства языков. Хотя прямая применимость той и другой в издании типа «Языки мира» представляется крайне проблематичной, само их появление может способствовать упорядочению использования классификационных понятий по линии «язык — диалект».

М. В. Дьячков в разделе «К типологии креольских языков» рассматривает место этих языков среди языков мира. Показав, что генеалогические отношения любого креольского языка имеют своеобразный характер и выражаются в «лексических» связях через соответствующий «пиджин» с породившим его языком-источником, автор специально останавливается на его типологических свойствах. Последние позволяют отнести все креольские языки к «сложному чисто реляционному типу с незначительной деривацией», который присущ и ряду языков, прошедших нормальный путь спонтанного развития. От последних креольский язык может быть обособлен только исторически (по механизму своего формирования), но не типологически.

Вяч. Вс. Иванов обсуждает возможность и целесообразность описания в «Языках мира» тех праязыков, «для которых на современном этапе развития науки может быть доказано их существование в качестве реальных языков» (с. 181). При этом особо подчеркивается недопустимость механического отождествления с праязыком всей наблюдаемой системы межъязыковых соответствий, поскольку это чревато опасностью включения в число черт праязыка «аллогенетических» сходств, порожденных заимствованием. Наиболее надежным материалом для восстановления структуры праязыка автор справедливо считает соответствия грамматических архаизмов и демонстрирует пути их выявления на примерах ностратических сопоставлений. Если даже не соглашаться с некоторыми приводимыми параллелями (например, выглядит сомнительным приведенное в контексте обсуждения наиболее архаичных типов гетероклитического склонения в индоевропейском и дравидском сопоставление литов. *einà* «иду» с кота *o'yna'r* «шуть», где *o'yn-* с ретрофлексным *-n-* — форма причастного типа от *o'-/o'y-*< **pō* «идти», а *a'r*, тамил. *ārṟu* < **cār V* «дорога») [7][1], методическая ценность постановки вопроса бесспорна. Свои соображения в пользу включения статей о праязыках в «Языки мира» автор подкрепляет доводом о высокой объяснительной способности праязыка и его пригодности служить «наиболее успешным эталоном для описания ... каждой из языковых семей» (с. 207). Но этим же доводом можно подкрепить и другое решение: не давать праязыки отдельными статьями, а включать их описание в статью о соответствующей языковой семье или группе.

Как видно из изложенного, авторы подходят к рассматриваемой в книге проблеме с различных сторон, наглядно показывая неоднозначность возможных решений. Наблюдаются здесь и некоторые методические и терминологические разногласия (ср., например, употребление термина «тип» на с. 22, 60—61, 100, 163). Но при всем том книга, безусловно, способствует уяснению места различных классификационных подходов при описании всей совокупности языков мира и облегчит достижение необходимого единообразия в процессе его осуществления.

Важнейший же вывод, к которому должен прийти читатель, заключается в том, что только генеалогическая классификация сложилась к настоящему времени в достаточной мере, чтобы служить действенным инструментом упорядочения крайнего многообразия речевых разновидностей, входящих в понятие языков мира. В рамках слагающих ее таксономических единиц, выделимых на основе материальных и структурных дивергенций и имеющих свою иерархию (семья — группа — язык), возможна дальнейшая классификация по функциональному признаку (язык — диалект — говор). Экономии и, главное, методической соизмеримости описаний, укладываемых в «генеалогическую сетку», может значительно содействовать привлечение понятий типа (или типологического класса) языков, раскрывающего явления изоморфизма в их структуре, и ареальной общности (или союза), объясняющего языковые сходства, возникшие на почве конвергенции.

Остается лишь сожалеть, что эта полезная и интересная книга не свободна от опечаток, включая такие, которые явно искажают авторскую мысль или затрудняют ее понимание. *Зограф Г. А.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Masica C.* Defining a linguistic area. South Asia. Chicago — London, 1976.
2. *Bhawat Sh. V.* Phonemic frequencies in Marathi and their relation to devising a speed-script. Poona, 1961, p. 138—139.
3. *Chatterji S. K.* The origin and development of the Bengali language. Calcutta, 1926, p. 270—274.
4. *Ferguson Ch. A., Chawdhry M.* The phonemes of Bengali.— Language, 1960, v. 36.
5. *Ghatage A. M.* Phonetic and morphemic frequencies in Hindi, Poona, 1964, p. 245.
   Pandit P. B. Phonemic and morphemic frequencies of the Gujarati language. Poona, 1965, p. 365.
7. *Burrow T., Emeneau M. B.* A Dravidian etymological dictionary. Oxford, 1961 (стлб. 3734, 347).

[1] На приведенный пример наше внимание обратил Н. В. Гуров.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

20—22 мая 1982 г. в Душанбе в Таджикском государственном университете им. В. И. Ленина состоялась VIII всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы иранской филологии». Конференция была посвящена 60-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. В ней приняло участие 116 делегатов из 12 городов страны, заслушано 95 докладов и сообщений [1]. Рабочими языками конференции были русский и таджикский.

Во вступительном слове председатель Оргкомитета ректор ТГУ им. В. И. Ленина чл.-корр. АН ТаджССР Т. Н. Назаров подчеркнул, что очередной иранистический форум проходит в дни, когда весь советский народ, претворяя в жизнь исторические решения XXVI съезда КПСС, с огромным воодушевлением готовится торжественно отметить 60-ю годовщину образования СССР. Советская иранистика, занимающая достойное место в отечественном и мировом востоковедении, приходит к этой знаменательной дате со значительными успехами. Данная конференция призвана обсудить результаты и наметить перспективы дальнейших изысканий в области иранского языкознания и литературоведения. Полезным ее нововведением является создание секции по бесписьменным иранским языкам, таящим еще много неожиданного и интересного для исследователей.

Приветствуя гостей, Т. Н. Назаров с удовлетворением отметил, что на конференции присутствует большой отряд таджикских филологов, в том числе около двадцати специалистов высшей квалификации, среди них акад. АН ТаджССР Р. Амонов, чл.-корреспонденты А. Маниязов, М. Шукуров, профессора Ш. Хусейнзаде, Д. Таджиев, В. Асрори, А. Л. Хромов, доктора филологических наук Р. Хадизаде, М. Касымова, Р. Гаффаров, Ш. Рустамов и др.

В яркой приветственной речи президент АН ТаджССР чл.-корр. АН СССР М. С. Асимов говорил об огромном вкладе, который внесли и продолжают вносить в развитие советской иранистики представители братских республик — ученые Москвы и Ленинграда, Ташкента, Баку, Тбилиси и др. Он подчеркнул особую роль ученых Ленинграда и Москвы в становлении таджикской филологической науки и подготовке национальных кадров. Признанием выдающихся успехов иранистики является присуждение Государственной премии СССР за 1981 год крупнейшему советскому иранисту В. И. Абаеву за труд «Историко-этимологический словарь осетинского языка». Выступление президента АН ТаджССР завершилось церемонией вручения премии ТаджССР им. Абуали ибн-Сино за 1981 год видному советскому иранисту проф. ЛГУ им. А. А. Жданова А. Н. Болдыреву за цикл работ о жизни и творчестве Васифи.

В продолжение первого пленарного заседания было заслушано четыре доклада. Состояние иранской филологии было всесторонне охарактеризовано в докладе чл.-корр. АН ТаджССР А. М. Маниязова и А. Л. Хромова (Душанбе). Доклад Д. Т. Таджиева и Р. Гаффарова (Душанбе) освещал вопросы развития и совершенствования норм таджикского литературного языка в годы Советской власти. А. Н. Болдырев (Ленинград) остановился на интереснейшей странице истории культуры, связанной с посещением Самарканда и Ташкента великим поэтом и философом средневековья Джами. Доклад чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбова (Ленинград) был посвящен кардинальной для исторической грамматики иранских языков проблеме развития активных личных форм прошедших времен, управляющих прямым дополнением, из пассивного причастия.

Далее работа конференции проходила по девяти секциям. (Настоящая заметка посвящена работе пяти лингвистических секций и секции текстологии.)

В секции «Лексикология и фразеология» состоялось 10 докладов. В трех из них были рассмотрены пути пополнения лексики современных иранских языков. В докладе Ю. А. Рубинчика (Москва) дана общая характеристика основных словообразовательных процессов в современном персидском языке: образование новых слов (способами морфологическим, включая аффиксацию, полуаффиксацией, транспозицией и словосложением), расширение смысловой структуры персидских слов, широкое заимствование новых слов, главным образом из западноевропейских языков, и калькирование. Н. А. Шаропов (Душанбе) видит одну из особенностей непосредственного влияния русского языка в том, что мно-

[1] К началу конференции опубликованы тезисы запланированных докладов. См.: VIII всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы иранской филологии», посвященная 60-летию образования СССР. Душанбе, 187 с. (на русск. и частью на тадж. языках).

гие таджикские слова претерпевают в новых условиях семантические изменения, в частности — расширение значения. Т. Бердыева (Душанбе), исследовавшая таджикскую газетную лексику послеоктябрьского периода, осветила важную роль прессы в обогащении словарного состава языка не только путем введения большого числа советизмов и интернационализмов, но и благодаря расширению семантики слов, увеличению их сочетаемости, активизации функциональной нагрузки отдельных лексем.

Три доклада носили историко-лексикологический характер. В. А. Капранов (Душанбе) показал, что «Русско-персидский словарь» В. П. Наливкина (Казань, 1889) содержит богатый материал для исторической лексикологии таджикского языка. О принципах составления двуязычного персидско-азербайджанского словаря произведений Низами Гянджеви, предпринимаемого в иранистике впервые, рассказал Р. С. Султанов (Баку). В докладе С. И. Баевского (Ленинград) на основе анализа текстов толковых словарей XI—XV вв. делается вывод об их тесной и органичной связи с произведениями ранних классиков поэзии на фарси.

Вопросам фразеологии было посвящено два доклада. А. Г. Ганиев (Ташкент) остановился на критериях выделения и структурно-семантических типах фразеологических единиц в языке пашто (пушту), в связи с чем была затронута дискуссионная проблема статуса сложного глагола в иранских языках в системе словообразовательных средств. Моделированные фразеологические единицы и их место во фразеологической системе таджикского языка было содержанием доклада Х. Маджидова (Душанбе). В этой же секции состоялись доклады К. Г. Джусоевой (Орджоникидзе) о сложных словах как характеристике социальной дифференциации осетинского общества в творчестве К. Л. Хетагурова и Х. М. Икрамовой (Самарканд) о некоторых аспектах семантики таджикского глагола.

В секции «Фонетика, морфология, словообразование» было представлено 10 докладов. Три из них затрагивали вопросы исторической фонетики, а два — современной. В докладе Д. И. Эдельман на примере различных рефлексов и. -е. *s в общеиранском иллюстрируется различие между реализацией единой фонемы разными звукотипами на одном этапе развития языка и фонологизацией тех же звукотипов и становлением новых фонологических оппозиций — на другом. В докладе М. Файзова (Душанбе) были приведены результаты экспериментальной работы по рентгенографическому определению артикуляции гласных в таджикском литературном произношении. Т. А. Гуриев (Орджоникидзе) на примере некоторых характерных скифских и осетинских звуковых изменений показал их роль в создании новой фонетической ситуации, благодаря которой последующие подобные же изменения, в частности, в более поздних заимствованиях, происходят по аналогии. Ш. Бобомуродов (Душанбе) представил дистрибутивный анализ конечных консонантных сегментов исконно таджикских корневых слов, в результате которого выявлены как наиболее продуктивные типы, так и ограничения на сочетаемость. Субстратная топонимия юго-востока Таджикистана, подвергшаяся фонетической, морфологической и семантической адаптации и проявляющая общность с топонимической системой памирских языков, представляет, по мнению Н. Офаридаева (Душанбе), важный источник для выявления особенностей не только живых диалектов, но и исчезнувших восточноиранских языков, некогда распространенных на этой территории.

В пяти докладах обсуждались различные вопросы словообразования. Ш. Рустамов (Душанбе) высказал мысль, что продуктивный в таджикском языке тип словообразования по модели «факки изофат» (т. е. по аналогии сложных слов, возникших в результате выпадения показателя изафета) относится к словосложению, а не к сращению. Проблеме полуаффиксации в персидском и таджикском языках и критериям классификации сложных слов со вторым глагольным компонентом был посвящен доклад Ф. Р. Амоновой (Душанбе). Р. Лер (стажер ТГУ из Чикаго) обратила внимание на то, что таджикские сложные имена, образованные с помощью глагольной основы наст. вр., по своей внутренней структуре тяготеют больше к синтаксису, нежели к морфологии. Емкость семантического поля одной из наиболее продуктивных словообразовательных морфем в таджикском языке — морфемы *-ӣ*, образующей относительные приглагательные, на основе сопоставления с синонимичными морфологическими средствами, была предметом рассмотрения Э. Шоева (Душанбе). М. Ф. Исматуллаев (Душанбе) попытался показать наличие наречной морфологической природы у ряда типов предложно-(послеложно-) именных обстоятельств таджикского языка.

В секции «Синтаксис» было прочитано семь докладов. Г. Ш. Махмудов (Баку) охарактеризовал разновидности морфолого-синтаксического, синтаксического и интонационного способов выражения предикативности в современном персидском языке. Б. К. Камолиддинов (Душанбе) остановился на анализе синонимических отношений различных синтаксических построений при общей смысловой основе с точки зрения неодинакового представления глубинной структуры на поверхностном уровне. Вводные элементы — вводные слова, словосочетания и предложения — в системе средств выражения субъективной модальности в современном персидском языке, их формально-грамматические и интонационные особенности были рассмотрены в докладе Ш. И. Ширалиева (Баку). А. Мирзоев (Душанбе) видит особый вид подчинительной связи, увеличивающий свою продуктивность в современном таджикском языке, в конструкциях с двумя грамматическими показателями: изафет и предлог (послелог)

предлог и артикль, парные предлоги и т.д. Ф. К. Зикриёев (Ленинабад) отстаивал статус особой синтаксической единицы для сложносочиненного предложения ввиду наличия в нем ряда дополнительных значений по сравнению с набором простых предложений (составленных из его частей), причем эти значения в отличие от аналогичного сложноподчиненного предложения выражаются комплексно, недифференцированно. Функциональных и структурно-семантических особенностей определенно-личных одноставных предложений в таджикском языке коснулся в своем докладе М. Норматов (Душанбе). Структурно-семантические разновидности собственно-вопросительных предложений со значением противопоставления очерчены в докладе С. Собирджанова (Душанбе).

В секции «История иранских языков и диалектология» только два доклада были по диалектологии. Р. Гаффаров (Душанбе) на основе синхронного исследования южных таджикских говоров показал их отношение к литературному языку. В докладе А. А. Керимовой и Е. К. Молчановой (Москва) сделана попытка определить место ларских диалектов в юго-западной группе иранских языков по результатам их сопоставления на всех уровнях с диалектами Фарса.

Остальные 10 докладов касались вопросов исторической грамматики и лексикологии. М. И. Исаев (Москва) выступил с обзорным докладом по истории осетиноведения, отметив при этом особую роль двух крупнейших ученых прошлого и настоящего — В. Ф. Миллера и В. И. Абаева. Г. М. Налбандян (Ереван) дал этимологический анализ трех армянских имен собственных иранского происхождения.

Вопросы словопорядка в условно вычленяемом простом предложении классического персидского языка, степень фиксированности и свободы и смысловая мотивированность инверсии различных членов предложения увязываются в докладе М. М. Сахокия (Тбилиси) с большим кругом проблем исторического синтаксиса, морфологии и лексикологии, таких, как становление посессивной и агенсной конструкций, развитие сложных глаголов-фразеологизмов и т. п. М. Н. Касымова (Душанбе) проанализировала структурные и семантические особенности распространения присубстантивно-атрибутивными придаточными предложений нерасчлененной структуры в таджикско-персидской прозе XI в. На стыке исторического синтаксиса и лексикологии почерпнул материал для своего доклада К. Юнусов (Душанбе), наметивший схему замены в предикативной конструкции глагола *будан* «быть» глаголом *доштан* «иметь». С. Халимов (Душанбе) остановился на роли глагола *барзадан* «засучивать рукава», перен. «браться за дело» в создании тропов в Шах-наме для описания восхода и сияния солнца. Х. А. Токазов (Орджоникидзе) рассмотрел происхождение личных окончаний осетинского глагола. А. К. Алиев (Куляб) вынес на суд специалистов перечень — более широкий по сравнению с современным языком — грамматических функций предлога *бар* в литературном таджикском языке XV—XVI вв. (на материале «Бадои ал-вакои» Васифи). Четко изложила филологический и лингвистический материал по редкой форме двойного каузатива *бишāвāнум* «я заставлю вести» из «Лахорского тафсира» (X—XI вв.) студентка ЛГУ Ф. И. Абдуллаева. Д. Саймиддинов (Душанбе) предложил для обсуждения некоторые палеографические особенности передачи авестийских глосс в книжно-пехлевийских текстах и указал на значение глосс не только для реконструкции Авесты, но и для лингвистической интерпретации книжно-пехлевийских текстов, особенно в тех случаях, когда глоссы передавались двояко: и авестийским алфавитом, как обычно для них, и пехлевийским письмом.

В секции «Бесписьменные иранские языки» большая часть докладов касалась изучения памирских языков, главным образом их современного состояния. О сопоставительном изучении лексики и работе над созданием сравнительного словаря памирских языков рассказали в своих докладах зав. отделом памироведения ИЯЛ АН ТаджССР Д. Карамшоев и Х. Курбанов (Душанбе). Структурно-семантические сходства целого ряда фразеологизмов в памирских языках объясняются, по мнению А. Мирбобоева, этно-региональной общностью материальной и духовной жизни народов Памира. Применение структурных и семантических критериев для анализа фразеологизмов сарыкольского и рушанского языков занимало соответственно С. В. Хушенову и А. Каримову (Душанбе). А. А. Сайдмамадов (Душанбе) расклассифицировал типы распространенного простого предложения в ваханском языке по числу объектных валентностей глагола-сказуемого. Среди суффиксов мн. числа имен в хуфском говоре рушанского языка С. Мирзабдинова (Душанбе) выделила малопродуктивные *-erʒ/-arʒ*, *-yon/-gon*, *-xil*, *-gala*, представленные далеко не во всех близкородственных языках. Сложные процессы преобразований (выравнивание в ходе фонетических изменений или по аналогии) в разветвленной системе глагольных основ наст. и прош. времен и инфинитива шугнанского языка, приводящие к редукции отдельных членов морфологической парадигмы, разобраны в обстоятельном докладе аспирантки ИЯ АН СССР (Москва) Л. Р. Додыхудоевой. Б. Б. Лашкарбеков (Душанбе) полагает, что ваханский показатель определенного объекта *-i/əy*, который обычно возводят к древнему падежному окончанию -**ahyā*, восходит к др.-ир. относительному местоимению **hya* «который». И. М. Стеблин-Каменский (Ленинград) уточнил этимологию двух иранских названий ржи (др.-ир. *yava-tara* «похожее на ячмень» и *gantuma-tara* «похожее на пшеницу»), привлеченных еще акад. Н. И. Вавиловым для подтверждения своей теории о введении ржи в культуру из сорняков — спутников пшеницы

и ячменя, и предложил объяснение двух памирских названий ржи: *lošak* связано с названием «ости», а начальное *kal-* в обозначении ржи — с перс., тадж. *kal* «лысый».

Два доклада были посвящены западноиранским языкам. В. В. Мошкало (Москва) представил богатый материал, в том числе собственный полевой, белуджских говоров по аналитическим глагольным конструкциям, выражающим различные модальные и видо-временные значения. О своем исследовании глагольной системы северокавказского диалекта татского языка в сопоставлении с северо-азербайджанско-татским в описании А. Л. Грюнберга рассказала Л. Х. Давыдова (Нальчик).

Большинство докладов на секции «Текстология» содержали информацию о работе над вводимыми в науку забытыми или малоизвестными рукописями или отдельными произведениями, истории их создания и творческих истоках, о проблемах авторства, языка и стиля (А. Г. Ахмедзянова — Москва, М. С. Султанов — Баку, А. Афсахзод, Н. Сайфиев, А. Алимарданов — Душанбе). Так, согласно интересным изысканиям И. В. Каладзе (Тбилиси), сюжет поэмы «Вамек и Азра» родоначальника жанра романического эпоса в средневековой таджикско-персидской литературе Унсури (XI в.) восходит к не дошедшему до нас греческому роману, тогда как многие другие «подражания» являются не «фальсификациями» поэмы Унсури, как считалось, а основаны на иной — восточной версии этого сюжета, распространившегося уже с пехлевийского времени. Г. Галимова (Москва) сделала сообщение о неизвестном пока поэте, которому можно было бы приписать ряд изящных стихотворений на полях исследованной ею рукописи XV в., в том числе одно кыт'а, тонко характеризующее стиль газелей великого Саади. Ряд докладов был посвящен оценке литературных произведений для истории культуры, идеологии и т. д. (Б. Валиходжаев — Самарканд, А. М. Маниязов — Ташкент). В этом плане О. Ф. Акимушкин указал на важное значение сборников и альбомов поэтических и прозаических произведений не только как источников текстов (иногда единственных) поэтов-классиков, но и для изучения литературной обстановки прошлого, популярности тех или иных поэтов и их произведений.

Важнейший аспект текстологии составляет собственно лингвистический подход. Дж. Гиунашвили (Тбилиси) проиллюстрировал в своем докладе значение принципа конкретно-исторического обоснования в конъектурах критического текста при снятии подновлений, вызванных развитием языка и необходимостью замены устаревших и изменивших свое значение ко времени редакции слов, тех или иных названий и т. п. В докладе Р. Хадизаде (Душанбе) обоснованно говорилось о необходимости дальнейшей углубленной работы над реконструкцией стихов великого Рудаки, дошедших в разночтениях и часто в разрозненном виде, поскольку компоновки «цельных» стихотворений, выполненные крупным иранским ученым С. Нафиси, выглядят не всегда убедительно. Внимание к словесно-семантической ткани стиха позволяет Дж. Мирсаидову (Самарканд) настаивать на распределении большого числа списков произведений Амира Хосрова как восходящих к двум — ранней и поздней — собственно авторским редакциям.

22 мая состоялось заключительное пленарное заседание конференции, на котором с отчетом о работе секций выступили их руководители: М. Н. Боголюбов, А. Н. Болдырев, Ю. А. Рубинчик, А. М. Маниязов, В. Асрори, Р. Хадизаде, Ш. Рустамов, Д. Карамшоев и Б. Камолиддинов (ученый секретарь секции). Зам. председателя Оргкомитета Д. Т. Таджиев подвел основные итоги работы конференции, отметив, в частности, что тематика докладов и выступлений была весьма многообразной, а значительная часть их представляет результаты серьезных исследований, обогащающих науку. Положительно следует оценить внимание к проблематике бесписьменных языков. Отрадно участие в конференции, наряду с такими известными учеными, как А. Н. Болдырев, М. Н. Боголюбов, В. С. Расторгуева и др., талантливой молодежи. Чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбов от имени участников и гостей выразил сердечную благодарность устроителям конференции за высокий уровень ее организации, гостеприимство и радушие.

В единодушно принятом итоговом документе конференции содержится ряд конкретных рекомендаций и предложений. Особо подчеркивается настоятельная необходимость создания всесоюзного научного журнала «Советская иранистика». Очередную конференцию намечено провести в 1985 г. в Ташкенте.

Галимова Г. (Москва)

16—18 сентября 1981 г. в г. Махачкале ДагАССР проходила IX региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков (ИКЯ), посвященная падежному составу и системе склонения. На двух пленарных и восьми секционных заседаниях было заслушано 73 доклада. В работе сессии приняли участие лингвисты-кавказоведы из многих научных центров Советского Союза — Москвы, Азербайджана, Грузии, Абхазии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Северной и Южной Осетии, Дагестана.

Сессию открыл директор Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР Г. Г. Гамзатов. Зачитано вступительное слово

председателя Оргкомитета по проведению региональных научных сессий акад. АН ГрузССР А. С. Чикобава, где было подчеркнуто большое значение региональных научных сессий.

На пленарных заседаниях было заслушано четыре доклада. В докладе А. С. Чикобава (Тбилиси) «Об эргативном падеже — „косвенном" и „прямом" — в иберийско-кавказских языках» отмечено, что эргативный падеж в ИКЯ следует дифференцировать с учетом его места в падежной системе и истории склонения. Понятия «прямой падеж», «косвенный падеж», перенесенные из морфологии древнегреческого языка в синтаксис и.-е. языков, вряд ли могут, по мнению докладчика, служить критерием для квалификации падежей в ИКЯ, где именительный,— т. е. прямой падеж и.-е. языков,— является падежом «ближайшего» (т. е. «прямого») объекта. С понятиями «прямой» и «косвенный» падежи связаны понятия «субъекта» и «объекта».

Обзорный доклад Г. Б. Муркелинского (Махачкала) был посвящен актуальным задачам дагестанского языкознания в свете решений XXVI съезда КПСС. Ю. Д. Дешериев (Москва) в докладе «Способы выражения объективного и субъективно-социального в системе склонения в свете общности человеческого мышления» показал, что главная функция им. падежа — наименование предмета и обычно выражение субъекта действия, состояния (подлежащего). Вместе с тем форма им. падежа может выполнять и другие падежные функции, что, однако, не дает основания игнорировать его основное значение, осложнять и затруднять новым термином «абсолютный падеж».

Рассмотрев функции эргатива и показав причину отсутствия в адыгских языках косвенных падежей, образованных по принципу двух основ (что характерно для некоторых горских ИКЯ), Г. В. Рогава (Тбилиси) в докладе «К формированию системы склонения имен по принципу двух основ» сделал вывод, что в адыгских языках с появлением специального суффикса инструменталиса в именах начинается зарождение в ограниченном виде формы твор. падежа по принципу двух основ.

Работа сессии продолжалась в двух секциях: 1) картвельских и абхазско-адыгских (31 доклад), 2) дагестанских и нахских языков (38 докладов). Картвельские и абхазско-адыгские языки были представлены докладами, освещающими нерешенные вопросы истории отдельных падежей и их формантов, особенности склонения отдельных имен, структурно-семантическую и функциональную характеристику падежных форм — К. В. Ломтатидзе (Тбилиси), В. Г. Шенгелиа (Тбилиси), Б. Х. Балкарова (Нальчик), З. И. Керашовой (Майкоп), Л. П. Чкадуа (Сухуми), М. А. Кумахова (Москва) и др.

В докладе Т. С. Шарадзенидзе (Тбилиси) высказана мысль, что в сванском вторую основу составляет дат. падеж, что не наблюдается в горских кавказских языках, и в конечном итоге в сванском языке функционирует не две, а три основы. Формирование лингвистического типа языка осетин связано с взаимодействием пришлого иранского и местных кавказских языков. В докладах Ю. Д. Караджаева (Орджоникидзе), К. Е. Гагкаева (Орджоникидзе) и Н. Я. Габарева (Цхинвали) говорилось о некоторых осетинско-грузинских схождениях в области склонения и о специфике вин. падежа.

Различным аспектам склонения были посвящены доклады, заслушанные на секции дагестанских и нахских языков. А. Е. Кибрик (Москва) отметил, что принципиальное отличие падежных систем дагестанских языков от и.-е. состоит в самом синтаксическом принципе использования морфологических падежей, в отсутствии уровня субъектно-объектных отношений в выражении семантических отношений между предикатом и его аргументами в морфологических падежных формах.

Основные принципы становления склонения в ИКЯ изложил Г. В. Топурия (Тбилиси). Актуальные проблемы развития падежной системы отдельных дагестанских языков, исторические сдвиги и генезис падежных формантов рассматривались в докладах Г. Б. Муркелинского (Махачкала), А. У. Мейлановой (Махачкала), З. Г. Абдуллаева (Махачкала). Доклады Т. И. Дешериевой (Москва), М. Е. Алексеева (Москва), Г. Т. Бурчуладзе (Тбилиси), Ш. М. Саадиева (Баку), И. Х. Абдуллаева (Махачкала), К. Ш. Микаилова (Махачкала) и некот. др. касались структурно-морфологической и функциональной характеристик отдельных падежей.

В сложной и многопадежной системе склонения дагестанских языков большой научный интерес представляют локативы, которые обсуждались в докладах З. М. Магомедбековой (Тбилиси), А. М. Аслановa (Баку), П. А. Саидовой (Махачкала) и др. Яркое своеобразие и значительные расхождения с литературными формами выявляют диалекты дагестанских и нахских языков, материал которых служит неоценимым, часто единственным источником при исследовании истории языка. Диалектным особенностям склонения посвящены доклады А. А. Магометова (Тбилиси), Р. И. Гайдарова (Махачкала), С. М. Гасановой (Махачкала) и др.

В ряде докладов были затронуты и такие вопросы, как историческое взаимоотношение категории грамматических классов и падежных окончаний в нахских языках (А. Д. Тимаев, Грозный), общность в склонении родственных языков (Г. Х. Ибрагимов, Махачкала), предсказуемость падежной формы именных компонентов словосочетаний различных морфологических разрядов (А. Г. Гюльмагомедов, Махачкала) и др.

На IX региональной научной сессии обсуждались различные проблемы, связанные с особенностями падежной системы и ее истории в ИКЯ, при этом наибольшее внимание было уделено следую-

щим вопросам: становление системы склонения, падежный состав различных групп ИКЯ, принцип «двух основ» в системе склонения, место эргативного падежа в системе склонения, генезис падежных форм, функции падежей. Все эти вопросы освещались с привлечением богатого фактического материала и рассматривались в синхронном и историко-сравнительном планах.

Накопленный материал, факты и явления системы и истории склонения в ИКЯ дают надежную основу для дальнейших научно-теоретических изысканий в этой области.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги сессии и приняты рекомендации.

Саидова П. А. (Махачкала)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1981 Г. (№№ 1—6)

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Дешериев Ю. Д. Языковые проблемы многонационального советского общества 6
Иванов В. В., Михайловская Н. Г. Русский язык как средство межнационального общения 6
Панфилов В. З. О некоторых аспектах социальной природы языка . . 6
Филин Ф. П., Бевзенко С. Ф., Кононенко В. И. Словарь украинского языка: проблемы и суждения 6

К 1500-ЛЕТИЮ ГОРОДА КИЕВА

Русановский В. М. Роль Киева в развитии литературных языков Киевской Руси 4
Филин Ф. П. О лексике древнерусского языка . . . . . 2—3
Франчук В. Ю. Киевская летопись как памятник языка 4

СТАТЬИ

Домашнев А. И. Теория кодов Б. Бернстайна. Цели и результаты . . . 1
Иванов В. В., Трубачев О. Н. Федот Петрович Филин 4
Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики . . . . . 4—5
Филин Ф. П. О словарном составе языка великорусского народа 5

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абаев В. И. Slavo-Avestica 2
Азербаев Э. Г. К происхождению порядковых числительных в тюркских языках 4
Александрова О. В., Шишкина Т. Н. Фразировка как синтаксико-стилистическая проблема 1
Алпатов В. М. О двух подходах к выделению единиц грамматики 6
Андреев Н. Д., Суник О. П. О проблеме родства алтайских языков и методах ее решения 2
Арнольд И. В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения 4
Асфандияров И. У. Русские лексические заимствования в узбекском языке 2
Белый В. В. У. Д. Уитни и становление американского дескриптивизма 5
Бертельс А. Е. Разделы словаря, семантические поля и тематические группы слов 4
Биренбаум Я. Г. К теории сложного предложения 2
Богатова Г. А., Дерягин В. Я., Романова Г. Я. Славянская и историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова 3
Бородина М. А. Диалекты или региональные языки? 5
Винтер В. О маркированности, соответствии норме и «естественности» . . 4
Джаукян Г. В. Индоевропейская фонема **b* и вопросы реконструкции индоевропейского консонантизма 5
Домашнев А. И. Заметки по поводу одной социолингвистической концепции У. Лабова 6
Карпова О. М., Ступин Л. П. Советская писательская лексикография 1
Кожин А. Н. О предмете стилистики 2
Крючкова Т. Б. К вопросу о многозначности «идеологически связанной» лексики 1
Кумахов М. А. О функциональном статусе слова и морфемы в языке устной поэзии 6
Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского языкознания (к выходу в свет книги В. И. Георгиева) 3
Панфилов В. З. Отрицание и его роль в конституировании простого предложения и суждения 2
Швейцер А. Д. К проблеме социальной дифференциации языка 5

Шендельс Е. И. Совместимость/несовместимость грамматических и лексических значений . . . 4
Эдельман Д. И. К перспективам реконструкции общеиранского состояния . . . 1

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Абдуллаев З. Г. К генезису формантов датива в даргинском языке . . 1
Балахонова Л. И. К вопросу о статусе просторечной и диалектной лексики . . . 3
Бурчуладзе Г. Т. Редупликация и грамматические классы в лакском языке . . . 5
Верещагин Е. М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества . . . 6
Герценберг Л. Г. О следах индоевропейской просодики в латинском . . 5
Голышенко В. С., Демьянов В. Г., Котков С. И. Об одном «освещении» памятников древнерусского языка . . . 4
Гринавецкис В. З. Развитие аттракции ударения в говорах литовского языка . . . 4
Дарбеева А. А. О билингвизме монголоязычных народов (К проблеме интерференции) . . . 6
Дегтярев В. И. Оформление связи сказуемого с подлежащим — именем собирательным в древних славянских языках . . . 5
Дегтярев В. И. Происхождение имен plurelia tantum в славянских языках . . . 1
Дегтярев В. И. Собирательность и категория числа в истории славянских языков . . . 4
Завьялова О. И. Некоторые вопросы лингвогеографического изучения фонетики гуаньхуа . . . 3
Касевич В. Б., Шабельникова Е. М. Перцептивные границы между китайскими тонами . . . 3
Кривоносов А. Т. Модальные частицы как средство логико-грамматического членения предложения в немецком языке . . . 3
Малкова О. В. К проблеме падения редуцированных гласных в славянских языках и развития украинского икавизма . . . 5
Минаева Л. В., Феденев В. Б. Паронимия в языке и речи . . . 2
Мурьянов М. Ф. Еще раз о Минеи Дубровского . . . 5
Мурясов Р. З. Антропонимы в словообразовательной системе языка . . . 3
Ольдерогге Д. А., Жуков А. А. Африканские языки и общая лингвистика . . . 4
Панфилов В. З., Вахтин Н. Б. Изучение эскимосско-алеутских языков в СССР . . . 3
Панфилов В. С. К вопросу о категории времени во вьетнамском языке 3
Парастаев А. Ф., Солнцев В. М., Щербак А. М. Кругов Ю. Г. О совершенствовании тематики кандидатских и докторских диссертаций по языкознанию . . . 6
Петр Я. О реализации программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» . . . 5
Поломе Э. Социолингвистически ориентированное обследование (Анализ деятельности комиссии по изучению роли языков и их преподавания в Восточной Африке) . . . 4
Рогожникова Р. П. Редкие слова в произведениях авторов XIX в. . . 1
Сибагатов Р. Г. Атрибутивные и предикативные конструкции в плане содержания . . . 2
Стеблин-Каменский М. И. Скандинавское передвижение согласных 1
Солодуб Ю. П. К вопросу о совпадении фразеологических оборотов в различных языках . . . 2
Татубаев С. С. Певческая речь как особый способ функционирования языка . . . 2
Ураксин З. Г. Взаимодействие русского и тюркских языков в области фразеологии . . . 1
Федоров А. И. Русский язык в Сибири . . . 2
Хлебникова И. Б., Колодько В. И. К проблеме передвижения индоевропейского *b* в германское *p* . . . 6
Цакалиди Т. Г. Из наблюдений над негативными конструкциями в древнейшем славянском памятнике традиционного содержания . . . 1
Чантуришвили Д. С. Система падежей, доминация падежных систем и дистрибуция винительного падежа в русском языке . . . 1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Биткеев П. Ц. Языкознание МНР за 60 лет . . . 6
Дешериев Ю. Д., Джорбенадзе Б. А., Шенгелия В. Г. «Ежегодник иберийско-кавказского языкознания» . . . 5
Кручинина И. Н., Логатин В. В. Заметки о пражской «Русской грамматике» . . . 2

Из истории науки

Из лингвистического наследства Л. В. Щербы 5

Рецензии

Алексеев М. Е. Ergativity. Towards a theory of grammatical relations . . . 1
Асланов В. И., Гукасян В. Л. *Гаджиева Н. З.* Тюркоязычные ареалы Кавказа 6
Баскаков Н. А. *Imart G.* Description d'une langue de littéristion récente. Avec une étude sur: Le dialecte kirghiz du Pamir afgan par Dor R. 5
Бахнян К. В. Могучий фактор национального языкового развития 6
Бельчиков Ю. А. *Граудина Л. К.* Вопросы нормализации русского языка 4
Будагов Р. А. Язык и идеология. Критика идеалистических концепций функционирования и развития языка 5
Вербот Ж. Ж. *Eckert R.* Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen 2
Гак В. Г. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77, 78 3
Гордина М. В. *Straka G.* Les sons et les mots 5
Горшков А. И. *Михайловская Н. Г.* Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI — XIV вв. (Нормативный аспект) 2
Грунина Э. А. *Гарипов Т. М.* Кыпчакские языки Урало-Поволжья 1
Дерягин В. Я. *Одинцов Г. Ф.* Из истории гиппологической лексики в русском языке 4
Домашнев А. И. *Ярцева В. Н.* Контрастивная грамматика 5
Дондуков У.-Ж. Ш., Матхеев Б. В. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматическая категория бурятского языка в историко-сравнительном изучении 1
Жуковская Л. П., Симонов Р. А. Сказание о начале славянской письменности 6
Зограф Г. А. Теоретические основы классификации языков мира 6
Климов Г. А. *Skaličkа V.* Typologische Studien 6
Корлэтяну Н. Г., Ецко И. И. *Будагов Р. А.* Филология и культура 3
Корди Е. Е. Relations prédicat-actant(s) dans les langues de types divers 4
Кривоносов А. Т. *Lätten J.* Untersuchungen zur Leistung der Partikeln in der gesprochenen deutschen Sprache 4
Летягина Н. И., Насилов Д. М. *Рассадин В. И.* Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении 1
Лукашанец А. А., Михневич А. Е. Проблемы сопоставительной лингвистики восточнославянских языков; Функционирование языка в близкородственном языковом окружении 6
Макаренко В. А. *Андронов М. С.* Сравнительная грамматика дравидийских языков 1
Матвеев А. К. *Попов А. И.* Следы времен минувших 3
Мокиенко В. М. *Федоров А. И.* Сибирская диалектная фразеология . . 2
Мордовина С. П. *Pennington A. E.* Grigorij Katošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mihajloviča 4
Морозова С. Е. *Булахов М. Г.* Евфимий Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность 2
Москальская О. И. Grundzüge einer deutschen Grammatik 4
Ольдерогге Д. А., Сова Л. З. *Ahmed Chamanga M., Guenier N.-J.* Le dictionnaire comorien-français et français-comorien de R. P. Sacleux . . 4
Силина В. Б., Стрекалова З. Н. Морфология глагольного вида в современном польском языке 3
Стрекалова З. Н. *Petrus Stratorius.* Polonicae grammatices institutio . . 2
Сухачев Н. Л., Казанский Н. Н. Aspects de l'éspace en Europe 4
Туманян Э. Г. *Greppin J. A. C.* Classical and Midle Armenian bird names 3
Чесноков П. В. Гипотеза в современной лингвистике 6
Филиппова И. С. Деловая письменность Вологодского края XVII—XVIII вв. 3
Шаляпина З. М., Холодович А. А. Проблемы грамматической теории 2
Щерба Г. М. *Сабанеева М. К.* Генезис косвенных наклонений французского глагола 5
Щур Г. С. *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке 2
Ярцева В. Н. Русская грамматика 2

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . . 1—6

CONTENTS

Towards the 60-th Anniversary of the formation of the USSR: Ivanov V. V., Mixajlovskaja N. G. (Moscow). The Russian language as a means of communication among nations; Dešeriev Ju. D. (Moscow). Linguistic problems of the multinational Soviet society; Panfilov V. Z. (Moscow). Some aspects of the social nature of language; Filin F. P. (Moscow), Bevzenko S. P. (Kiev), Kononenko V. I. (Kiev), **The Dictionary of the Ukrainian language: problems and judgements; Discussions:** Domašnev A. I. (Leningrad). **Some remarks on one of W. Labov's sociolinguistic concepts;** Alpatov V. M. (Moscow). Two approaches to the definition of the principal language units; Kumaxov M. A. (Moscow). The word and the morpheme in the language of oral poetry; **Materials and notes:** Darbeeva A. A. On the bilingualism of peoples speaking Mongolian languages; Parastaev A. F. (Moscow). Solncev V. M. (Moscow), Ščerbak A. M. (Leningrad), Kruglov Ju. G. (Moscow). **On perfecting the scientific quality of dissertations in linguistics;** Vereščagin E. M. (Moscow). **Sources of Slavonic philosophical terminology:** mentalisation as a means of term-creation; Xlebnikova I. B. (Moscow), Kolod'ko V. I. (Elista). On the shift of Indo-European *b* into Germanic *p*; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

A la veille du 60-ième Anniversaire de la formation de l'URSS: Ivanov V.V., Mixajlovskaja N. G. (Moscow). La langue russe en tant que moyen de communication entre les nations; Dešeriev Ju. D. (Moscou). Problèmes linguistiques de la société multinationale soviétique; Panfilov V. Z. (Moscou). **Quelques aspects de la nature sociale de la langue;** Filin F. P. (Moscou), Bevzenko S. F. (Kiev), Kononenko V. I. (Kiev). Sur le Dictionnaire de la langue ukrainienne: **problèmes et jugements; Discussions:** Domašnev A. I. (Léningrade). Quelques considérations sur une théorie sociolinguistique de W. Labov; Alpatov V. M. (Moscou). Deux manières différentes pour définir les unités principales de la langue; Kumaxov M. A. (Moscou). Le mot et le morphème dans la poésie orale; **Matériaux et notices;** Darbeeva A. A. (Moscou). **Contribution à l'étude de bilinguisme des peuples parlant les langues mongoles;** Parastaev A. F. (Moscou), Solncev V. M. (Moscou), Ščerbak A. M. (Léningrade), Kruglov Ju. G. (Moscou). **Sur le perfectionnement du niveau scientifique des thèses presentées pour l'obtention du grade de candidat et docteur ès linguistique;** Vereščagin E. M. (Moscou). Sources de la terminologie philosophique slave: mentalisation en tant que moyen de la création des termes; Xlebnikova I. B. (Moscou). Kolod'ko V. I. (Elista) Sur la mutation de *b* indoeuropéen en *p* germanique; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. В.*

Сдано в набор 27 06 82 Подписано к печати 22 11.82 Т-20129 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 86,1 тыс. Уч.-изд. л. 17,1 Бум. л 5,0
Тираж 6077 экз. Зак. 1987

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10